

АЛАН
ЧЕРЧЕСОВ

реквием по живущему



АЛАН
ЧЕРЧЕСОВ

РЕКВИЕМ
ПО ЖИВУЩЕМУ
роман

МОСКВА
Издательство имени Сабашниковых

ББК 84.Р7
Ч 497

Предисловие А. ЗВЕРЕВА

Ч $\frac{4702010201-10}{Б94(03)-95}$ Без объявл.

ISBN 5-8242-0037-0

© Издательство имени
Сабашниковых, 1995

«НО СЛОЖНОЕ ПОНЯТНЕЙ ИМ»?

Возможно, не было бы нужды предварять роман Алана Черчесова этими несколькими словами, если бы не вечная наша неспособность ощутить значение вещей, которые не так уж на виду. Сколько раз мы спохватывались, лишь сильно запоздав, и с пылким энтузиазмом неопитов начинали осваивать собственные богатства, никем не замеченные вовремя. Боюсь, не повторилось бы то же самое с «Реквиемом по живущему». Очень будет жаль, если опасения подтвердятся.

Это вполне вероятно, так как книга, которой автор отдал не один год, работая вдумчиво и аналитично, не отвечает условиям, которые — вне зависимости от художественных достоинств текста — обычно гарантируют и прессу, и более или менее широкий интерес публики. Ожидать всего этого для «Реквиема по живущему» сложно уже по той причине, что книга не содержит абсолютно ничего эпатажного. Здесь нет ни вошедшей в обиход брутальности, ни так называемой «ненормативной

лексики». Нет общеизвестных лиц, узнаваемых за условными именами, и вполне прозрачных намеков, и подробностей, провоцирующих пересуды.

Материал этого романа вообще никак не соотносится с меняющимися приоритетами престижа и моды. Рассказанная в нем история — из числа тех, что вечны. Тех, которые на все времена.

А с другой стороны, никакого оттенка скандальности не содержит и выбранное писателем художественное решение. Профессиональный филолог, читающий в университете западную литературу, Алан Черчесов очень свободно ориентируется в новейшей поэтике, и читатель наверняка это уловит. Однако эта проза менее всего стремится любой мелочью продемонстрировать, что перед нами не меньше как метароман, или тотальная ирония, деконструирующая действительность, или сочетание знаковых кодов вместо обветшалого реализма. Проза, не кокетничающая оригинальностью, — как это редко встречается в нынешней литературной ситуации!

Насыщенное по-настоящему незаемными и небанальными художественными ходами, повествование на поверку оказывается традиционным в том смысле, что нигде не поступается верностью призванию литературы. Во всяком случае, тому, что издавна считается делом литературы, пытающейся проникнуть в причудливые, неочевидные связи, сближения, сцепления, которые составляют живую жизнь. И для Алана Черчесова эта бесконечно трудная задача не стала ни архаичной, ни заведомо неразрешимой, какие бы сар-

кастические комментарии ни вызывала столь мало теперь ценимая серьезность замысла. Пусть над нею кто-то иронизирует. Пусть она не в чести у пишущих критические колонки, пропитанные желчной язвительностью, лишь усиливающейся, если кто-то не соглашается считать литературу ни к чему не обязывающей и по возможности остроумной игрой. Алан Черчесов как раз из несогласующихся. Оттого он и выделяется столь заметно на фоне тех, кого прочт в современные классики, хотя все, что ими сделано,— это именно разрушение художественного мира классики, по меньшей мере, его травестирование.

Открывшие «Реквием по живущему» сразу почувствуют, что автор ощущает себя в этом мире как в родной стихии. Тут не будет ни пародии, ни иронизирования, пусть даже увлечение подобными эскападами на грани шаржа стало сейчас едва ли не повальным. Но у Алана Черчесова все другое. У него замечательная литературная школа, в которой он учился основательно, зная, что уроками таких педагогов нелепо пренебрегать. Ведь среди учителей были мастера самого первого ряда. Не берусь угадывать все имена, но думаю, к числу самых важных для Черчесова принадлежат Толстой, создатель «Хаджи Мурата», и Фолкнер как автор «Медведя», «Больших лесов». Наверное, еще и Гайто Газданов, пусть он явление совсем другого ряда. Но «Реквием по живущему», помимо остального, привлекателен и тем,

что это проза, возникшая на скрещении очень разных литературных традиций.

Выучка у классиков не подавила творческой самостоятельности Алана Черчесова. Напротив, помогла ее верно почувствовать, способствуя кристаллизации таланта, если воспользоваться словом, которое любил Стендаль. И родился прозаик — настоящий, яркий прозаик. Ценители в этом удостоверялись еще несколько лет назад, когда Алан Черчесов дебютировал рассказом на страницах «Нового мира». Появление романа снимает все предположения, что тот успех был только случайным.

Не хочется предварять читательское впечатление, разбирая книгу, которая начнется на следующей странице. Кому-то она покажется философской притчей или, может быть, аллегорией, хотя столь изощренной по смыслу, что не подобрать логически выверенных формулировок. А кого-то захватит лирический сюжет, построенный умело и прочно.

Во всяком случае, втянувшихся в это чтение книга уже не отпустит до самого конца.

У Пастернака в знаменитом стихотворении про «неслыханную простоту» сказано, что «она всего нужнее людям, но сложное понятней им». Глупо спорить с гениями, и все-таки: так ли уж понятней? Может быть, роман, который держит в руках читатель, развеет невольное сомнение в справедливости этого афоризма.

Алексей Зверев

Может, времени как такового не существует вовсе, а есть только бесконечная паутина бесконечных историй, рисующих узоры в оглушительной Бесконечности? Может, Время — это лишь способ их пересказывать и слушать? Может, не истории вырастают из Времени, а оно само вырастает из них?..

Ну, конечно же, помню. Как же иначе! Мне уж пятнадцать было, когда он ушел, а вся история, с ним связанная, давно в памяти отстоялась да сгладилась, как масло в кадке или как дупло во рту после выдранного зуба. Зуб только ценить и начинаешь, когда его лишишься, тогда только и задумаешься, зачем он был нужен, язык еще сам норовит дырку ощупать, словно не верит в пропажу и все сомневается, все проверяет, не помешалось ли, и до тех пор так, пока не устанет и не пообвыкнется. Да глаза потом сколько дней любому человеку первым делом в рот глядят, а уже после все остальное примечать начинают. Верно говорю? То-то же. Так у всех людей. У всех — коли эти все нормальные да обычные. Нет, конечно, у всякого странности бывают, только странности на то и странности, чтоб за обычным следовать. А когда его, это обычное, на версту опережают — какие уж там странности! То натура уже, а не придаток к ней.

К тому и веду, что обычным он не был. А если и был, так, может, первые десять лет или самую малость подольше. Отец его с матерью под сель

угодили вместе с братом отцовым, что жив остался, да голос потерял, а с голосом — и рассудок, весь, до последней капли. Говорят, у него со страху и ноги отнялись, только я уж точно не знаю и не помню, потому как сам лет на двадцать позже родился. Но коли говорят, значит было что-то такое с этим отцовым братом, его, Одинокого, дядей, стало быть. По крайней мере, когда они всей семьей из аула бежали, дядю этого постромками к буйволу привязали, спиной к спине, будто тот и сидеть уж не мог от собственного веса. Толстый, говорят, был, как кабан-трехлеток, ел и ел все время, будто заместо голоса и рассудка боги его двумя желудками одарили в придачу к тому, что был изначально и работал не хуже любого другого, а наверно, и лучше даже, потому как, говорят, и с тремя желудками столько жиру набрать не под силу. Так что тушу его они приладили к буйволу горбу, афсин* с невестками и детворой усадили в бричку, а старик и два других сына отправились на конях, трех из пяти похищенных, лучших во всем ущелье. И, говорят, когда бежали, никто им даже слова не сказал, чтоб не грешить против своих языков и ушей, только вслед им глядели до самого поворота, благо что рассвет позволял. А потом разошлись по домам и стали ждать. И через несколько часов дождались и встретили в их дворе десять всадников, пять из которых были братьями и за одну ночь не только лишились своих коней, но еще и прошагали пешие полтора десятка верст, а потом не меньше того проскакали верхом на одолженных кобылах. И вот тогда, я думаю, глядя на них и прочитав в глазах обре-

* Афсин — старшая женщина в доме.

ченность, тем, другим, беглецам, позавидовали все. Честные нередко завидуют вора, особенно таким удачливым, хотя и не сознаются в том, подменяя зависть презрением. Только презрение с завистью — все одно как мясо с солью, самое обычное дело. Так что когда те сказали, что за перевалом у них уже и без того есть кровники, беглецам позавидовали все, ибо воры они были удачливые. И пусть, как говорил мне дед, они дом да землю бросили — для настоящей жертвы этого мало. Для настоящей жертвы, говорил он, потеря нужна, а они ее на коней обменяли, еще и лучших в ущелье. Да и земли той было столько, что бурку уронишь — весь участок под ней спрячется. Так что потери не было, а если и была — в дороге ее запах выветрился. Ветер вора, всегда в спину дует.

Вот что дед говорил. И значит, воры они были удачливые. Это уж я сам для себя вычислил.

И, выходит, возненавидели их, воров, пуще прежнего, утрешнего, и ненависть та была похлеще молчания, которым их провожали, однако все ж таки не сильнее той, что глядела на наших с чужих кобыл, одуревшая от стольких верст впустую и вдобавок освидетельствованная ими, нашими, в своей обреченности. И посему эта вот вторая ненависть, молчавшая с одолженных кобыл, была куда опасней собственной, гасимой завистью и подогреваемой желанием ее скрыть, не заметить, отторгнуть — зависть то есть, — отречься от нее, а заодно и от всей этой истории, родившейся и удавшейся на той самой земле, где никто из наших никогда до того не крал и даже не мыслил, что кому-то это может удалиться да и еще так здорово, по-настоящему, безнаказанно и ловко. И чтобы пресечь ее, эту опасность, а по боль-

шому счету — то свою зависть и признание в ней, — нужен был шаг, поступок, слово, что-нибудь, что выглядело бы по меньшей мере если не полезным, так безвредным, не благородным — так хоть не трусливым, но главное — было бы шагом. Тогда-то старик Ханджери и позвал их в свой дом, отгородившись обычаем от той опасности и превратив десять обозленных мужчин сперва в десять уставших путников, а потом уж и в десять присмиривших гостей.

Тогда-то всему бы и кончиться — не для тех, конечно, не для чужаков, — для наших, закончиться для аула, уже откупившегося, потому как Ханджери сразу сказал им, тем десятерым, про землю и дом, что, мол, теперь они по праву принадлежат гостям, а вовсе не аулу и уж тем паче не прежним хозяевам, что, мол, пусть мы землей и не богаты, зато чтим законы и справедливость, что у тех, у воров, даже родни тут нет, так что никто здесь за них не в ответе, кроме разве их собственных стен и надела, что всевышний покарает отступников и что человеку дано уповать на небеса — в общем, сказал все то, чего мог бы и не говорить, что было и так ясно с самого рассвета, а теперь уж спускались сумерки. А что будет после, мог бы рассказать любой: от дряхлого старика до младенца, если только боги не лишили первого памяти, а второго снабдили речью, о том мог бы рассказать и я, хоть родился на пятнадцать лет позже, если только я сын своего отца и внук своего деда, если только во мне течет половина крови одного и четверть крови другого, а предсказать чтобы — там хватило бы и капли ее. Так что теперь они должны были бы подняться и уйти, отклонив приглашение переночевать и поблаго-

дарив за стол и пищу. И они бы снова сели на одолженных кобыл — пять из них — и проделали бы еще раз путь в пятнадцать верст к своему дому, дабы вернуться опять сюда уже засветло, с инструментами и арбой, чтобы грузить туда плитняк с чужого хадзара, подменяя работой несложившуюся месть и отвлекая от беды собственные руки. Так должно было быть, и все думали, так оно и будет. И они, те десять, уже готовы были подняться и уйти, и уже успели отклонить приглашение остаться, и уже сказали последний тост, и даже опустошили роги, но тут-то оно и случилось.

Нет, я не хочу сказать, что о его сиротстве кто-то забыл или не помнил. Помнили как раз всегда, а потому, наверно, и не вспоминали с тех самых пор, как обоз со всей семьей скрылся в молчании за поворотом. Но теперь-то вмиг вспомнили, едва увидели его посреди двора Ханджери с заломленными за спину руками, в дорожной пыли, ростом чуть выше собственной тени на стоптанной земле. И страх в глазах был куда больше и этой тени, и этого роста, и сукровицы в небе от подраненного горами солнца. И когда вспомнили, им уже не нужно было объяснять, где его нашли и почему он вернулся. Где ж еще могли его найти, как не у надгробий из каменных плит, и зачем еще он мог вернуться, как не за этим самым? Так что причина стала ясна почти тут же. Было только не очень ясно, где он спрятал коня. Но и с этим скоро выяснили, хотя он, мальчишка, говорят, так и не сознался, упорствуя в своем воровстве и ошалев со страху. И когда сын Ханджери отыскал коня в сумерках за поворотом и привел его, оседланного, во двор, и передал уздечку старшему из тех десяти, и тот сел на него, на коня, дважды за

неполные сутки похищенного, но так, по сути, и не угнанного, мальчишку привязали к одной из кобыл, теперь свободной, и повезли туда, где поклялись через три дня прикончить, коли к первому, тому, что под хозяином, не прибавятся еще четыре, как оно и было с самого начала. Только Ханджери им прямо тогда и сказал, что тому не бывать, что воры, мол, в капкан не попадают и все такое, что тот, мол, сирота, несмышлениш и сын достойного отца, и чуть ли не младше собственных лет и лишь умнее собственного разума, и в конце концов, пусть не желая, но вернул хотя бы одного из пяти, и потому надо бы отпустить. А старший из тех не согласился и тоже прикрылся обычаем, как сам Ханджери пару часов назад, только, конечно, это был уже другой обычай, известно какой. Похоже, обычаи в таких делах лишь на то и существуют, чтобы ими прикрываться, все равно как бушлатом от ветра, прикрыться — да голос изнутри подавать. В общем, мальчишку наши не отстояли. И, конечно, мало кто верил в то, что мальчонку убьют или, как положено, хотя бы надрезут ему ухо. И, видимо, большинство склонялось к мысли, что быть ему холуем или батраком. И уж, конечно, все поголовно были уверены, что там, у них, он и останется — так ведь должно было произойти при любом раскладе. А потому, стало быть, на том истории бы и кончиться — для нашего аула и для тех, других, тоже. Но только я уже говорил, что обычным он не был. Тут, пожалуй, обычное в нем и сносилось, будто дряхлая одежда. Или как время состарилось. Так ведь оно бывает: живешь да дышишь, а потом вдруг внезапно почувешь, что только что ушло оно, отодвинулось, оторвало тебя от себя самого и даже дало словно со

стороны взглянуть, пусть ты того и не желал, но вот уже смотришь сбоку на себя бывшего и ничего с этим поделать не можешь. Время устало и сносилось, отойдя добровольно в прошлое, а на смену уж новое подступило и обнюхивает тебя сослепу жадными ноздрями. Ведь так оно бывает — что для каждого, что для всех, — разве что редко когда для всех и каждого. Только через три дня именно так оно и произошло — со временем: всех и каждого задело, потому как через три дня он вернулся — с ножом вместо кинжала да маленькой корзинкой с едой — и поселился в пустом хадзаре, куда теперь и кошки не заглядывали. Тот, старший из десяти, сам его привез на той арбе, что славно потрудилась, отбирая у хадзара день за днем надстройку и плитняк. Выходит, он, старший, тоже не особо верил в чудо, скорее, раньше других увидел отслоившееся прошлое и за трое суток свыкся с ним или по крайней мере сталкивался с тем новым, что пришло взамен. А потом кто-то из них — мальчишка или он, старший, — решил им поделиться и запрячь в арбу мула и, уж не знаю, в какой раз проделать расстояние в уйму верст для того лишь, чтобы покончить со всем этим, а значит, начать с него другое. Так что для аула кончилось совсем не так, как думали и ждали, и сосем не с того началось, на что рассчитывали теперь наши, наблюдая молча, как мальчишка кивает им, а затем не спеша входит в пустой двор и оттуда — в пустой хадзар, уже несвежий, sprыснутый сыростью и так же к тому не готовый, как и сам аул, изумленный и тщетно цепляющийся за скользкий кусок отколовшегося времени. А потом, и часу не прошло, все глазели на то, как он, мальчишка, выходит со двора, поворачивает и идет

к соседнему, к нашему то есть, зовет моего деда и говорит тому про ружье без свинца и пороху и урожай, а дед сперва только смотрит, ничего не говорит, а потом, конечно, не удерживается и спрашивает, для чего, мол, а тот, чуть выше собственной тени на дедовых сапогах, хмурится и злится, и грозит предложить кому другому, кто поговорчивей, и дед уже почти не колеблется, прикидывает — сам про то часто повторял, — сколько будет шесть седьмых с урожаем, пусть не собранного еще, но во всяком случае уже сейчас больше, чем старое ружье без пороху, и даже больше стыда за неравную сделку, и идет в дом, и выносит, а тот толком и держать-то его не умеет, но забирает и гордо шагает обратно, ни разу не повернув головы и не отвечая на взгляды. А на следующее утро, чуть ли не с рассветом, снова останавливается у наших ворот и снова кличет деда, чтобы сказать, что ошибся. Восьмая часть, говорит, мне нужна только восьмая, а не седьмая с каждого обмолота, но зато теперь будут еще карс и циновки. И дед опять идет в дом и опять выносит, и тот берет их, особо и не разглядывая, и исчезает за сырыми стенами. Потому как, говорит, дыма они не видели. Шесть дней дыма не было, и два дня из шести он оставлял на пороге нетронутой миску с едой, и потом тоже оставил, только уже к вечеру и — пустую. И, говорят, в глазах его не было ни злобы, ни тепла. Уже тогда его называли Одиноким, да так оно и привилось, оттеснив имя, о котором и прежде-то мало кто помнил: разве упомнишь имя всякого мальчишки? А когда обычное кончается, тут уж и имя не особо нужно, имена рассчитаны на других, на нормальных. Но через шесть дней он заставил их понять, что и этого мало. И тогда они придумали

еще: Мужчина-мальчик. Потому как через шесть дней он появился на улице с подвязанным к пояску ножом и двинулся вверх по аулу. Он подошел прямо к нихасу*, но остановился, лишь когда приблизился к ним вплотную. А они, наши, еще ничего не поняли, и потому, говорят, ему пришлось трижды их поприветствовать да потом еще сказать про огонь в ожившем очаге (дыма над его хадзаром они поначалу и не заметили, а когда наконец увидели да осознали, поднялись с нихаса — старейшие старики аула — и приняли, и указали место на почетной скамье, и он сел, и уж после — вот еще штука! — только после него сели остальные. И, говорят, никто из них не рассмеялся, потому, мол, что глаза им его не позволили, и уж не знаю, смеялся ли кто потом).

Тогда оно и родилось — Мужчина-мальчик. И тогда же им, нашим, надо было вычислять да додумывать. И как-то разом вычислилось, что понадобилось ему сперва осиротеть, а затем переждать с полгода, пока двоюродный дед и дяди не сделаются конокрадами и не обзаведутся резвейшим из богатств, чтобы потом оседлать его, это богатство, и оседлать удачу, и бежать с ними за перевал — туда, где у преследователей и без того уже будут кровники; и вычислилось тоже, что еще ему, мальчишке, понадобилось красть самому (одного из пяти) и скакать на нем к брошенным могилам, чтобы пойматься там и затем три дня ожидать смерти; а после ему понадобилось вернуться и обменять чуть не весь урожай со своей земли на незаряженное ружье, карс да несколько циновок. И теперь уже оставалось шесть

* Нихас (ныхас) — букв. «беседа». Место собрания, где старейшинами родов аула обсуждались текущие события и дела и принимались важнейшие решения.

дней, которые никак не вычислялись, и посему их надо было додумывать.

И старики додумывали про ружье и огонь в очаге, ибо просто спросить никто из них не решался, да они и не могли, ведь каждый из них лет на пятьдесят был старше и в столько же раз опытней. Он-то им и мешал — опыт, потому как происшедшее в него не вмещалось. Но новое имя — то самое, Мужчинамальчик, — уже родилось, уже прозвучало. И тогда кто-то из них — может, Ханджери, может, дед мой, а может, кто другой — сообразил, что можно спокойно его поделить надвое и на время забыть про мальчика, чтобы додумывать теперь как бы за мужчину, тем более что он — мальчик, мужчина, загадка, — каждый день исправно вступал на нихас и садился на скамью с ними рядом и сидел с таким видом, что никому и в голову не приходило смеяться, шутить или возражать. Да. Так вот. Садился на правах хозяина не хадзара и не участка земли, но целого дома, целой фамилии, единственным представителем которой теперь являлся, но шесть дней до того все же чего-то ждал, что-то делал, прежде чем зажечь огонь в очаге, подвязать вместо кинжала нож к пояску и взойти сюда, на нихас. И тогда вспомнилось про могилы и додумалось про ружье, а чтобы проверить, послали к Синей тропе, и когда проверили, оно, додуманное, подтвердилось, потому что следы действительно были, а травы ощипано ровно столько, что хватило бы коню — любому, даже лучшему в ущелье — на целую ночь. А как додумалось и подтвердилось, оставалось лишь все другое к нему приладить, а это уж было проще простого. И теперь уже вычислилось, что ему понадобилось не только осиротеть, не только бе-

жать с ворами и не только украсть самому, а потом не только быть приговоренным к мести, не только ее избежать, не только вернуться. Ему понадобилось еще ждать шесть ночей на темном кладбище с незаряженным ружьем, когда кто-то из них, воров, придет за ним и поверит в то, что ружье заряжено, и не сможет уговорить, и уйдет уже навсегда, ни с чем, крадучись, на рассвете, проиграв и смирившись. И лишь теперь он — мальчишка, мужчина, тайна — узаконит свое одиночество и на правах хозяина зажжет огонь в угасшем очаге, и нацепит на пояс нож вместо кинжала, и заставит стариков увидеть дым, признать этот дым и подняться себе навстречу. А заодно вычислилось, что восьмая часть с урожая — не последняя сделка, им заключенная, и, следовательно, не последний куш, что может сорвать мой дед. И выходило, что в свои десять — или сколько там — лет, пусть лет уже больше мужских, чем детских, он бзавелся хозяйством, куда как солидным, одним-единственным единоличным и единоуправным хозяйством во всем ауле, будто кража была ему только на руку, будто одиночество лишь помогло. И выходило также, что одна восьмая — гораздо больше того, что намечалось для него изначально и лишь неделю назад никем еще не вычислялось, а теперь вот вычислилось само собой: старик, двое здоровых мужчин и еще один, больной, их брат (запеленатое в черкеску сало, человек-утроба с прожорливостью кабана-трехлетка), да их дети, да жены, не считая афсин и тех, кто еще не родился. И выходило, что семья наша, выиграв много, но куда меньше его самого, к тому же еще и проиграла. «Он нанял нас, — говорил мне дед, устало глядя на соседскую ограду, и солнце тихо грело его сухие плечи и

застывало вязким в глазах.— Облагодетельствовал, но и нанял. Он кинул милостыню и потребовал за нее кормить свое одиночество. Он сделал из нас батраков».

Ибо по уговору так и получалось: часть его с каждого обмолота доставлялась ему прямо в амбар, и все, что от него требовалось — это открывать амбарные двери. Так что на нихасе он просиживал дольше кого другого, даже в самую что ни на есть страду и самую что ни на есть работу, будто самый что ни на есть богач из богачей или лентяй из лентяев. Но лентяем он тоже не был. Это наши уже потом поняли, когда увидели, к чему он себя готовил. Но это позже было. Ведь ушел он через тридцать лет. И к тому времени обзавелся не только конем и овцами, не только отличной утварью и арбой, но и собственной зрелостью, ни на что не похожей, не растратив при этом ни капли своего одиночества, которое его всем этим снабдило.

Да, одиночество сделало его тем, чем он был, противопоставив всем нам и лишив любви кого бы то ни было. И сделало его чужаком на земле, где он родился и вырос, и прожил сорок лет, по-настоящему отлучившись лишь однажды за собственной смертью на какие-то трое суток и вернувшись сюда сразу же, едва ее избежал. Только готовило оно все же его к другому, а подготовив, отправило в путь. Конечно, я помню, как он ушел. И помню, как все это готовилось...

Ведь он опять всех обманул, и прежде других — моего деда, потому как не только он, дед, но и все остальные ждали нового куша, что нам перепадет, и думали, что уже скоро, ибо, по сути, кроме пустого хадзара да кусочка земли у него не было ничего,

разве что ружье без патронов и карс на зиму. А этого даже в десять лет маловато. И, конечно, дед мой был нетерпеливее всех, мучаясь бременем, как роженица на сносях. И кое-что даже придумал, чтоб подстегнуть, заставить его. И самолично отправился в крепость с дюжиной турьих шкур, а после вернулся, но уже без этой дюжины, и целую неделю держался, никому ничего не говорил. А как терпение лопнуло, позвал моего отца в дом и вытащил из-под нар тонкий сверток, и отец сразу понял и задрожал от обиды, потому как почуял недоброе и словно бы даже почувствовал (сам в том уверял), что не пройдет, что только осрамятся. И дед развернул, достал и протянул отцу, и отец говорил мне, что лучше никогда не видел — и после тоже, хоть видел красивее, но лучше — нет, не встречал никогда (а я так думаю, что встречал, да вот в руках не держал) — и что, стало быть, дед прихватил что-то еще, кроме тех шкур, и это что-то целиком пошло на выделку и теперь сверкало белым на все помещение, так что у отца защипало в глазах, и обиды скопилось столько, что засвербило в горле. И дед сказал ему снять старый, и он снял, а потом подвезал новый, и дед сказал: «Походи с ним покамест. Пусть он увидит. Ведь у него еще нет кинжала». И отец кивнул и ушел, и когда двигался по улице в сторону нихаса, думал все (сам говорил) про то, что не вынесет, и как бы одновременно про то, что, конечно же, вынесет, и про то, что это вот самое худшее. И думал он (это уж я так домыслил), что теперь тоже отравлен, все равно как дед, и что от заразы этой не то что им — всему аулу не излечиться. А может, думал о том — приказал себе

думать,— что оно выгорит, что получится и что старик оказался проворнее своих сыновей.

И, говорил мне отец, пришлось прошагать туда и обратно мимо нихаса раз семь, а на нихасе сидел только он и бросал короткую тень, и все смотрел на отца, нахмутив брови и не сказав ни слова, а пот с отца валил градом и будто даже в сапогах хлюпало по щиколотку, но тот все смотрел и молчал, словно перед ним больную лошадь выезжали, и отец говорил, что будь он проклят, если не был тогда больной лошадью, старой вдобавок, как вся наша фамилия и все фамилии лошадей, вместе взятых. И, говорил отец, мальчик в нем не то что не вскрикнул, не то что не всполошился, но даже и вовсе не просыпался, пока он глядел, как перед ним выезжают лошадь, обузданную простым сыромятным ремешком и навьюченную серебряной рукоятью и ножами. Так что ни черта не выгорело, ничего не получилось, и старику пришлось ломать голову снова. И тогда, говорил мне отец, дед твой вспомнил про ишака. И заставил нас драить и скрести, все равно как княжеского иноходца. Разве что маслом не натирали и зубы не чистили. А потом каждый из нас, говорил отец, каждый из братьев, садился по очереди верхом и трижды в день отправлялся поить к дальней излуине, лишь бы только мимо его хадзара проехать и мимо нихаса, где он мог сидеть. Да куда там ишаку, если он даже на лошадь не стал будить в себе мальчишку, говорил отец. Куда там ишаку, когда он полпуда серебра не заметил!

И вот теперь настал черед овец, и нужно было спешить, потому что урожай уже почти весь собрали, а значит, приближался обмолот, но до того надо было поспеть обязательно. И старик отобрал

трех и стал откармливать да лелеять, будто к заклацию готовил. И траву им привозили прямо во двор, чтобы жир на пастбище не растеряли. И обмолот уже кончился, а тот все не появлялся. И тогда дед послал отцова брата к нему в дом и велел пригласить на ужин. И вот уже, говорил отец, пришел черед брата обливаться потом. Но только тот опять нас обманул. И брат вернулся и передал старику весь разговор, слово в слово. Вернее, не разговор даже, а только речь, потому как сам не успел и рта раскрыть и заговорил лишь теперь: «Овцы ему летом нужны,— сказал он.— Я о них и не обмолвился, он сам с того начал. Сказал, что к лету без нас раздобудёт. А сейчас ему, мол, ничего не нужно. А потом спросил, когда амбар открыть. А я не знал, что ответить, и только глядел, как он прячет зевок, стиснув челюсти. Я стоял и молчал». И тогда, говорил отец, старика затрясло. Он просто сидел и трясся у всех на виду, и всем было ясно, что не от смеха. И отец еще подумал: плохо дело. На лихорадку похоже. И наверняка думал о том, что зараза эта опасней любой лихорадки, и знал уже, что ему тоже не остановиться, потому что он отравлен не меньше, и не меньше его отравлен брат, и что никому из них не излечиться. Но наутро они заполнили мешки, и тому осталось лишь открыть амбарные двери. Так что он опять победил.

И, говорят, изо дня в день все так же сидел на нихасе, чистя ножиком ногти и безмолвно озираясь по сторонам, покидая нихас лишь затем, чтобы подсыпать хворосту в очаг. Но тогда еще нашлись бы люди в нашем ауле, готовые поспорить, что он в нем проснется — мальчишка то есть. И нашлись бы сомневающиеся, но вряд ли кто осмелился бы сомне-

ваться вслух. И потому приходилось просто ждать — в расчете на то, что как ни крути, а у седин терпения больше. Истина эта подтвердилась и вправду скоро, только совсем не с того боку, откуда должна была. И, говорят, с тех пор мало кто был настолько глуп, чтобы думать, что он когда-нибудь проиграет или уступит, пусть даже и захочет того. И когда в то утро он, шатаясь и хромая, плелся к нихасу, все уже не только слышали или знали, но, пожалуй, и видели все, как оно было, когда он уступал да проигрывал, не особо при том защищаясь и уж совсем не помышляя о сдаче, как был избит, повержен, растоптан — а все одно победил. Видели, как посреди дороги окружали его их собственные внуки, правнуки, дети, а он все шел вперед, не замедляя, не убыстряя шага, словно не замечая, и как уперся в живую стену, но и тогда не сделал и движения, чтоб оттолкнуть, ударить или хотя бы прикрыться. И как ни разу не вскрикнул, принимая на себя тумак вместе с их яростью, изо всех сил стараясь не упасть. И как в конце концов упал, рухнул наземь, сбитый десятками кулаков и волной чужого дыхания. И как дыхание становилось громче и жарче по мере того, как сбивались в спешке удары, метившие в упорное его молчание, и как оно, дыхание, срывалось на крик остервенелых детских глоток, и как стервенели они сначала от изумления, затем от злости, а потом уже только от страха, как ни один из них, из взрослых, застыв кто где в оцепенении и поту, не смог произнести ни слова, а тем паче приблизиться, заступиться, ибо сперва было как-то рано, потому что каждый ждал, а потом вдруг разом сделалось поздно, едва ясно стало, что он их опять обманул — всех: внуков и стариков, детей и

отцов, — не издав ни звука и не сделав и движения, чтоб защититься. И когда побоище струсило, кончилось и разбежалось, когда он остался лежать посреди почерневшей пыли в красных сумерках, им понадобилось еще с горстку времени, прежде чем они с собой совладали и скинули с плеч оцепенение. Но чуть они к нему приблизились — к испачканному маленькому телу посреди черной земли, — как тут же замерли на месте. Ибо он уже стоял, а потом (они еще и понять не успели, что сами больше не идут, больше не движутся, а только наблюдают) снова шел к дому, равномерно и тяжело, широко и непреклонно, словно буйвол на пашне. Крохотный такой буйволенок... И было это как чудо, и длилось не дольше мгновения: лежит, стоит, идет. Будто им все пригрезилось, будто он не то что не лежал никогда навзничь посреди дороги, но даже и не оставался...

И теперь, глядя следующим утром, как он взбирается вверх по улице, каждый из тех, на нихасе, думал лишь о надежде на то, что смолчит. Только молчал он недолго — ровно столько, чтоб отдышаться и смахнуть испарину со лба, — и они услышали: «Это в последний раз. Больше не будет». А потом они снова долго ничего не слышали, покуда он не сказал: «Передайте им: в любой толпе сыщется первый. Тот, кто делает первый шаг, или тот, на кого оно может почудиться. Пусть они знают — и первый, и кто другой, на кого оно может почудиться, — больше не будет. А после скажите, что видели мой нож и что мой нож поклялся, что было в последний раз». И опять они слушали молчание. И, говорят, в тот день да еще в два следующих ни один из них не пустил ребенка на улицу.

А он, залечив раны и подсушив болячки, по-прежнему ходил к нихасу и ничего большего не делал, греясь на остывающем с каждым днем солнце и ковыряя лезвием под чистыми ногтями. И по-прежнему по утрам на пороге натывался на миску с едой и пивной кувшин, а к вечеру выставлял их обратно, не чувствуя ни злобы, ни благодарности, ни презрения.

Но к зиме кое-что изменилось. Видно, ему наскучило. И тогда он снова пришел к моему деду и спросил: «Сколько зарядов стоит заяц? Ну, в общем, сколько стоит один заяц в пересчете на те штуки, которыми его убивают?» И дед помолчал и сказал: «По-разному. Смотря сколько раз в него пальнешь». И тот кивнул. «Потому и спрашиваю,— сказал.— Неплохо бы сосчитать, сколько зарядов стоит спуститься к лесу, войти в лес, отыскать зайца, попасть в зайца и принести сюда тому, кто не спускался, не отыскивал и не попадал, кто не потратил на то, чтобы взять в руки подбитого зайца, не то что сил, но даже и времени? Может, ты знаешь?» Дед подумал и сказал: «Может, и догадываюсь». И тот спросил: «И что твоя догадка? Наверно, дорогая?» И дед сказал: «Не так, чтобы очень. Просто ее по-всякому сосчитать можно, а зарядов каждый раз будет ровно столько, сколько заяц стоит». И тогда тот прищурился и посмотрел на деда так, словно прикидывал, сколько может стоять сам старик. Только вот, говорил нам дед, никак не понять было, на что он меня пересчитывает: на зайцев или заряды.

Но потом мальчишка кивнул и сказал: «Согласен. Говори». И старик мой позвал кого-то из сыновей и велел принести свинца и пороху на четыре заряда, а когда тот принес, дед ссыпал все в малень-

кую быструю ладонь, и ладонь тут же исчезла, а потом, говорил дед, появилась снова, но уже пустая. И дед сказал: «Только ежели он останется в лесу, тому, кто не спускался, не охотился и даже не промахнулся, будет мало проку оттого, что он не тратил на это ни сил, ни времени. Ежели заяц в лесу останется, тот, кто не спускался, сразу вспомнит про четыре заряда и захочет чего-то взамен. Пожалуй, он захочет новую часть со следующего обмолота». — «Ладно, — сказал мальчишка. — Идет. Только покажи мне, как это делается». И дед показал ему, и рассказал, как надо целить, и даже смазал мозгом ружье, чтобы было по честному, ибо почти наверняка знал, что теперь-то его взяла, теперь-то уж выгорит. А когда человек наверняка знает, что дело выгорит, ему хочется, чтобы все было по-честному — хотя бы внешне, хоть со стороны.

И когда тот ушел, дед кликнул отца и сказал: «Хватит. Снимай. Нацепишь прежний. Ведь этот не про тебя. Или забыл?» И, конечно, отец помнил, не забывая про то ни на минуту, и потому снял кинжал без лишних слов, но только, говорят, все одно побагровел. «Будто мне усы сбрили, — рассказывал он. — Будто половину лет отобрали. Осмеяли будто...». Ну а деду это как-то вовсе и не интересно было, что там отец чувствует и как на него глядит. И два дня, говорят, ишака водили на ближний водопой, как раньше, а дед не замечал и даже за соседский забор не поглядывал, словно в исходе и не сомневался.

Только раз поднялся к нимасу и кое-что сказал тем, кто там сидел, укутав старость в бурки. А потом, как спустился, уже точно не сомневался, и в глазах его был кроткий свет. И тогда, говорил мне отец, я впервые задумался о доброте и о том, как она

выглядит. Вернее, как выглядит, я знал уже, уже увидел, просто не привык еще. Как не привык думать, что глаза у него могут быть так ненасытно добры, и при этом того не стыдиться. Только, говорил отец, я и не подозревал, что может быть столько добра в глазах, которые всего-навсего тем и добры, что своей победой. И тогда я поскорей запретил себе про это думать.

А на третий день старик велел испечь пироги к обеду и теперь ласково ждал на дворе, глядя на дорогу и спящее солнце над нею. И к тому времени уже всем было известно про слова, что он сперва сочинил, а потом принес на нихас, чтобы произнести их там и разом успокоиться.

Сказал он вроде бы насчет того, что когда двое о покупке столковываются, третий в стороне стоит. Он просто стоит и смотрит, пока они не кончат. Ведь этот третий, если он земляк и законы помнит, не станет ни с кем ссориться из-за какой-то покупки, даже если у него у самого есть что продать. Он не станет мешать, потому что он настоящий земляк и никогда никому не завидует. Он, конечно, умный земляк, а коли так, то знает, что ум всегда виден и всегда ценится, особо когда оба сделкой довольны и уже по рукам ударили.

Вот что он сказал. Не думаю, что больше, но и меньше — вряд ли тоже. И теперь дед сидел во дворе и ждал с охоткой, когда войдет в калитку гость и впервые признает, что проиграл. И, конечно, ждал не только он и не одни мы. В ауле достаточно было глаз да ушей, чтобы ждать. И когда тот наконец появился вдали, те, на нихасе, уже знали, но старик даже не привстал, чтоб взглядеться — так был уверен. А мы, говорил мне отец, выстроились рядом, по

команде будто, хоть никакой команды не было. И каждый из нас тоже старался не вглядываться, только и разговаривать о чем-то был недосуг. Так что глаза нас все ж пересилили, и мы всмотрелись. А потом, как увидели, уже и вымолвить ничего не могли, только взгляд переводили со старика на дорожку, с дорожки — на старика, еще и не думавшего сомневаться. И, говорил отец, я не чувствовал ничего, кроме стыда да злорадства. Только стыд быстрее ушел, и когда тот приблизился, осталось одно злорадство, потому как все мы были отравлены...

И он подошел к нашим воротам, отворил калитку и сказал твоему деду: «С тебя еще четыре заряда». Вот все, что он сказал: с тебя четыре заряда. А твой дед сидел и изо всех сил пытался не верить, и уж больше не трясся, как в прошлый раз. А потом молча кивнул мне, и я принял из быстрых ладоней обоих зайцев. А потом дед твой еще раз кивнул, и я сходил за порохом и свинцом, а мальчишка уже тянул руку, и я ссыпал в нее. Дед твой глядел ему прямо в глаза и тужился что-то сказать, но вместо него сказал мальчишка: «Коли нужна еще парочка, лучше бы сразу оплатить. Коли хочешь купить новых двух, прибавь еще на восемь». И старик дал знак, и мне пришлось снова вернуться в дом и вынести тому задаток. Так что теперь у него было ровно на дюжину зарядов и свинца, и пороха. Если, конечно, на первых двух он истратил все четыре, только сейчас уже и в этом нельзя было поклясться.

А когда через несколько дней он вновь открыл нашу калитку, старик скупил уже всех четырех, добавив к намеченной цене половину и еще шестнадцать пуль да мешочек пороха. За будущую

охоту. А тот стоял перед ним, нахмутив брови и прикусив губу, загибая пальцы и откладывая в карман карса отсчитанные. Старик глядел на него, раскинув в стороны руки и склонив голову набок, словно чего-то искал, но все найти не мог, словно уж и не помнил точно, что ищет. И выходило, что сделка росла и множилась, как убитые зайцы в нашем дворе, только вот росла она совсем не так, как ей следовало бы. И получалось теперь, что деду нужно было для победы скупить всех зайцев с нашего леса да потом еще успеть дать задаток за следующих, только вот никакая прибавка с никакого надела в нашем ауле не стоила столько свинца и пороха.

И, конечно, говорил отец, дед твой прекрасно понимал, но еще с полмесяца не мог остановиться, тем более что никто ему не мешал: никто не забыл его речь на нихасе, попросту не желая забывать. И потому помешать уже мог только сам мальчишка (или мы, если б отстреливали зайцев всей семьей с утра до ночи да притом били бы без единого промаха. Только тогда уже нам пришлось бы выменивать по кускам всю землю обратно на те пули и порох, что у него скопились). И, говорил мне отец, все это походило на работающие жернова, перемалывающие наш свинец и подкидывающие взамен заячьи уши. И уж никто опять не ведал, когда это кончится, и значит, в который раз настал черед ожидания.

Но через полмесяца ожидание смилостивилось и отпустило, вынув занозу из длинных наших дней, и вновь подослало мальчишку.

Он заглянул ближе к вечеру, когда солнце ссыхалось и дед твой сидел на дворе на застеленном кожей чурбане, привычно оглядывая пустой воздух с дороги. И когда тот вошел, старик не шелохнулся

даже, не моргнул, словно привязан был к куску дерева, на котором прежде рубили мясо да дрова и который уж сколько дней кряду застилали с рассвета кожей. И мальчишка сказал: «Я согласен. Верну по пять за каждого барана. Только они мне к лету нужны». А дед даже не двинулся и не кивнул, и тому пришлось повторять: «Пятнадцать зарядов за трех откормленных баранов. Их приведут ко мне, когда степлеет. Но заплачу сейчас. Продавать тебе будет легче, чем покупать. Да и на что тебе столько зайцев?» И дед глядел вязким взглядом в пустой воздух, не отвечая и не шевелясь, будто и не слушая. Тогда мальчишка поманил пальцем, и я послушно подошел и поставил обе ладони, и потом послушно смотрел, как он быстро уходит и как послушно прыгает тень за ним. А потом я вернулся в дом, швырнул мешочек в угол и долго пил воду из кувшина, и вкус был такой, будто долго бежал перед тем. Твой дед сидел на дворе, подставляя спину сумеркам и нашей жалости, и был похож на собственные поминки, хоть мы тогда их еще и не видели. Только все уже знали, что он устранился, да вот смотреть на это было тяжело, все одно как груженую арбу в гору тянуть.

Так говорил мой отец. А дед уж дальше и не рассказывал. И потому про карты узнал я от отца. Было это годом позже, когда Одинокий впервые отправился в крепость, одолжив кобылу у Ханджери и оставив в залог свою часть с обмолота, хотя мог бы оставить уже и что другое. Ну хоть бы мешки с зерном или восемь турьих шкур, которыми разжился за лето, а еще лучше — свое место на нашем нихасе, или по крайней мере — свое одиночество. Потому что никто его не любил, я говорил

уже. А когда он приехал обратно, выяснилось, что даже свертка никакого при нем не оказалось, и было это странно, совсем на него не похоже, так что он снова вроде бы обманул. Ну а наутро поднялся к нихасу и ничего не рассказывал, и, конечно, у него не выспрашивали. А затем полез рукой в бешмет и достал оттуда колоду. Но наши только глядели и гадали, и была эта штука похожа на него самого: маленькая и непонятная, хрупкая и неприступная и будто бы хитрее да ловчее всех, кто там сидел. Так рассказывали. А потом он вскрыл ее, вынул карты и разложил на земле перед ними вверх рисунками. И наши глядели на них, пряча пальцы, потая и прикидывая, на что он ее обменяет. Но никому и в голову не пришло еще истинное назначение. И, наверно, кто-то подумал, что это новые деньги русских из крепости и куда дороже тех, что они когда-либо видели или про которые, может, лишь слышали. И тогда им должно было показаться, что на эти штуки он собирается прикупить или обменять куда больше того, что даже ему могло удаться, и, похоже, стало им немного страшновато, ибо отец мой потом рассказывал: понимаешь, было так, словно нам диковинного зверя показали или собственное незнание. Показали какой-то секрет, не объяснив его и даже не сказав, что это и вправду секрет. Будто бывают на свете вещи, сотворенные руками человеческими и служащие лишь затем, чтобы на них смотреть, ничего не понимать, а потом гадать, как они к черкеске подвешиваются, коли уж совсем никак иначе не используются, да ведь с таким мы столкнулись впервые...

А потом он ткнул в них пальцем и сказал: «Пусть каждый выберет себе одну. Я выбираю эту». И на-

крыл камушком ту, где было нарисовано красное пятно. И тогда уже выбрал Ханджери, а за ним Сослан, и после Таймураз, а потом и все остальные. Только дед твой не стал ничего выбирать, но и отвернуться даже не решился. И мальчишка сказал: «Запомните, чтоб не спутать», — и сгреб карты в кучу, а затем перемешал и уложил колоду вверх рисунками. А после кивнул Таймуразу, и тот перевернул первую. Они по очереди переворачивали карты — все, кроме твоего деда, — до тех пор, пока старый Агуз не сказал: «Вот моя». И мальчишка кивнул и ответил: «Ты выиграл». И Агуз спросил: «Что? Что выиграл?» А мальчишка пожал плечами и ответил: «Ничего. Просто — выиграл». И тогда они помолчали, и, говорил отец, будь мы все прокляты, если они не знали уже, что теперь предложит Агуз. И Агуз предложил то самое: «Пусть камушек будет вместо чего-нибудь, что можно выиграть. Ведь повезти может любому?» И когда они согласились, Агуз сказал: «Ну хотя бы пусть будет бурдюком араки». И они опять согласились, но мальчишка сказал: «Нет, у меня нет араки. Ставлю четверть мешка с мукой». И они кивнули, и дали всем подряд перемешать карты, и, конечно, поставили мальчишку мешать в середине. Только его карта все равно раньше вскрылась. И тогда он сказал: «Теперь и я ставлю бурдюк», и опять они их смешали и сложили стопкой у ног, и сказали мальчишке, чтоб тянул первым, и он потянул, и сразу достал свою карту, и стал ножом чертить палочки на земле. А дед твой сидел рядом и сглатывал слюну, и на губах его застыло что-то неровное, навроде улыбки.

Он так и не сыграл в тот день, а все глядел

завороченно на землю, где тот чертил свои палочки, и, говорят, на всякую его палочку приходилось в лучшем случае по половинке палочки у других. И в тот же вечер от двора к двору принялись снова гонцы с поклажей на спинах, а некоторым понадобилась арба, только вот мальчишка не вынес из дому даже мусора, хоть его ворота дольше других стояли нараспашку, и ему, как всегда, приходилось лишь открывать амбарные двери, когда несли мешки, да провожать к кладовой, если тащили бурдюк.

А потом несколько дней опять ничего не было, и все эти несколько дней они терпели, потому что он будто бы забыл, будто бы ему снова наскучило. Но после они его попросили, и он пожал плечами и принес, и играли уже на утварь да железо. Только наш старик, говорил отец, слава богам, уже устранился и лишь наблюдал, приклеив к лицу бледную улыбку. И то был второй за неделю раз, когда он сидел совсем близко, но умудрился не проиграть. Он сидел совсем близко и следил за глазами, в которых не было даже азарта, одна только вежливость и скука, даже когда он чертил на земле свои палочки.

И вот опять заспешили гонцы с поклажей, и дом его стал похож на склад, столько там всего набралось. Только ему это было вроде как и неинтересно, и после пару дней его на нихасе не видели, хоть наши ждали, разгоряченные игрой и отравленные больше, чем когда-либо. И, говорил отец, к нему украдкой подсылали сынов, чтобы справиться о здоровье, потому как просто одолжить колоду духу не хватало. А потом вдруг как-то сразу все заметили, что миски на пороге уже нет, и нет кувшина с пивом, и вспомнили, что не могут припомнить, когда они оттуда исчезли, и, стало быть, не могут припомнить,

когда от него отреклись. Только почему-то говорить об этом не получалось, словно об утрате общей или общем грехе, так что, может, теперь его даже и ненавидели, хотя и не все: деду-то моему, должно быть, в чем-то оно и приятно было, будто он с аулом местами поменялся, будто теперь пришла его пора наблюдать да посмеиваться. Но, как ни верти, а дед был тоже из ихнего теста, и посему разница состояла лишь в этом вот его самоустранинии да бледной (не темнее лысины, говорил отец, а ту солнце лишь в день похорон увидало, когда шапка рядом в гробу лежала и дождь еще шел, да ты помнишь — шел дождь, будто совершая повторное омовение, и белый череп словно покрылся весь холодной испариной, и тогда только, говорил отец, идя за гробом, я вспомнил ту его улыбку, вернее, понял, на что она похожа) жилистой (от самых ключиц тянулась, и жилы на шее дрожали от напряжения, рассказывал мой отец) улыбке, а не в том, что мозги его трудились как-то по-другому. Думал он так же, как все — или почти так же, — а эти все думали совсем не так, как тот, кто их обыгрывал. И даже настолько не так, что покамест не предугадали ни единого шага его, ни единой мысли или желания, и, выходит, были обречены.

И было то совсем не невезение (не одно только невезение, не в нем дело), было что-то другое, глубже и древнее, чем просто случай или чужая удача. Было это как рок.

Ибо они не могли иначе. Они могли только двигаться к ней, к своей обреченности, и походя отвергать то, что на их пути стояло. И потому они его вынудили: ведь он не хотел и противился до самой весны. И уже отказывал, даже когда его

просили, ссылался на потерю. Но они, конечно, не верили, как не верят в пропажу богатства, что внесли тебе в дом и уложили в твоих закромах, а после уже туда никто кроме тебя и не заглядывал.

Да, думали они совсем не так, как он. И когда к весне стало ясно, что не уступит, нарисовали сами, вырезали кинжалами на тонких дощечках, по памяти восстановив рисунки и выскоблив их на поверхности, а потом смазали с обратной стороны козым жиром. Так что получилось хоть и коряво, но вполне пригоже, да им и выбирать-то не приходилось.

Только дед мой все равно не играл. Он лишь смотрел, кивал головой на всякий выигрыш и ни с кем не ссорился. И, говорил отец, был единственный похож на старика, хоть Ханджери и Агуз родились раньше. И было теперь иначе. Потому что прежде побеждал один, а нынче уж везло нескольким, и тот, кто уходил ни с чем вчера, мог победить сегодня. Кто утром ненавидел, был ненавидим к вечеру, сам не успев остыть от злобы и зависти, а назавтра злоба с ненавистью возвращались, и с победой уходил другой. И не играли уже двое: дед да мальчишка. Только первый не играл оттого, что разучился выигрывать, а второй — потому что не умел, не знал, как проиграть.

И наблюдали они по-разному: дед ухмылялся и кивал, наслаждаясь своим равнодушием или тем, что позволяло ему не ссориться и не проигрывать, что позволяло видеть, как проигрывают другие, и быть так близко к чужому везению, что трепетали пальцы. Так что он вроде бы и играл, только не в ту игру, что остальные. Играл сам с собою, одними глазами, и всякий раз побеждал, пусть ничего за то

и не получая, ведь ему доставало того, что проигрывали другие.

Ну, а мальчишка смотрел по-настсящему. И, говорил мне отец, сперва, пожалуй, ему было занятно следить, как выигрывает не он, и мысленно ставить себя на место тех, кто проигрывал, на то место, где в действительности ни по что бы не оказался. Но нет, говорил отец, вряд ли. Любой другой, но не он. Он ведь мог мысленно поменяться с ними местами еще тогда, когда сам играл. Ему бы ничего не стоило. Ему уже тогда было скучно. Значит, и сейчас не могло быть занятно. Но смотрел он не так, как твой дед, а по-настоящему. Уж не знаю, как объяснить, но только во взгляде его было больше от проигравшего, чем от победителя. В общем, глядеть ему было не то чтобы больно, но будто не с руки, неприятно что ли, а не глядеть он тоже не стал бы, потому как что еще было делать на нашем нихасе, коли не играть и не глядеть?

Ну, а после он все же не выдержал. И однажды пришел туда спозаранку, перетаскав к нихасу бурдюки и мешки с зерном. А когда все собрались, достал свою колоду и протянул им, чтоб перемешали. Потом они сделали ставки, и он сказал, что ставит все, что принес. Они не поняли и ждали, что он им растолкует, только он просто махнул рукой и спросил: «Разве запрещено ставить больше того, что другие? Ведь другие ставят по-прежнему?»

И когда каждый из них потянул по разу, но так и не добрался до своей карты, он пропустил черед и сказал, что переносит попытку на следующий кон. Никто из них не возразил, говорил отец, лишь дед твой крикнул да перестал улыбаться. И они опять потянули, и первой вскрылась Агузова карта, и пока

мешали колоду, мальчишка следил глазами за потным Агузовым лицом, шурился и что-то прикидывал в уме. А все они глядели на него, и никто еще, кроме деда, не понимал.

И они снова сделали ставки и ждали теперь, что поставит он, мальчишка, на что обменяет свой проигрыш, ведь для победы прежде ему хватало одной попытки, а он подстраховался и имел их целых две. И будь я калекой, если не вижу их лиц, жаркого солнца и света с горы. Будь я калекой, если там не было палящего солнца, если от света не делалось больно глазам! И я не сын своего отца и не внук своего деда, коли этот свет не ослепил их, коли не размякли от солнца их мозги. Они же знали, что проиграют! Они просто не могли не проиграть, и даже ему, мальчишке, не удалось бы их заставить, пообещай он им манны небесной, а не то что собственный дом, не то что полный надел фамильной земли. Их ослепило солнце...

Но не только оно. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, я почти уверен: иначе и быть не могло. Он предложил им сыграть, и они согласились, приняв его новые правила. Он предложил сыграть им против своего одиночества — всем вместе, исключая разве что моего деда, да только тот не стал бы играть даже на собственное эхо — не то что на зерно, плуг или подпругу. Он не стал бы играть даже за целое ущелье — куда там старикам малого аула! Ну а те согласились. И не оттого, что всерьез рассчитывали одолеть, не оттого, что тот кинул им вкусную приманку — нет! Не только поэтому. Поймал он их на ином, и это иное вкупе со светом их обмануло. Так оно мне кажется. И когда он сказал им: «Ставлю дом и надел», они уже почти были

готовы, ибо давно хотели, но так и не отделались, давно не любили, но так и не смогли ему того простить, были готовы, потому что солнце палило... Готовы, потому что вместе — против одного, но впервые — в открытую.

И он сказал им: «Взамен на обещание. Одно лишь обещание. Только клянется пусть каждый». И они опять не возразили, и он добавил: «Хочу, чтобы вы забыли. Вернули мне и забыли. Дайте задаток». И Ханджери вынул из бешмета дощечки и передал ему, потом смешали карты. И тянули все по кругу, пока не настал его черед. А он, говорил отец, когда достал чужую, даже не побледнел, не вздрогнул, не вскинулся (вскинулись да бледнели другие, заработав лишнюю минуту в игре с обреченностью, поддавшись липкому зною надежды, о которой-то — минуте, надежде — им потом и вспомнить без отвращения не удастся). Он только отложил ее в сторонку и сказал: «У меня есть в запасе еще. Я пропустил прошлую игру». А затем закусил губу и медленно взялся за следующую (словно выжидая, когда минута кончится), а они глядели, не дыша и изнывая от света, и уже никто из них не походил на старца, даже твой дед. А когда он вскрыл ее и показал им, собрал колоду и сунул в карман, они тихо слушали, опустив головы, как трещат ломающиеся дощечки, как падают им под ноги, как уходят его шаги.

Но минуло еще немало лет, прежде чем он ушел навсегда, покинув дом и могилы и землю, ради которых когда-то вернулся и едва было не заплатился жизнью, чтобы потом, уцелев, охранять здесь свое одиночество. И пусть он не стоял посреди времени, отслаивавшегося в прошлое аульной памяти, пусть не всегда колот его на куски и пусть часто сто-

ронился, не желая ему мешать, только вот оно, время (теперь-то ясней ясного), сверяло по нему тугие воды свои, подбивая с боков, как крепкий валун, упрямое его терпение, подмывая почву под одиночеством, чтобы в конце концов оторвать его от нашего берега и унести туда, где все для всех начнется с самого начала, туда, где не ступала людская нога триста лет, туда, куда только и суждено было отправиться тайне...

Только было это позже. Гораздо позже. А тогда никто еще и подумать не мог, что он все-таки проиграет, и помышляли наши лишь о том, чтобы если не предотвратить, так хотя бы умалить, не подорвать, так хоть не смириться с вечным его даром (или проклятием) победы. Им надоело. Но в землю стекло еще пару лет, пока они не взбунтовались, и два года скоблили солнцем, вымывали дождями, давили снегом и пылью глушили их гордость, пока не раздражили ее настолько, что впору было взбеситься и даже забыть о совести, нарушить клятву и растоптать ее копытами купленной вскладчину лошади, полудохлой кобылы, что однажды к утру оказалась привязанной к почерневшей коновязи, в полупустом дворе, с охапкой желтого сена под мордой. Да, они купили ему вскладчину кобылу. Взамен на свое обещание. Только теперь уже были не дощечки, были пластинки из речной гальки, и играли они совсем не так, как учил их он, хоть суть оставалась прежней. И когда он поднялся к нимасу и увидел прочерченную по земле дугой линию, когда молча глядел потом, как они швыряют заскорузлыми ладонями гальку, как катятся и переворачиваются, сверкая белым, гладкие пластинки, как они отмеряют пядью

расстояние до земляной черты, как хрипло выкрикивают ставки, как в упор не замечают его и давят в горле смех, когда глядел на согбенные азартом спины и цепляющиеся за морщины годы, когда слушал голоса, с сипом вдыхавшие воздух, когда стоял перед ними и боролся с собственным криком, когда дед мой сжимал дрожащую палку в руках и был единственным, кто поднял к нему глаза, когда их взгляды скрестились в заставшем мгновении и дед вдруг застонал, когда старик разорвал на груди бешмет и судорожно ловил ртом невысказанные слова, когда тот повернулся, пошел, а затем побежал, когда игра даже не прекратилась и стучала галькой по нашей земле, когда захлебнулась она выстрелом да срезанным ржаньем, когда отец мой стоял на пороге и смотрел на падающую за оградой лошадь и быстро тающий дымок, на мокрое лицо с пробившимся пушком и черными глазами, когда вскрикнули в испуге женщины и прогремел гром,— когда всё это случилось и хлынула с небес вода, когда она взбучила реку и понеслась на наши поля, когда подобралась оттуда к дому Сослана и своротила забор, пристройку, полхадзара, когда обуял души ужас и заставил уста бормотать молитвы,— тогда они раскаялись и пожалели.

Они раскаялись и пожалели, но неделю спустя не заметили выстрела в его дверь и застрывшей в досках пули, а значит, не видели и стрелявшего, хоть и знали, что он не таился. А после не видели опухших от бессонницы глаз и взведенного курка на ружье мальчишки, с которым тот не расставался до тех пор, пока они не слышали, как горланит по ночам на весь аул песни пьяный Сослан. Но больше они не играли. А к зиме мальчишка исчез, и они

облегченно вздохнули. Но потом он вернулся, и одежды на нем было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы прикрыть срам и замотать лохмотьями раны. И, говорил отец, ему опять не удалось проиграть, и никто, даже дед твой, не помнил, чтобы кому-то в нашем ауле доводилось в таких летах одолеть медведя, и никакому медведю не приводилось быть убитым мальчишкой, в котором и злобы-то особой не было, а была лишь сухая усталость да скука. Но это — когда вернулся, когда тащил на себе в гору подвязанные к плечам салазки с разделанной тушей. Так что теперь у него была еще и медвежья шкура, в придачу к мясу и пуле в дверях. А потом и клочок седых волос над шеей.

Конечно, его не любили. «Ты не думай,— говорил мне отец.— Он ходил туда и разговаривал с ними. Мы часто видели. Он сидел у могил, склонив голову и обхватив колени руками, глядел в землю и разговаривал. Он мог сидеть там часами. А мы работали, и каждый восьмой мешок с обмолота набивали доверху, словно он когда-нибудь проверял. Уж не знаю, как батраки, но мы набивали доверху, даже противно делалось. Но вот что: он никогда не походил на сумасшедшего. Разве не странно?» Так говорил отец.

Иногда Одинокый одалживал лошадь, всякий раз у Ханджери, и ездил то ли в крепость, то ли к тем, что когда-то за ночь лишились пятерых коней, а потом получили одного из них обратно и даже не пустили крови тому, кто умудрился дважды украсть и пойматься, чтобы обычное в нем навсегда кончилось и все, целиком, пошло на корм одиночеству. Но и там он долго не задерживался, а гостей у его ворот наши не видели. И некоторое время все

было тихо да спокойно. Он был почти незаметен, почти неслышим и почти забыт, как старая болезнь, напоминающая о себе лишь внезапными приступами. И наши почти не следили за ним, когда он, вместо того чтобы сидеть на нихасе, копался в прибрежном иле и ковырял ножом выбранную породу. Почти не следили за тем, как каждый месяц полнит он камнями сколоченную повозку и идет к Ханджери за кобылой, а потом отправляется по дороге к равнине. Потому что ничего он из крепости не привозил, кроме разве железной утвари да инструментов, но ведь их он давал Ханджери в счет оказанной услуги.

И почти не замечать да не слышать уже чуть не вошло в привычку, чуть было нормой не стало, когда он однажды вернулся вдруг на кауром жеребце, в новой черкеске и с серебряным пояском, а на пояске том висел уже не нож с нехитрой деревянной рукоятью, а настоящий кинжал дагестанской работы. И только повозки не было. И у двора Ханджери отвязал он его тощую кобылу, слез с коня, вытащил из-под седла скатанную трубой попону, развернул попону и накинул кобыле на спину, а потом сказал: «Спасибо тебе. Твоя доля».

И глядели наши, как древнейший старик аула подходит к своей хилой кляче, трясет подбородком и боязливо ощупывает алый бархат на ее горбу. И отец говорил, у всех руки сами сжимались в кулак и было тесно зубам во рту, и снова что-то споткнулось, выпало, смазалось в прежнем течении жизни, что-то лопнуло или сломалось, застопорив движение времени, остановив видение — ошалевший старец с мечущимися на попоне пальцами,

а вокруг — сомкнутые в злобе уста, хмурые лица и больной безветрием воздух.

Да, я вижу их, как если бы сам там был, как если бы глядел на это теми же разверстыми в неверии глазами. Я вижу их сквозь вечные токи памяти, вливаемой горячей кровью из поколения в поколение, и не могу не видеть этого, как не могу освободиться от него, того видения, спаянного с нашей судьбой и подчинившего ее цепью неудач и проклятий, цепью смертей и рождений, надежд и отчаяния, цепью имен и вопросов. Я смотрю на них, следящих за измученным радостью стариком, за его виной, состоящей лишь в том, что одалживал лошадей, не помышляя ни о награде, ни о доле, ни о барыше, сорванном с общего их незнания. И смотрю на его, Ханджери, испуганное сомнение, повисшее прямо на поводу, за который он тянет в дом алый бархат (клячу не должно быть видно: я смотрю их глазами), я вижу его лицо и лица тех, кто следит, и лица тех, кого не было там, кто родился позже, и все они, эти лица, вкрапляются белым в беду, только ее вот пока не видать, она лишь в молчании, в отсутствии ветра, спрятанная в толпе из лиц, в их сомкнутой общности (и вижу все это четко и разом, а значит, своими глазами, зрячей их памятью, где всё смешалось: виденное и услышанное, слышанное и домысленное, домысленное и до сих пор недуманное, но живое и яркое, почти как алый бархат). И гляжу потом, как выправляют они свои голоса, переговариваются негромко и не про то, как голоса помогают им разойтись и как потом они дают голосам передышку, каждый в своих стенах, как пустует в тот день нихас и как никто из них не в силах ничего изменить, не в силах оторваться, выскользнуть из

толпы, которой уже вроде бы и нет, но из которой им не выбраться, ибо это единственное, что могут они предъявить загадке одиночества, плутающего по их земле и не желающего с ней расставаться.

И после они ждут несколько дней, ждут недели, ждут месяц, пока не стерпится с ударом Ханджери, пока не покается и не скажет: «Но эта наша земля. И наша река. И у нас есть повозки».

И тогда они схватят заступы, носилки и слова, и спустятся с ними к воде, к тому самому месту, где уже зияет яма, где уже и искать не нужно, и начнут рубить да копать, в кровь сбивая мозоли. А может, я вижу не так?

Но потом они движутся длинной распутицей к крепости, увязая в весне и липком снегу, и у низины дорога торопит их, разбегаясь широким к обрыву, подгоняя беспокойную, смутную жажду, и кто-то спешит на обгон, и хлещет кнутом кобылу, и где-то на склоне брички катятся вниз, поймав бодрый колесный стук, пока две из них, заскрипев, не сойдутся на тесном пути и не вгрызутся ободами в чужую ось. И еще малость брички будут катиться вперед, визжа деревом и железом, и еще немного взбороздят тропу колесами, но потом вздрогнут и замрут, не в силах разминуться, будто уперевшись в неслышимый камень, испугав лошадей и смахнув толчком осколки породы за напрягшийся борт. А остальные натянут подпруги, откинувшись телом назад, сплюнут ругательства, прыгнут наземь с повозок, не выпуская вожжи из рук, лихорадочно шаря ладонями по жидкой грязи, осаждая камнями колеса, вглядываясь в рухнувшую под взглядом глубину ущелья, воздавая молитвы богам и смертным упреки, а

потом все вместе столпятся у двух передних и будут кидать в нетерпенье советы, а те, кто окажется ближе, побагровев от натуги, налягут плечами в кругами свитую тяжесть и не сразу расцепят колеса. И, конечно, потом они двинутся дальше, медленно огибая обрыв, прочь прогоняя предчувствие. Они всё еще верят, что вместе. И всякий раз на привале охотно делят трапезу, старательно заполняя время разговорами и смехом — ведь им не страшно, и они показывают себе, что им не страшно. А потом — снова дорога, пока не наступит ночь.

А с рассветом, запрыгая коней, кто-то из них прячет утомленные бессоницей глаза, а остальные украдкой пересчитывают повозки. Они всё еще вместе.

К вечеру они въезжают в крепость — длинный обоз, громыхающий по мостовой каменной тяжестью. И, думаю, тут-то впервые настигает их сомнение (шедшее до того по пятам), только виду они, конечно, не подают, старательно хмурятся, словно знают, куда ехать дальше. И обоз катится по узким улочкам, встречая недоуменные взгляды прохожих и все больше срастаясь с гадким своим сомнением, а лица с повозок, бледнея, отекают страстной решимостью — еще бы, столько грохота сразу! — но с каждой минутой терпеть все труднее, а когда первому из них становится не вмоготу, он, наконец, придерживает лошадь, стопоря обоз перед железными воротами — единственным, на что оно похоже.

«Может, здесь?» — спрашивает он, оглянувшись. Но никто не отвечает ему, никто не слезает с повозок, и он видит, как блестит в сумерках пот на щеках, а в глазах их читает облегчение — ведь первый-то он. Так что он, Сослан — думаю, это был Сослан: мести в нем накопилось поболее, ровно

столько, сколько повозка вмещала, и оставалось теперь лишь обменять ее на деньги или сразу — на каурого жеребца, или еще на что-нибудь, к примеру, на ружье, что бьет без промаха, — спрыгивает на-земь, расправляет плечи и не спеша идет к воротам. А у ворот, кликнув хозяев, ждет, а прямые плечи и спина влажнеют от жара десятков глаз, приставленных к его лопаткам. Перед собой он видит ручку, приваренную к железной калитке, и слышит за воротами надсадный шум работающих жерновов, и сам стоит ногами в белой пыли, и ноздри очень скоро уже забиты запахом этой пыли — мука́, понимает он, зачем им камни? Мельница, понимают другие, только причем тут наши камни? Новая мельница, думает Сослан, раньше здесь мельницы не было, а что раньше было — не вспомнить. Попробуй, упомни что-нибудь на равнине.

И взгляд его ощупывает металлическую ручку на калитке, из которой все еще никто не появился. И даже в густеющих сумерках ручка сверкает желтой медью, так что взяться за нее ему, конечно, не просто. «Эй, чего тебе?» — слышится вдруг в тот самый миг, когда кисть уже потянулась к желтому. Обернувшись, он рассеянно ищет хозяина голоса и какое-то мгновение не находит, но этого мгновения достаточно, чтобы он окончательно взмок, а когда находит — совсем рядом, только сбоку, не сзади, а сбоку и внизу, там стоит, под ступеньками в узком дверном проеме, — пот градом льет с лица.

«Я... Мы... — говори Сослан, запинаясь. — Очень много. Сколько хочешь». А тот, внизу, разодетый так, что лишь усами на мужчину похож, спрашивает: «А чего я хочу?» И пускает дым изо рта, и щурится. А Сослан тычет за спину кнутом и го-

ворит: «Почти три десятка... Разве мало?» А тот пожимает плечами и поднимается на несколько ступенек. «Что там?» — спрашивает. «Камни. Те самые», — отвечает Сослан. «Это какие же?» — спрашивает мельник. «Такие, что денег стоят. Много денег», — говорит наш. «Они что же, золотые?» — и мельник подходит к Сослановой повозке. «Вроде того», — неуверенно говорит наш, и на лице его глупая ухмылка, такая же, как и на всех остальных, кроме разве что мельникова — тот пыхтит трубкой и перебирает руками породу. Потом говорит: «Покажи». — «Что?» — спрашивает Сослан — или тот, что стоит там вместо него, наверняка-то знать нельзя. «Золото, — вскидывает брови мельник. — Ты ведь сказал, золото?» Тут, конечно, им нужно помолчать. И они молчат, только глаза их разговаривают, а Сослановы еще и бегают, но убежать не могут, так что ему приходится говорить вслух, и он говорит: «Может, и золото...» Мельник переводит взгляд на породу в своей руке, долго пыхтит, выпуская дым — а наш его глотает, — потом швыряет камень обратно. «А может, и не золото?» — «Может, — охотно соглашается Сослан. — Может, и не золото... Может, другое что... Ага...».

Он радостно кивает, и те, что ничего не слышат, те, что совсем уж далеко, завидев блеснувшие в улыбке зубы, радуются вместе с ним. «Только с чего ты взял, что мне нужно что-то другое? — спрашивает мельник. — Да еще такое другое, что никто из вас не знает, как оно называется. С чего ты взял?» Сослан мнетя и что-то бормочет, и, должно быть, труднее всего ему спрятать свои зубы, так что те, задние, по-прежнему радуются, и их лишь слегка

беспокоит подступающая ночь. Как бы в темноте не обманули, думают они, как бы не обсчитали...

И видят они, как Сослан ныряет головой то в одну сторону, то в другую, словно миру всему зубы свои показывает, и передние слышат, как бессмысленно он повторяет: «Три десятка почти... И все — доверху... Сколько хочешь... Может, и золото, а может, кое-что получше, ага!.. Надо будет — еще привезем... Ты бери!..» А мельник стоит и глядит на него, только трубка с дымом уже в руке, а в другой — шелковый платочек. Он смотрит и стоит, и снова им приходится разговаривать глазами, только мельнику этого будто мало, и иногда он жестко покашливает, прочищая горло, но все никак не скажет, и видят наши — те, что ближе всех: Сосланова голова мешает, и вот он ждет, когда она нырять устанет, и ждут все наши.

Но тут внезапно шум хрипнет, и наши слышат, как за забором глухо скрипят жернова, медленно затихая, и тут же ночь становится видней, и слышно даже, как позвякивает упряжь и перебирают ногами усталые лошади. И от тишины этой становится зябко, и те, что ближе, напряженно следят за бледными очертаниями двух пятен.

А после калитка все-таки отворяется, и перед ними появляется мельников помощник, его-то видно хорошо, припорошенного мукой, рослого и широкого, как полтора Сослана. «Хозяин,— говорит он,— готово на сегодня». — «Постой-ка,— бросает мельник.— Тут вот новое зерно подвезли. Тридцать повозок. Такого крупного зерна к нам отродясь не поступало. Немного, правда, на булыжники похоже, только крупнее». И помощник подходит к первой повозке и вглядывается за борт. Потом спрашивает:

«А на что оно нам, такое крупное?» А мельник щурится и зажигает спичку, опять прикуривает. «У них мельче не бывает,— говорит.— Зато такого — сколько хочешь.. Правда?» И Сослан уже только стоит, даже не кивает. И наши видят, как беззаботно ползет дым над его шапкой.

«Нет,— говорит мельников помощник.— Жернова не выдержат. Пусть они сперва свое зерно на соседней улице обменяют. Там на мостовой камень помельче». — «Вот-вот,— соглашается мельник.— Если сейчас начнут — к утру жернова пустим».

А темень почти спустилась, и видно теперь, как курит мельник, это-то видно лучше всего, куда лучше, чем Сослановы руки, но зато хорошо слышен Сосланов голос: «Не знаю, как другие,— хрипло говорит он,— а я иначе сделаю. Я сделаю подарок. Тебе понравится. Только ты не уходи: надо, чтоб смотрел». — «Эй! — кричит мельник, и всем ясно, что — помощнику. — Эй! Не позволяй ему!» Но шагов не слышно, вместо них сыплются на мостовую камни, и Сослан помогает им голосом: «Ты извини. Подождать придется. Как-никак левой рукой управляюсь. Но правая вам интересней, по глазам вижу». А наши не видят, зато понимают уже, что у него в правой руке, и на всякий случай вытаскивают из чехлов свои и целят туда, где должны быть ворота, туда, где робкой струей начинается дым. А камни стучат по мостовой, отмеряя во времени равные промежутки, и каждый удар отзывается острым в груди, и наши борются с болью тупым молчанием.

«Тяжеловато,— говорит Сослан.— Передохнуть придется. А может, подсобите, коли торопитесь? Подарок от этого меньше не станет. Ведь правда?..»

И дыма уже нет, так что задние целят по памяти.

«Мы подождем,— отзывается мельник.— Всегда приятно следить за работой. Мы подождем».— «Ага, ждите»,— легко соглашается наш.

Так вот оно и продолжается, только, конечно, Сослан отдыхает все чаще и длится это все дольше, а ночи вокруг собирается столько, что впору огни в окнах считать, и, выходит, целиться стало даже сподручней. И наконец терпенье у мельника лопаётся: «Иди помоги,— говорит он помощнику.— Иди, а то у гостя сил не хватит подарок сделать. Вся сила у него в другую руку ушла, а ему еще бежать надобно». И Сослан тихонько смеется и кивает головой: «Верно,— говорит.— Мы с земляками совсем из сил выбились. Думаешь, они меньше моего устали? Так проверь. Попроси их тоже подарок сделать. У них есть что подарить».

И, понятно, мельник молчит, а помощник, такой огромный, что одежкой его можно укрыть и Сослана, и повозку Сосланову, и кобылу его вместе с оглоблями, остервенело швыряет наземь породу. Кое-кто из наших тоже посмеивается, кое-кто тоже слезает с повозок, а кто-то даже берется за работу, и вот уже гремит камнями вся улица, то здесь, то там бугрясь черными кучами.

Только, думаю, разгружают не все, все не могут, кто-то ведь все еще верит. А потому смотрит на тех, других, осатанелыми глазами, но, конечно, ничего поделать не может и даже крикнуть не осмелится. И, пожалуй, тут им становится немного тоскливо — оттого что вместе. И я не знаю, что происходит с ними в ту ночь и как еще через два дня им удастся вернуться без потерь, в том же составе, что уезжали, ибо никого не арестовали, это совершенно точно:

аульная память такого не помнит. А коли не арестовали,— по-разному можно догадываться. К примеру, можно увидеть, как обоз, разгрузившись — не до конца: кто-то же верит,— выезжает за стены крепости и потом ползет к горам пару верст, прежде чем разбить ночлег. А наутро те, кто верит, выбирают одного помоложе и посылают верхом обратно, снабдив лишь кожаным мешочком да тысячей указаний, как им распорядиться. А потом все ждут — и те, кто не верит, тоже. Где ж им столько неверия взять, чтоб уехать! Ждут все. И когда не возвращается к обеду, те, что не верят, хмуро молчат, а те, что верят, безудержно болтают и часто натужно смеются. А потом, когда и солнца уже на дороге мало, они видят всадника вдали и на этот раз не обманываются. И можно увидеть, как, подскакав, срывает он с мешка шнурок и высыпает без слов им породу под ноги, и лишь затем спускается, чтобы припасть к ручью и вдоволь упиться холодом.

И им не нужно ничего объяснять, и теперь те, что перестали верить, угрюмо берутся за дело, кидая за борт камни, а ущелье быстро полнится громом да эхом от него, и почти тут же, едва проснулось эхо, край неба режет кривая молния, и сразу оба грома сливаются в общую тревогу, захлестнувшую дождем тех, кто вместе...

А потом, придерживая ржущих коней и упревшись плечами в повозки, мешая молитвы с бранью, с ужасом видят они, как стоит посреди дороги Сослан, посреди дождя, посреди самого грома, и тычет в небо ружьем и что-то орет благим матом, а потом ружье плюет в небо слабым огнем. И эта беснующаяся перед глазами фигура — как сам их сумасшедший страх, растравленный воспоминань-

ем. Только на этот раз им везет, на этот раз ничего не происходит, не задевает три десятка жизней, заслонившихся пеленой общего ужаса. И после, когда ливень уходит, когда свод выжимает из сини последние крохи дождя, они пускаются в путь, думая: может, и впрямь? и впрямь он его подстрелил? Им и самим не ясно, кого — дождь или небо? Что, если небо?.. И что это за небо, если можно его подстрелить? И, размышляя так, говорят они о другом, перекидываясь отсыревшими мякишами привычных слов.

Но, конечно, можно увидеть и иначе. Можно и без дождя. Только мыслится мне, что дождь там все ж таки был, а коли не был — так просто запоздал малость. Без него что-то хуже видно, а уж если столько лет спустя дождь мнится, значит, был он там, хоть я и не тот, кто знает наверняка.

Ну ладно, пусть я ошибаюсь, пусть лишнее сочиняю. Да вот думается мне, что коли опять он их обставил (Одинокий то есть), в дороге у них хватало времени, чтоб вспоминать. Так что не вспомнить про купленную вскладчину кобылу они бы не сдюжили, выходит, гром и выстрел тоже припомнили, и сразу вспомнилась река, и увиделось снова, как слизывает водой Сосланову пристройку и полхадзара, а потому ливень там все ж таки вроде и был, да ведь и ехали они — все вместе, вот чего нельзя забывать!

Ну а гадалось им плохо. Гадалось, да не угадывалось. И даже самым старым старикам старость не помогала, куда уж там молодым! И никакие года тут мудрости не прибавляли, и думали они: это сейчас, а что потом будет? Что будет потом, когда уйдет из него мальчишка и останется только мужчина,

взрастивший у них под боком непобедимое свое одиночество? И когда ночью у жаркого костра топили аракой они мутную мглу, на душе не делалось легче. А опорожнив последний бурдюк и сказав все тосты, что положено, возблагодарив богов и воздав хулу врагам (так и не осмелившись при этом произнести одно-единственное имя), сидели они долго в мерцающем от света тесном кругу и прислушивались к своим немеющим ногам да плутающим под ними голосам. Только никто из них того, что нужно, не услышал. И тягостней проталкивало сердце по толстым жилам их густую кровь. И никому из них не угадалось больше, чем сутки перед тем.

А утром время было медленней и гаже, измученное за ночь пьяными снами, колючим душным бредом и дикой жаждою. И полз обоз по тряской дороге. Полз до тех пор, пока тот, что впереди, не крикнул, и тогда они посмотрели туда, куда указывал им его палец. А потом они спешили и спустились вниз по тропе. И там, где бил из земли теплый источник, остановились и увидели перед собой мелко расколотые куски породы, цветные разводы по гальке и раскиданные в золе яичные скорлупки в золе. А потом они щупали краску на гладких камнях, трогали пузырчатую воду и понимали еще меньше, чем час назад. И кто-то пытался скоблить краску ногтем, а кто-то отмывал ее в теплом источнике, а потом оба показывали другим, и другие качали головами да языками цокали от изумления. Как же так, думали они, и я слышу то, что должно быть сказано: «Этот на небо похож, когда туч нету». — «А этот вот — на свежую кровь». — «Эти вместе сложить — издали за траву принять можно». — «Точно». — «Яйца он у ме-

ня покупал. Да и у тебя тоже, правда, Уари?» — «Здесь в воде секрет, не в яйцах». — «Здесь во всем секрет. И в яйцах тоже». — «Выходит, он их сперва выкрасил. Сперва камни выкрасил и уж после в крепость вывез. Разве нет?» — «А пахнет чем? Дай, попробую... Противно пахнет». — «Не так, чтобы очень». — «А на что они, крашенные камни?» — Слышно, как молчат. Потом робко: «Мало ли!..» — «Может, игра какая новая?» — и опускают глаза, и только кто-то тычет носком в рыхлую породу. «Смотрите, вот еще... Палка какая-то», — и все внимательно глядят, пробуют пальцами. — «На волос похоже». — «Волос и есть». — «Или щетина... Щетина, только почти вышла вся, чуть-чуть осталось». — «И в краске тоже. Вон и палка измазана». — «Малость шире стрелы. Раньше стрелы такие правили, длиннее только. Так ведь, Ханджери?» — и они пристально, до рези в глазах, смотрят на палку, осколки и скорлупу. А потом один из них подымает с земли подгнивший бурдюк, держит на вытянутой руке. Держит, а другие вспоминают: «Из тех, что в карты выиграл. Сам не гнал никогда». — «А Бог его знает! Может, когда и баловался». — «А ты хоть раз запах слышал? То-то! Он толком и рог-то держать не умеет». — «Ему просто не нужно». — «Что?» — «Коли б нужда была, держал бы, небось, сноровистей многих. Только не любит он этого. Араку за версту обходит». — «По-твоему, бурдюк сюда сам прискакал? Или овца какая тут свой желудок сплюнула да дальше пошла?» — Они в охотку смеются, разве что немного дольше, чем требуется на то, чтобы исцедить из глоток весь смех. А потому молчание приходит поздновато, и во рту от него приторно сразу и кисло, будто от перспелой ягоды кизила.

И кто-то говорит, чтобы сплюнуть тот вкус: «Нет, тут нечисто что-то». И кто-то отвечает: «Угу, слишком краской заляпано». Но больше смеха не слышно, и он понимает, что брякнул невпопад, и слышит: «Веселись, если путного ничего придумать не горазд. Только он это лучше твоего умеет — шутки шутить». — «Ладно спорить вам. А палочку ты с собой прихвати. Пригодиться может». — И никто из них, конечно, не знает, к чему, однако все охотно соглашаются: «Да, не забыть бы». — «Ты в чехол спрячь. С ружьем-то вместе надежней — не потеряешь». — «Зря волнуешься: у него и за пазухой не пропадет, до сих пор пот с прошлогоднего сенокоса на груди прячет!» — «Тут ты приврал. Последний раз он лет пятнадцать назад косу в руках держал», — и теперь они снова — хором и настойчиво — смеются, словно жажду про запас утоляют.

И в тот же вечер, на подступах к аулу, хлестнув плетью по лошадям, врываются они на истомившуюся в неведении улочку, врываются с гиканьем и шумом, даже не взглянув на нихас, где сидит он весте с выросшей своей тенью и озадаченно следит за их безумием. И пьянка в этот день блуждает от дома к дому, унижая криками ночь. А наутро он, Одинокый, опять находит на своем порожке миску, только уже с дерьмом.

И видят они, как он задумывается, хмуря невинные брови, смотрит, не оглядываясь по сторонам, сжав крепко губы, сжав до белизны, а потом, так ничего и не вымолвив, переступает через миску и, гордо вскинув голову, идет к нихасу, но на полпути останавливается, колеблется лишь мгновение и тут же решительно поворачивает. И видят они, как запрягает он своего жеребца, что-то напевая

себе под нос, вскакивает в седло и выезжает за ворота. А потом медленно, очень медленно, так медленно, что у них устают глаза, движется вверх по дороге.

И здесь уж не надо сочинять да угадывать, потому как отец мне про это рассказывал, и, думаю, без утайки, разве что ненароком кое-что подзабыл. Ну, например, не мог припомнить, кто ту миску тогда подложил, да ведь это не так уж и важно! Зато, говорил отец, никогда не видал прежде, чтоб можно было ползти верхом на лошади, тем паче на справном жеребце. И больно долго нам ждать пришлось, пока полз он, напевая, к нихасу, потом полз мимо нихаса, где одно только место и пустовало, где от тесноты даже беседа задыхалась, будто нашими плечами придавленная. А потом, говорил отец, он голову повернул и внимательно оглядел всех, не переставая ползти, так что ползли за ним наши глаза, а как каждому взглядом лицо ощупал, улыбнулся и вежливо кивнул, поздоровавшись. А после, как улицу до конца прополз, развернулся и вспять двинулся. И так же медленно, как раньше, да вот нам, повторял отец, казалось, что гораздо медленней, только мы ошибались, потому что когда он до нижнего конца добрался, до дома Ахшара, и опять вверх пополз, поняли мы, что медленное едва только начинается. И, говорил отец, продолжалось это чуть ли не до самого обеда, и будь я неладен, если за все это время успел он из конца в конец проползти больше дюжины раз; и, клянусь богами, твоему деду или даже самому Ханджери так медленно не управиться, заставь стариков поодиночке перетаскать в охапку к Ахшарову дому всех взрослых мужчин аула...

Так что к обеду, едва он снова вниз по дороге

пополз, с нихаса всех словно ветром сдуло. А на следующий день никто из наших там так и не появился, лишь к середине дня Одинокого заметили, но и тот сидел недолго, видно, и у него терпению иногда роздых был нужен.

Ну а еще через день, когда к нихасу жидкой струйкой потянулись из своих дворов наши старцы, он их все ж таки поймал. И вот я думаю, говорил отец, сколько ж упрямства надо иметь, чтобы три дня кряду через дерьмо перешагивать и даже вроде его не замечать? И, главное, как упрямством своим людей можно доконать! Потому что, когда он их в тот день словил, всех вместе, думаю, что им самим полегчало: попробуй-ка столько ждать, пока он рот откроет! В конце концов, говорил отец, перешагнуть всегда проще, чем наблюдать, как перешагивают, особенно если сам подложил или кто из твоих знакомых, которых тот, что перешагивает, и за тебя ведь принять может.

Так что поймать их ему не составило никакого труда. И когда он сел меж ними и прочистил горло, думаю, у многих от сердца отлегло, потому что ожидание да угадывание кончались и теперь оставалось лишь выслушать, что у него на уме.

«Ну и дела,— сказал он.— Никогда б не подумал,— сказал.— Никогда б не подумал и не поверил, если б с кем другим приключилось. Только теперь,— сказал,— больше не сомневаюсь, хоть и странно оно все ж таки. Это ж надо,— сказал.— Вот не ожидал, что коли кто-то на пороге твоём что-то теряет, так потом вонять может. Неужто чужое всегда смердит? Это, видать, нарочно богами устроено, чтоб на чужое глаза не разевать. Вы-то как думаете? — спросил.— Нарочно оно или случайно?

Не знаете? Жалко. Вот и я сомневаюсь. Только завтра я в горы пойду, весь день не будет меня дома. Боюсь, как бы не пропало, а то хозяин вспомнит, хватится, а миски уж и нет. Хорошо бы сам забрал да к себе отнес. Вы передайте, а я денек еще, так и быть, перетерплю. Конечно, малость беспокоит на душе,— сказал.— Перед человеком неловко,— сказал.— Он ведь, может, без того, что в миске утерянной, и жить-то не умеет. Вы бы придумали что-нибудь, помогли бы,— сказал,— человеку. А не то придется самому все дела бросать да искать хозяина.хлопотное это дело. Да и перепутать не мудрено, другому может достаться, потом неприятностей не оберешься,— сказал.— Мне сегодня ночью отчего-то кровь снилась,— сказал.— Никак только не вспомню, чья... Как бы не кого из вас,— сказал.— Вспомню — скажу. А снова приснится — так и вспоминать ни к чему. Лишь бы к завтрашнему вечеру наверняка знать,— сказал.— Хотя, конечно, оно и не обязательно, если хозяин прежде найдется. Верно? Ну ладно,— сказал и поднялся, но после опять присел.— А ежели интересно кому — пусть приходит, мне не жалко, пусть приходит и проверяет, пусть нюхает, может, свой запах признает. Ага... Пусть. А покамест отдыхайте,— сказал,— почтенные. Будем считать, что сговорились».

А потом встал и быстро к себе пошел, а на пороге, наши сверху видели, нос зажал да ловко переступил, исчез в дверях. И оставалось у наших достаточно времени, целые толстые сутки, чтобы молчать да обдумывать длинную речь его. И целые сутки на то, чтоб украдкой следить за его порогом.

Так они думали. Только немного маху дали и посреди ночи сбежались толпой на пожар: в низине

у поворота горела грязная парусина, а под ней пылало несколько добрых охапок отборного сена. И, конечно, тогда они еще не поняли, зачем кому-то понадобилось жечь свое сено, ну а наутро миски там уже не было, а Одинокый объяснил: «Вот и хорошо, — сказал. — Вот и славно, что хозяин нашелся. Правда, стеснительный оказался. Из-за какой-то миски полстога сена спалил. Зря. Мог не спешить. Мог до утра хотя бы обождать. Чересчур стеснительный попался хозяин. Вот и сейчас молчит».

Но, конечно, молчали все, только кто-то один из них молчал куда основательнее. Так что, думаю, отец и впрямь наверняка не знал, чьих рук было дело, если только, понятно, сам в нем участия не принял. В общем, думаю, досада их взяла, что нашелся в ауле еще кто-то, у кого голова вполне сгодилась на то, чтобы провести их, всех вместе, пожертвовав при этом лишь горсткой сена да старой парусиной. Не так уж много ему потребовалось, чтоб их мозги перевесить.

Только кажется мне, что была там не одна лишь досада. Было еще и облегчение, и как-то с самого утра дышалось им легче, просторней. И теперь не нужно было вспоминать ничью длинную речь да размышлять о том, что за кровь кому снилась. Выходит, могли они вполне быть даже благодарны тому, кто струсил и из трусости исправил собственную глупость, отведя от всех беду. Но теперь души их были отравлены пуще прежнего, души их терзало сомнение, и быть потому стариками стало им куда как тяжело.

Понимаешь, говорил отец, трудно это — сомневаться, особенно когда почти вся жизнь — целая жизнь — твоя за плечами молчит, потому как под-

сказать тебе ничего толком не может... Ведь где это видано, чтобы досада с облегчением дружили, чтобы чужая трусость была мила всему аулу, чтобы прожитые годы так мало стоили и чтобы цену им назначали какой-то юнец да прохвост, того юнца испугавшийся? Где видано, чтобы так долго — невыносимо долго — никто из них ничего не понимал и даже не очень верил, что когда-нибудь ту загадку раскроет? Где видано, чтобы старикам не давала покоя какая-то бородатая палочка и чтобы украдкой друг от друга просили они того, кто ее сохранил: «Покажи-ка... Да, на стрелу смахивает... Но если ею мазал, дурак, значит! Зачем ему палкой по камням водить, когда их можно просто в краску окунуть?.. Ладно, убери...» А у самих (видно это) в глотке сохнет от волнения. А тот, стервец, ни за что не скажет, только лелеет у них на глазах подлое свое одиночество.

И хуже всего, что каждый знает: украсть не мог; а потому нельзя и обвинить, хоть очень хочется. И вовсе не странно это их знание, пусть все когда-то и видели, как крали коней, лучших в ущелье, старшие его крови, а сам он в тот же день крал коня у самих воров, а после, попавшись, все-таки уцелел и вернулся сюда, на эту землю, чтобы заставить ее жить по-своему.

Так что где-нибудь умыкнуть жеребца он не мог, он мог его только купить, а значит, должен был раздобыть где-то хорошие деньги. Только вот ничего из того, что продается, в крепость он не возил, а потому, решили наши, продал нечто такое, что в самом ауле не больше воздуха ценится, да еще столько денег выручил, что принудил всех сначала копать, потом грузить, потом везти, потом краснеть, потом достать ружья, потом бежать, но с рассветом

отсылать обратно одного из тех, кто упрямей безумствовал, а потом ждать и все больше надеяться, а еще позже проглотить разом надежду заодно с позором, разгрузить повозки и трястись по дороге домой, чтобы ночью упиться, а следующим полднем глядеть в мутный теплый источник да на щетинистую палку, чувствуя тухлый дух смешавшихся запахов, ноздрями чуя в нем свою убогость и обреченность того, что почиталось за вечное, незыблемое, что было впору всем, словно пастушья бурка, но с какого-то давнего теперь уже утра с каждым днем становилось теснее, пока совсем мало не стало. И было это удивительно тем сильнее, что каждый из них и в своих-то глазах не рос, а словно бы вроде мельчал, подгрызаемый изнутри то завистью, то алчностью, то местью, то сомнением. Но поскольку мельчали все вместе, делалось будто не так обидно, как если б в отдельности.

И, говорил отец, томленье уходило, поспешно уступая место вялой дреме смирения, так ведь всегда бывает, когда уж больше не вмоготу.. Ну вот представь, говорил отец, представь себе, к примеру, что конь наш вбок ходить начал, я как положено — вмиг разучился... Представь, что хлещешь ты его нагайкой, пятками колотишь, а он все по-своему скачет, хоть знаешь ты, что не бывает так... Не может быть такого, боком чтоб конь скакал, а спросишь у кого, так подтвердит — не может. Только ведь он, шайтан, считаться с тем не хочет, что не бывает оно так, нельзя ему боком... Представь, что смотришь ты на чудо это, видишь его своими трезвыми глазами, а все одно — не веришь. Кто ж в чепуху такую верить станет! То-то и оно... Да вот только делать тебе что?.. Ну, поборешься с ним,

конечно, покуда из сил не выбьешься да плетку и лохмотья не изорвешь, а после — что?.. Вот и сдается мне, что как-нибудь свеженьким днем плюнешь ты на крепкое свое неверие да полезешь в сарай новое седло мастерить, чтоб с коня не валиться. А как смастеришь да пообвыкнешься боком скакать, охота тебе будет вспоминать, что не бывает так? И пусть, конечно, ты еще не веришь, пусть не поверишь никогда, только не хватит тебе причины, чтобы коня бросать. Не хватит причины, чтоб не смириться — да так, что коли шагом егопустишь, тебя еще он ловко укачает, так ловко, что рот в зевке едва не порвешь. И пусть вокруг все кони ходят, как оно нужно, лишь твой один такой, — зевнешь, и мысль тебе придет, что вот, мол, и руки ведь две, и левая, хоть ты отрежь ее и к туловищу прислони, правой никогда не станет. И даже не поймешь ты еще, причем здесь эта мысль, а — успокоишься. Не растревожишься, по крайней мере, к коню привыкшим неверием. Та́к вот. Не верь себе, сколько хочешь, и скачи себе, куда хочешь. Привычка сильнее чуда. Привычка любое чудо приручит. Вопрос только во времени. Так говорил отец.

И в самом деле, я прекрасно помню, как уходил он, Одинокый, чтобы помочь нам много лет спустя обуздать это его чудо, спрятанное надолго за пазуху общей памяти и отстаивающееся в ней, как в темноте волшебное вино. И даже сейчас его пить рановато. Может, и не рискну я. Может, и вам опасно рисковать, хоть вы моложе, да только это всякий за себя сам решает. Неволить тут нельзя: мигом в голову ударит.

А потому расскажу не спеша, подробно, все по порядку.

К тому лету ему уж шестнадцать стукнуло или около того. Хорош собой он не был, так что заранее беду и не почувствовали. Да и кому могло на ум прийти, что чья-то дочь для сердца своего такую тропку сыщет? Кому на ум могло прийти, что ненависти их не хватит даже на то, чтобы ее наследовали — столь же непреложно, как и саму их кровь?.. И разве мог помыслить Сослан, что так его обманет им же сотворенная плоть!..

Не приведи Господь, говорил отец, не приведи Господь повториться такому ужасу. Они все видели с нихаса. Они сидели там и слушали, как травит байки Сослан. Но Одинокого там не было, иначе бы ему не уцелеть, ведь он бы не смолчал, конечно. Он бы сразу рассказал. Только Одинокого там не было. Сослан же байки травил и первый сам смеялся. Они давно не помнили его таким веселым. И дед твой, говорил отец, сказал еще: «Видно, кувд* для тебя покамест не кончился. Видно, ты его в одиночку продолжил». И Сослан еще ответил: «После такого зиу** можно весь год кувд вспоминать. Я просто вспоминаю». А дед твой сказал (у него зубы болели, так что настроение было паршивое): «Как бы и нам так вспомнить, чтоб от веселья пьяными казаться? Научи». А Сослан, недолго думая, ответил: «Дело нехитрое. Надо только прежде вспомнить, как на зиу трудился». И все, говорил отец, рассмеялись, потому как дед твой на зиу Сослановом не был, зубами мучился, только нас, сыновей, послал. К тому дню как раз неделя пробежала с тех пор, как всем аулом Сослану и пристройку, и полхадзара заново

* Кувд — праздничное пиршество.

** Зиу — (здесь) безвозмездный коллективный труд в помощь нуждающемуся.

справили. До того времянками перебивался. Ну, а на кувд, понятно, дед явился — и про зубы свои позабыл.

И вот теперь, говорил отец, греясь на солнышке, каждый на них благодушно посмеивался, ожидая, когда вернутся младшие с сенокоса. И когда они слышали крики и увидели бегущих к нимасу женщин, к беде они были так же не готовы, как к внезапному снегу. Женщины голосили что есть мочи и бестолково махали руками, спотыкаясь и упрямо задирая головы к небу (так что дед твой потом настойчиво повторял, что сперва подумал: коршун). И тогда старики проследили глазами за жутким их отчаянием и увидели пятно, ползущее по скалам к утесу, и признали в том пятне сначала женщину, потом девушку, а после пятно превратилось в девчонку, и тут же дико вскричал кто-то рядом, и сразу, не отрывая глаз от скалы, сил не имея оглянуться, сообразили, что то Сослан был, и все вдруг смолкло на мгновенье, утонуло, застопорилось, увязло в дыхании, а потом вместо крика слышали они сдавленное в его груди мычание, и было это страшнее, чем самый страшный вопль. А пятно на скале робко поползло ввысь, а толкнувшиеся на дороге женщины, внимания не обращая на испуганно хнычущих детей, заголосили вновь, визгом разрывая Сосланово мычание. И видели они, как пятно дрогнуло и стало разом похоже на каплю, а после капля потекла вниз и зацепилась за выступ скалы, а после снова пришла тишина и быстро густела в ушах, пока капля боролась с зияющей под ней пустотой, а после капля сорвалась и стала падать, а когда разбилась о камни у реки, из глоток их вырвался стон...

Не приведи Господь, говорил отец. Я видел, как она там лежала. Когда ее поднимали, видно было, до чего она сделалась мягкая. Ни одной целой косточки не осталось. Твой дед говорил, что красивее девочки и во всем ущелье не нашлось бы. Все так говорили.

Одинокого до самых похорон не было, и все эти дни никто о нем не вспоминал. И только когда ее уже на улицу отпевать вынесли, наши заметили его на дороге. В руках он что-то нес, а как ближе подошел, мы разглядели свернутую трубой холстину и то, что из нее торчало: две оструганные палки. И помню я еще, говорил отец, что концы их были землей испачканы. И когда он подходил, шаг его делался мельче, а по лицу трепетала тревога. А как сквозь плач ее имя расслышал, прямо-таки зашатался и рот распахнул, беспомощно воздух глотая. А после, так и не дойдя до нас, отвернулся и боком встал, и все головой мотал, будто не веря, все мотал головой и шатался. А мы уж только на него глядели, как он шатается и головой мотает. Ну а потом он и вовсе к нам спиной повернулся, на корточки присел и расстелил перед собой холстину. Только нам еще, говорил отец, было не разглядеть, и мы лишь видели, как, чуть привстав, ступней он ее прижал и начал палки срывать. А после, выпрямившись, все вертел ими перед грудью, словно не зная, куда их приткнуть, в конце концов так и не приткнул никуда, а просто в сторону отшвырнул и понес холстину в толпу, а толпа послушно расступалась, и глядел он поверх наших голов (или сквозь нас, сейчас я не помню). И, говорил отец, мы слышали его шаги, только их и слышали, выходит, даже причитания смолкли, хоть тогда никто того и не заметил. А как к телу подошел, отыскал глазами Сослана, кивнул

ему и попросил: «Хочу вместе с ней чтоб положили», — и тут только полностью холстину развернул, и наконец-то мы увидели, и было это так красиво, что мешало поймать какую-то важную мысль, и мы смотрели, став на цыпочки, и отгоняли эту мысль, и уж не знаю сколько времени смотрели бы так, запрещая себе о чем-либо думать, только он снова ее опустил и, перевернув, укрыл ею мертвое тело, оставив тем, что ближе, лицезреть изнанку. И тогда мы снова перевели взгляд на него и увидели, как стынут в горе его глаза и никак не могут оттуда выбраться, будто запутавшись в ее волосах, как внезапно дергает он головой и как стремительно прорывается из толпы, расталкивая нас руками. А как исчез он, несмело занялся, проснувшись, отпелальный плач, так что теперь мы могли и подумывать. И рядом со мной стоял внук Ханджери и сказал мне: «Прямо как в жизни». И я кивнул и ответил: «Только лучше. А вода как живая». И тот сказал: «Выходит, к водопаду ходил. А бородатые палочки у него из мешочка торчали, я видел». И я сказал: «Теперь-то яснее ясного, на что они ему. Теперь-то ясно, что он в крепость возил». И внук Ханджери сказал: «За такую красоту можно много чего купить. Скоро у него табун будет». И я сказал: «Нет. Не будет. Ему не нужен табун». А тот спросил: «Тогда что ему нужно?» И тут уж мы долго молчали.

А к вечеру, когда закончились поминки, на которых он, Одинокый, так и не появился, мы вдруг опять увидели его, вдрызг пьяного, слоняющегося из конца в конец по улице и играющего перед собой кинжалом. И, говорил отец, никто из нас бы не сказал «идет», никто бы не сказал и «движется»,

потому что было это слишком уж неточно. Он — блуждал, будто потерявшись на единственной улочке единственной земли, что помнила его с рожденья и была единственной, способной перетерпеть замешанное на ней единство (дом, амбар, надел, загадка, конь) его одиночества. Он блуждал, но иногда останавливался и озирался по сторонам, ища, кого б задеть, но, никого не обнаружив на пустынной дороге, горько сплевывал, грозил в сумерки пальцем и кричал: «Вы ничего не знаете!.. Сидите в норах и не знаете ни-че-го!.. Потому и прячетесь, что узнать боитесь!..» А потом ковылял дальше, и, говорил отец, пьянее человека я в жизни не видал. Был он пьян весь, пьян насквозь, пьян до изнеможения, пьян от обиды, что так и не сумел упиться до смерти иль до бесчувствия.

А наутро, еще не протрезвев, он вышел со двора и в горы направился, и глядели наши, как, поминутно останавливаясь, приникает он жадным ртом к бурдюку, как все сильней заплетаются ноги, и хмуро ждали, когда он рухнет в пыль, подкошенный испитой аракой. И ждать им пришлось порядочно, хотя и не слишком. И видели они, как одолевал он улицу, мост, первый из подъемов и несколько пядей тропы, как вскидывал руки, расплескивая араку, как устало валился набок, не выпуская из пальцев бурдюк, как замер у обрыва и больше уж не двигался. А потом старшие велели его привести, и мы пошли, и вернули его пустым по-прежнему стенам, уложив на грубые циновки в хадзаре.

Только на следующий день он опять туда пошел, все так же, с бурдюком, да вот прикладывался к нему гораздо реже. И, говорил отец, ни для кого

секретом не было, зачем он туда лезет. Однако истинной причины тогда еще не знали, и первым узнать суждено было мне, твоему отцу, только позже. А тогда, конечно, никто себя не спрашивал, зачем он это делает, и уже перестали спрашивать, зачем это делала она. Вот в чем была ошибка! И потому лишь глядели да гадали: сможет или нет? И видели, как туго идет дело, как тяжело одолевает он тропу, как выбирается к скалам, как надолго теряется там из виду и появляется вновь, как перекидывает на спину бурдюк и принимается ползти по каменной гряде, как жарится над ним желтое солнце, и смотреть на то, как он ползет, оказывается задачей не из легких, потому что иногда нам вовсе не понять, ползет он или нет, ибо быстрее него ползет даже солнце, сдвигаясь по небу к вершине. Только — ползет он или нет, а — до утеса остается все меньше. И вот он уже проползает то самое место, и у многих из нас бежит по пальцам дрожь, и мы оглядываемся невольно, но вспоминаем с облегчением: Сослан сегодня из дому не выходил, — а потом снова напряженно следим и, быть может, впервые, в жизни желаем победы тому, кто, вообще-то, и не умел никогда проигрывать, кому на все про все хватает двух попыток, и эта вот — вторая.

А когда он все ж таки побеждает и поднимается во весь рост на утесе, кое у кого блещут от влаги глаза, и это видно даже при закате, который покорил он только что, прочно впечатав в него свою тень. И лишь теперь мы вспоминаем, что голодны, что проторчали здесь целый день напролет, и чувствуем, как затекли у нас шеи. Но напоследок, прежде чем расстаться, видим в закатном огне, как чет-

ко скроенный силуэт, слегка отвернув голову, что-то к ней приставляет и держит перед собой на вытянутой руке. Видим, как потом осторожно садится, свесив ноги с утеса, и некоторое время сидит без движения, а после опять припадает к бурдюку. И сил глядеть на то, как спаивает он неистребимое свое одиночество, больше нет, потому что все уже просто устали — целый день следить за тем, как доказывало оно себе собственное бессмертие...

Но тогда, повторял отец, мы еще не ведали, причем тут утес. И только спустя восемь месяцев узнал про то я, и к тому времени могли бы и другие догадаться — все, кроме Сослана, ибо тот уже почти ослеп. И глаза его, увидевшие такое, чего не приведи Господь увидеть даже врагу, впустили в себя болезнь и покрылись белым туманом. И, говорил отец, туман густел в них толстыми бельмами, застя солнечный свет и безжалостное время, запирая его, Сослана, в вечном холоде зрячей памяти. Так что он был единственный, кто до конца осознать не мог. И было это к лучшему...

А по весне, говорил отец, как распутица кончилась, дед твой снова придумал, как разбогатеть. Только теперь, конечно, он и не собирался тягаться с Одиноким. Кое-что другое на ум ему пришло.

Раз как-то подозвал меня и говорит: «Сходи к Урузмагу в кузницу. Просто стой там и смотри, а после придешь и скажешь, что интересного увидел». И, конечно, сперва не понял я, зачем ему понадобилось на Урузмагову кузницу моими глазами смотреть, только ведь и спрашивать не положено.

Ладно, сходил, постоял с другими, поглядел, как Урузмаг Маирбеку лемех чинит, как ножницы

овечьи правит, запомнил, как по стенам железные крючья висят, подковы да очажные щипцы. На всякий случай сосчитал, сколько народу стоит и глазает, как в хадзар вернулся — пересказал подробно все, а дед твой слушал и довольно головой кивал. А потом прищурился и спросил: «Только и всего? Маловато. Иди еще смотри».

И я пошел, и на этот раз задержался подоле, и сосчитал уже не только людей, не только крючья и подковы, но даже штыри, на которых они висели, и штырей оказалось ровно столько, сколько крючьев и подков, да только это было с самого начала ясно. А как вернулся, дед твой уже посмеивался, слушая, что я ему рассказываю, и ласково колени свои поглаживал. А потом лукаво так спрашивает: «Неужто все? Неужто ничего интересного? Иди проверь да будь внимательней!».

Так что теперь, сам понимаешь, терпенье мое лопнуло, а от обиды в суставах заныло, и в мозгу моем пронеслось: старик свою хитрость тешит. Ну хорошо, пусть его, только и я ведь могу часок-другой потешиться, а для того хитрости его на нас двоих с лихвой хватит. Так что вышел я со двора вроде бы совсем послушный, но вот двинулся немного не туда. И, видит Бог, сидя на бережку и камушками играя, тешился от всего сердца, представляя себе, как тешится в доме твой дед, а после и вздремнул чуток, давая ему время всласть натешиться, ну а потом, дождавшись вечера, подождал еще малость, покуда он тешиться не устанет, и еще немного, чтобы отбить у него охоту тешиться за чужой счет. Ну а когда и сам притомился тешиться, поднялся и отправился к натешившемуся до злобы старику. И он сердито бросил мне: «Ну? Насмотрелся?» И я

ответил, что вдоволь. А он спросил про интересное, и я пожал плечами: «Будто бы ничего, а завораживает. Чем чаще смотришь, тем интереснее. Особенно в последний раз. Глаз не мог оторвать». А он смотрел на меня так пристально, словно заподозрил что-то. И было мне глядеть на это одно удовольствие. И он сказал: «Дурак». А я даже взгляда не отвел, так было приятно смотреть. И он сказал: «Видно, чем интереснее тебе делается, тем охотней твои мозги засыпают». И я пожал плечами. И он сказал: «Уходил ты умнее, чем вернулся. Не знаю, стоит ли тебя теперь дальше пастбища посылать. Сомневаюсь что-то». И тут я понял, что черед мой снова перебит и что у старика всегда есть про запас чему потешиться. Так что пришлось мне крепко подумать и сказать: «Это, пожалуй, от жара. Жар в голову ударяет. Потому как постоял я вот тут немного, поостыл, а уж и вспомнить не могу, что меня там заморозило. Кузня как кузня. Ничего особенного». А он будто и внимания на слова мои не обратил, откинулся спиной назад, к стене прислонился и веки опустил. И я сказал: «В дороге оно, конечно, занятней. И воздух здоровый. Никакого тебе жара, чтоб мозги плавил. Дорогу с кузней и сравнить нельзя». А дед твой тихо так, одними губами: «Тебе и не придется. Брата своего позови». — «Зачем же брата, — говорю, — я и сам могу. Да и проветриться мне после кузни не мешает». И теперь пришлось с полчаса сторожить, пока хитрость его глаза не откроет и не спросит: «Выходит, ошибся? Выходит, мало там интересного?» И, конечно, я кивнул и спешно ответил: «Так получается. По правде если, так от скуки завывть можно». А дед твой весело крикнул и сказал: «Долго же ты остываешь». И я подумал про себя:

небось, срок не я устанавливаю. Кабы я устанавливал, уже бы давно в пути был.

А с рассветом приказал он мне в повозку коня запрячь и ехать в крепость, а в крепости отыскать скобяную лавку, и найти в ней хозяина, и пригласить хозяина к нам в дом, а когда откажется, просить разрешения пригласить его помощника, и вместе с помощником загрузить в повозку всякой утвари сколько влезет, и сказать хозяину, что цена пусть будет любая, только каждая копейка с десяти полученных — наша, так же как и каждый десятый рубль, и что пусть помощник живет в нашем доме сколько понадобится и ни о чем не беспокоится, кроме как без задержки отсчитать с каждого рубля по гривеннику и тут же, дабы ненароком не забыть, отдать кому следует, и даже не беспокоится, когда разойдется товар, а только напишет бумажку хозяину и отправит в крепость меня или брата, и что, коли придет нужда, торговать можно и в другом месте, повозка наша вполне для того сгодится, а аулов в горах — все равно что домов в крепости, и в каждом ауле хадзаров не меньше, чем пальцев на руках, а в хадзаре в любом всегда найдется, что́ за покупку отдать, значит, найдется и десятая часть, выходит, что обоим выгода, и даже тем, что в ауле...

И, говорил отец, пока я в крепость ехал, все прикидывал так и эдак, но изъяна все ж таки не нашел в его задумке. Вроде дело и впрямь для всех сторон бесприигрышным выходило, как если бы, скажем, я тогда, у реки, камушками играя, тешился ровно столько, сколько в охотку, было тешиться старику в хадзаре, ни мгновеньем дольше, а обоюдная хитрость наша, не взбаламученная злорадством, тихая наша, сладкая хитрость удобрила бы вкусный

этот ломоть надвое разрезанного времени тонкой приправой. Как если бы видел все это кто третий, кто только и смог бы насладиться зрелищем в полной мере, кто получил бы удовольствия поболее нашего, при этом вовсе никого и не обжулив. А потому, думал я, кто больше видит — больше и выигрывает. Яснее ясного. И дорога слишком короткой оказалась, чтоб усомниться в том.

А в крепости (тогда уж она городом звалась, но крепость — привычней на уста ложилось), не очень поспешая, разглядывал я лавки разные и магазины, к нашему аулу примерял и получалось, что скобяная утварь — лишь начало, и коли дело выгорит, можно и с другими столковаться, отчего не столковаться, если все кругом сплошная выгода?

В лавке скобяной дожидаться пришлось, покуда покупатели не разойдутся, при народе по-русски заговорить — все равно что донага раздеться. Так что стоял я там, в уголке, гвозди перебирая и горлом слова чужие ворочая, чтоб когда вслух — легче с языка скатились. Ну и, конечно, пасовал немного, робел, хотя глаза, казалось, всю лавку туда-сюда мельком обежали, да вот приюта никак не находили. Немудрено оно, особенно если с Урузмаговой кузней сравнивать. Еще, как назло, одни уйдут, дух не успею перевести — другие тут как тут. И так лихо с продавцом переговариваются, что меня в жар бросает. Я уж гвозди эти, поди, раз по десять каждый перещупал, а тот, за прилавком, недобро коситься стал, вот я и сделал шаг-второй к середине, помню, передо мной теперь петли дверные лежали да защелки блестящие. А потом, с минуту, перетерпев, глаза я на него вскинул, в грудь воздуха набрал, но, не начав даже, запнулся, потому как над ним, над

мелкими стекляшками его, что на нос приклеил, над самой головой увидел то, что помнил всю жизнь, что знал с младенчества, что никто никогда и нигде не мог бы унести с собой, имей он хоть обоз золота, что никто никогда не мог бы увидеть так ярко и полно, имей пусть сто глаз, а не серые стекляшки на носу, не мог бы рассказать об этом здесь так достоверно и целиком знай он русский даже лучше самого царя...

И пока глядел я на чудо это, пока бормотал что-то сухими губами, пока пытался еще не поверить, отмахнуться от него, как от наваждения, пока лишь только беду предчувствовал, но не осознал, пока не пускал к ней мысли свои — все тыкал в него пальцем, забыв десяток слов, какие загодя набрал в дороге из тощей памяти зааульной жизни. И, понятно, не сразу услышал и тем паче не сразу продрался к смыслу того, что настойчиво стучалось в мой слух его криком. «Не продается! — уже почти вопил он мне, согнувшись над прилавком. — Нет! Нет! Не продается! Нет! Ну что за бестолочь такая! Нет! Дурья башка... Это не товар! Не это товар! Товар — вот!...» И он, схватив в горсть обеими ладонями, брызгал перед грудью металлическим блеском защелок. А я, по-прежнему ограбленный прекрасным, страшным виденьем, душившим красками мне глотку с невысокой (слишком низкой для него, это тоже с толку сбивало, чудовищно низкой: все одно что целую руку вдруг в ногте уместили) стены, никак не вспоминал, никак не мог спросить и защищался единственным звуком, который тот, в очках, не признавал за слово, продолжая сыпать белые искры в объемистый ящик с гремящей утварью.

«Не надрывайся ты... Он спрашивает — когда?»

И тут я увидел мужчину в ихней одежде, с их взглядом, их руками. Он медленно сложил их за спиной и спросил меня по-нашему, но русским голосом: «Ты хочешь знать, когда она была куплена?» И я, измученный потной, безысходной борьбой — борьбой с защелками да стекляшками, — благодарно закивал, не решаясь ответить. «Зачем тебе?» — спросил он и долго ждал ответа, глядя, как я жалко улыбаюсь и судорожно пожимаю плечами. «Впрочем, какая разница! Не хочешь — не говори», — сказал он, и я опять перестал понимать, так что ему пришлось перевести и медленно (еще медленней, чем складывал руки за спиной) повторить на нашем языке. И получалось, что ответа он все-таки хочет, потому как дальше замолчал. И я сказал: «Это место. Я его знаю». — «Красивое место», — согласился он, а я уж понял про себя — хозяин. И вспомнил твоего деда, загорелся кожей и произнес: «Очень. Очень красивое. Оно ждет тебя». Он вскинул брови: «Меня?» — «Да, — сказал я и приложил к сердцу ладонь. — Будь нашим гостем». А он, переждав немного, — видно, мысленно на русский переводил, — откинул дверцу прилавка, подошел ко мне и спросил с любопытством: «Где это?» — «Два дня, — ответил я. — Путь хоть и трудный, но не слишком. Обычный путь. Я сам повезу». — «Твоя повозка? — указал он во двор, указал одним подбородком. — Ты ехал в такую даль, чтобы просить меня быть вашим гостем?» И я кивнул. А он еще больше приблизился ко мне и осмотрел с ног до головы, а я стоял, прямой и стылый, как бревно на морозе, как столб посреди лавки, окруженный покупателями, стиснутый жадным их дыханьем, и чувствовал себя бревном, и, видит Бог, жалел это бревно, и следил, как примеривается он

ко мне — бревну, словно прикидывая, в какой точке начать пилить.

«Это он прислал тебя?» И я, конечно, понял, что это вопрос, и, конечно, понял, что ко мне, но разрази меня гром, если я понял, в какой такой точке он стал пилить. И я молчал столько, сколько выдержал, но вовсе не придумал, чего ему нужно, а потому снова кивнул, ибо ответить отрицательно показалось неприличным, казалось неправильным, опрометчивым, и могло — вот что казалось! — разрушить с таким трудом лепившийся разговор. «Да,— сказал я.— Да,— мой отец». И теперь получалось, что прилично и вежливо, но и что правда — тоже. «Он не может быть тебе отцом, ведь он почти мальчишка». И я подумал: вот оно что. Вот он о ком. И подумал: для тебя мальчишка, а для нас, похоже, никогда им и не был. И оставалось еще придумать, что сказать ему вслух — озадаченному хозяину лавки, хозяину картины, хозяину нашего будущего — так, чтобы не запнулся разговор и чтобы легче было потом не замечать его чужого голоса, трогающего наши слова.

И я сказал: «Он сосед мой. Но то — отец прислал. Хочет дело тебе предложить, а картина ни при чем. Просто удивился я, до чего всё настоящее... А так, кто не знает его, для тех — мальчишка...» И теперь мне вроде как полегчало, потому что его пора настала мучиться тем, что бы такое придумать в ответ, и уже ему, а не мне, помогали пальцы, блуждающие в ящике с утварью, а когда помогли и остановились, он сказал: «Я ведь могу отказаться. Что тогда?» — «Тогда — твой помощник. Не беда, что языка не знает. Ему и не надо знать». И он спросил: «Вот как?» И я ответил: «Да. Главное — всем выгода. И

тем, кто в ауле — тоже». А он усмехнулся и повторил: «Вот как?» Потом повернулся к тому, со стекляшками, и что-то быстро и длинно говорил ему на остром их языке, а тот все поддакивал и гаденько так хихикал. И я, глядя на них, впивался ладонями в ножны, передавая им с влажным теплом свою злость, и, заперев ее там, в кинжале и ножнах, изо всех сил не пускал наружу, а те, болтуны, ее даже не замечали, и будто не замечали меня, это совсем уж сбивало с толку, так что не пускать злость наружу через минуту стало мне проще, а им стало проще спасать свои жизни, за которые они даже не беспокоились, весело перебрасываясь хлопьями беззаботного смеха и, казалось, вовсе не помышляя нанести обиду. И когда кончили, злости осталась лишь малость, чуть-чуть, и я стер эту малость полкой черкески с рукояти и ножен.

«Послушай,— сказал он.— Все это очень забавно. Сперва ты едешь двое суток по горной дороге сюда, чтобы пригласить меня в свой дом, потом замечаешь эту картину и забываешь обо всем остальном, потом, завидев меня, вспоминаешь, для чего приехал, но тут же соглашаешься поменять себе гостя, едва я уклоняюсь от приглашения... Забавно! Скажи, а что ты сделаешь, если откажется и он, мой помощник? Пригласишь любого из них?» Тут он показывает на толпу покупателей, которые уже, по сути, перестали ими быть и превратились в слушателей да наблюдателей, открыв лица любопытству, испортив им и свои лица, и наш разговор.

«Нет,— отвечаю.— Не откажется. А откажется — ты его заставишь». А он опять руки за спину сложил и гордо так на меня посмотрел, и улыбка была уже другая, неприятная улыбка. И говорил теперь

еще медленней, тщательней прежнего: «Тогда скажи, кто заставит меня заставить его отказаться? Ты?» — «Нет,— говорю.— Не я. Ты сам захочешь. Тебя заставит выгода».

И после уж смеха не было, долго вообще ничего не было, пока он снова не откинул дверцу, не взял меня за локоть и не повел в крохотную комнатку за прилавком. А потом мы оба сели, и я ему наконец пересказал слово в слово то, что наказал мне твой дед, и он, поразмыслив, просил меня обождать, и самолично принес два горячих стакана, насыпал в них белого порошку и размешал, и пока думал да отхлебывал, я отхлебывал из своего вслед за ним, и тогда не знал еще, что это чай, и не знал, что то был сахар, а он все думал, пока пил, а как сделал последний глоток, принялся вертеть стакан в пальцах, а потом надавил сверху ладонью и, словно хотел на прочность проверить, впечатал его в стол. Вскочил и что-то крикнул по-русски, а потом в каком-то странном возбуждении протянул мне обе руки, и я понял: столкнувались.

И он спросил про ружье, и я ответил, что есть, и он спросил — какое, и я подробно описал, как действует и как устроено, а он поцокал языком и отрицательно замотал головой, потом вышел из-за стола и направился к небольшому шкафу в углу, достал оттуда что-то и мне показал: «Револьвер». И я попросил перевести, но он повторил еще раз то же самое: револьвер, и после объяснил, как с ним управляться. И я сказал, что здорово, и он назвал цену, и я сказал: ого! — не слишком огорчаясь. А он опять покачал головой и сказал: «Ты не понял. Ты должен купить его». И я ответил: «Не могу. У меня нет таких денег. У меня есть ружье». — «С твоим ружь-

ем,— сказал он,— можно разве что на войну с гусями пойти — и то не вернуться. Тебе нужен револьвер». А я сказал: «Потом как-нибудь, когда разбогатеем. А на охоту и с моим ружьем ходить неплохо. Я привык». И он сказал: «Тогда не выйдет ничего. Подкопишь денег — снова поговорим». И я спросил: «Ты не поедешь?» И он ответил, что нет, ни он, ни его помощник.

И тогда я понял и сказал: «Абреков боишься». И он не спорил: «Жадности людской боюсь». И я сказал: «Стало быть, от выгоды отказываешься». А он развел руками: «Выгода — это когда своя жадность чужую одолевает. Но когда наоборот — то глупость уже, безрассудство. Все просто. Прежде чем товар продать, его сохранить надобно. А чтоб сохранить, нужно не от одной ржавчины защитить, еще и от жадности чужой. купишь револьвер — поговорим».

И тогда я подумал и сказал: «Ты же сперва согласился. Выходит, доверял? Поверь и в другом. Дай мне его задаром. А после, коли дело быстро двинется, я его выкуплю. Честное слово». И он опять засмеялся, и снова весело, беззаботно так, словно я пошутил, только я ведь совсем не шутил. И он спросил: «Хочешь еще чаю?» И когда мы опять прихлебывали из своих стаканов, сидя друг против друга, он сказал мне: «Риск. Все дело в риске. Будь у тебя свой револьвер, я рисковал бы целой повозкой утвари да жизнью помощника. А дай я тебе его, револьвер, бесплатно, я рисковал бы уже оказаться ослом». И я отпил глоток и сказал: «Понятно. Все равно что конокраду плетку дарить, а после глядеть, как он ею твою лошадь погоняет. Ты это хотел объяснить? Только я ведь не конокрад». — «Верно,— улыбнулся

он.— И я не осел. Да ты не обижайся. Лучше купи револьвер».

И я спросил его: «Скажи, а разве не может с ним управляться помощник твой?» — «Может,— сказал он.— Да у него есть свой».— «Зачем же тогда,— говорю,— еще один?» — «А зачем ты сам моему помощнику?» — «Как зачем? — говорю.— Я же там не чужак. Все ущелье пешком исходил, верхом изъездил».— «Вот-вот,— отвечает,— не чужак. Поэтому-то наверняка будешь знать, когда стрелять нужно, а когда револьвер за пазухой прятать... Да и потом — два револьвера лучше, чем один. Так?» И я сказал: «Все правильно. Только нехорошо как-то». А он сказал: «Конечно, нехорошо. Быть может, потому и правильно, что нехорошо».

И я задумался, и он молчал, и думал я про твоего деда и про то, что нынче уж ему не придется тешиться, и что вместо того нужно будет ему решать, что́ такого еще проиграть, прежде чем приобрести себе эту штуку, а заодно с ней — и право на выигрыш, который тогда только выиграшем станет, когда оплатит новую эту потерю и вдобавок что-то еще, возможно, новое знание о правильном или же знание старое, но впервые узаконенное вслух за чашкой чая человеком, никогда не видевшим наших мест воочию, но успевшим купить и повесить на стену их красоту, успевшим раньше еще, чем дед твой определил его в хозяева нашего будущего, только насколько раньше, я не знал и потому спросил, когда он ее купил, и он ответил: «Прошлым летом. Их две было. Эта мне больше приглянулась. И обе — в человеческий рост. Как раз для наших низких стен». И я поправил: «Чуть меньше». И он согласился: «Пожалуй».— «Скорее, в

высоту среднего подростка или девушки. А на второй водопад был». — «Точно», — сказал он. «И вода как живая», — сказал я. «Верно», — ответил он. — «Способный паренек». Ну а я ничего не ответил, только чай свой допил и отставил в сторонку стакан, а когда поднялся, он снова коснулся моего локтя и сказал: «Послушай, кажется, я придумал. Одной картины будет вполне достаточно. Не так, чтобы она мне очень уж пригодилась, ну да ладно... Договоришься с ним по-соседски — и револьвер твой».

И я покачал головой: «Ее больше нет». — «Жалко», — сказал он. «Жалко», — подтвердил я, попрощался и вышел. И, конечно, еще разок, прежде чем оттуда убраться, на стену взглянул.

И пока домой ехал, все про утес нарисованный думал, про лань, что на нем царила, про жуткую смерть, что видели чуть ли не все в нашем ауле, но никак помешать ей не могли, про Одинокого и любовь его, которой и вовсе не предвидели и разделить которую удалось лишь несчастной девчонке, да и то — ценой собственной гибели, про цену бедности, что не в силах купить себе револьвер, и про цену револьвера, что оказался дороже всеобщей выгоды, про удачу и дикие деньги на то, чтоб ее обрести, про знание, что ведает, как разбогатеть, но не знает, как перед тем отделаться от нищеты своей, про старика, что за длинные бедные годы свои выучился придумывать такое, что не приходило в голову никому до того, но так и не сумевшего заработать на своих выдумках ничего, кроме вечной надежды, и про молодого, что, казалось, и шагу не ступил за пределы своего одиночества, но нашел в них, в этих пределах, куда больше чем дед твой в бодрой своей находчивости. И думал про то, как несчастливы они оба, и про то,

что несчастливость первого (старика) вроде как предпочтительнее несчастливости второго, потому что тот, второй, несчастлив даже своей удачливостью, которой, похоже, никогда не искал, которая дана была ему свыше все равно как проклятье — или благословенье, тут уж не разобрать, — и благословенное это проклятье не пустило его умереть тогда даже, когда он всю старался, тогда, когда было это правильнее всего, настолько правильно (так теперь думал я, и мысль была как озаренье), что вошло бы в легенду, примирив ее с нашей памятью — о нем и о наших ему поражениях — в прекрасную легенду о прекрасной любви, навсегда освятив утес и его непокоренность, освятив и трепетное наше послушание утесовой непокоренности, словно свидетельству таинственной кары небесной, что оставляет земным лишь земное, а все другое забирает в легенду. Но провидение решило иначе...

Провидение решило иначе, потому что никакой такой любви там не было, а если и была — так лишь наполовину. Я о том первым узнал, говорил отец. Первый среди наших...

Дед твой, конечно, ни разу меня не прервал, пока я все пересказывал, и только лицом своим мучился, которое старше сделалось, бледнее (старше да бледнее цепи над очагом), тем мучился, что спрятать лица не может, хоть я ему помогал, как умел, почти на него не взглядывая. Потом сказал мне только, чтоб в дом отдыхать шел, а сам во дворе продолжал сидеть, в сумерках тая. А как растаял, в хадзар вернулся и долго после еще ворочался, сон поджидая. Так долго, что я уже почти успел раздумать. Но когда храп услышал, поднялся все же и выскользнул наружу, через забор перемахнул, к двери подкрался

и позвал, тихо-тихо, а в душе, честно скажу, сомнение бродило, и коли тот не отозвался бы, ни за что вторично пытаться б не стал.

Но только он услышал и открыл, да и как было не услышать, если последний гость сюда еще к ворам заглядывал, к тем, к конокрадам, а к нему лишь по делу обращались, да и то — все больше в амбар входили, а точнее — вносили туда мешки, в хадзар же вносили разве что бесчувственное от пьянки тело, задерживаясь здесь не дольше, чем требовалось на то, чтобы уложить его на худые циновки да медвежьей шкурой прикрыть. Так что и гостем я будто бы первым был, только он совсем даже не удивился: сил удивиться не было, настолько был пьян. Пробормотал: «Входи», — и внутрь ввалился, но на ногах устоял. Потом, сидя за пустым фынгом*, следил я, как шарит он ногой по полу у постели, пытаюсь нащупать бурдюк, как, пошатнувшись, поднимает его и несет, осторожно обхватив обеими руками, к столу, как подсыпает огня в очаг, а после долго копается в походном хурджине** в поисках закуски, но не находит ничего, кроме куска стылого мяса величиной с кулак да ветхой корки чурека, как размышляет, не слишком ли стыдно их предложить, потом все же решается и кладет в центр фынга, как достает из темного угла рог, берет бурдюк и вынимает затычку зубами, а после старательно наполняет рог аракой, не расплескав при этом ни капли и удовлетворенно потрянув головой, протягивает рог мне. И я, прежде чем выпить, произношу тост — полдюжины слов, без которых не обойтись ни на каком застолье, даже таком вот убо-

* Фынг — круглый столик на трех ножках.

** Хурджин — переметная сума.

гом и тягостном, где хозяин сам лыка не вяжет, а гость еще настолько трезв, что уж и пить не хочет — а потом сквозь проступившую на глазах влагу гляжу, как принимает он рог, наполняет его до краев, поднимает руку и говорит, и слышу я, как с уст его свисает мешанина звуков (сырая лепешка из голоса, обычая и долга перед ним, как если бы слова споткнулись в темноте о зубы и, рвясь на волю, завязли в иле языка), и я уже жалею, что пришел, и думаю о том, что голос его пьян от одного лишь вида рога сделался, что ж будет, когда он уничтожит содержимое; и делает он это — уничтожает содержимое — так медленно, как ползать умеет на своем жеребце мимо нихаса, примерно так же, но опорожняет до конца, а после, глядя мне в лицо, ищет меня мутными зрачками, и скоро найти ему удастся — меня во мне, — и от такой удачи он ухмыляется, плавно разводя руками, описывает изящный полукруг и возвращает их на место, на колени. А табуретка под ним — я замечаю лишь сейчас — будто облезлое бревно на тройке сучьев, и сам сижу я на опрокинутом корявом жбане, но фынг сработан ладно, резной, и света здесь достаточно, чтобы я понял: для табурета красоту еще не подобрал, видно, еще узора не придумал. А на стене и нет ничего, кроме старого ружья — того, что сто́ит ему вместе с циновками семь восьмых с урожая вот уже полдюжины лет (да, говорит отец, его это вполне устраивало, и каждый сезон, пересчитав в амбаре доверху набитые мешки, он окликал твоего деда — всегда одинаково: «Следующий не хуже уродится, как полагаешь? Уж ты постарайся. Приходи через год». И дед твой согласно кивал с облегчением, словно похвале алдара — умелый работник), — ничего, кроме дряхлого ружья ценою

в полдюжины теперь уж урожаев с его надела да в наше батрачество, купленное им, Одиноким, на наше же ружье полдюжины раз подряд; и ничего, кроме нескольких турьих шкур; кроме полок пустых, без всякой посуды. Вся посуда тут, на столе, и пара мисок — у постели.

«Ешь,— приказывает он.— Угощайся». И режет мясо кинжалом, и я отщипываю от чурека, и вкус ничуть не лучше запаха перегара, которым я был встречен. И, выливая в рог остатки араки (я слышу капли, сменившие струю, и думаю злорадно: так-то лучше), он досадливо морщится: «Не хватит». А я не отвечаю, и он упрямо повторяет: «Мне не хватит. Может, раздобудешь у себя?» — «Нет,— говорю.— Не сейчас. Я не затем пришел». А он все хлопает глазами, и видно, как упорно хочет разбудить свой голос. Но я уже не верю, что получится, и говорю: «Пожалуй, малость опоздал я». А он плечами пожимает и чурек жует. А прожевав, говорит, и я перевожу это в слова: «Ладно. Как скажешь. Я не задерживаю». И я встаю и направляюсь к выходу, и слышу вслед: «Ты пожалеешь». Он стоит уже и даже не шатается. «Ты больше не придешь. Не сможешь...»

Но только он ошибается, и через час я возвращаюсь, я почти бегу и не задерживаюсь больше на пороге — нет времени: мне надо поспеть до рассвета,— и тормошу обмякшее тело, схватив его за грудки, давлю подступающую к глотке тошноту от невыносимого перегарного духа, и начинаю шепотом, но очень скоро едва не срываюсь на крик и повторяю в тупое, отекавшее от сна лицо: «Я был там!.. Я видел... Я знаю!..» — повторяю до тех пор, пока не искажается оно от боли, пока не приподымаются веки. Тогда бегу я к очагу и ворошу под золой

непослушные угли, а после снова трясусь за грудки и шепчу (а может, кричу, а может, прошу, умоляю), «Сперва ты рисовал утес... Потом придумал лань. Я знаю!.. Ты увидел девчонку и нарисовал на утесе лань... И прятал ото всех, но как-то раз не выдержал и подстерег ее, и показал ей... Просто развернул и показал. Ведь больше ничего не нужно было! И даже слов. Она бы и так поняла. Но ты сказал ей, кто такая лань. Ведь ты сказал ей?.. И отравил ее своей любовью, но испугался в то поверить и сбежал в крепость, чтобы продать там этот страх — страх за свое одиночество... или страх за то, что не сможешь его обменять, ты же знал, что Сослан не позволит!.. Ты струсил, но не сознался в том себе!.. Ты струсил впервые, а потому испугался еще в своей трусости и решил положиться на случай, и взял с собой в крепость еще и другую — ту, с водопадом,— и предоставил право выбора судьбе, и судьба (какой-то чертов лавочник, никогда до того и не слышавший про наши края, но купивший скопом их красоту заодно со страхом твоим) выбрала лань на утесе, но только ты и представить себе не мог, что выбирает она разом в двух местах!.. Ты не мог и представить, что судьба — это не только лавочник, это еще и девчонка, поверившая в то, что она лань, желавшая тебе доказать, что она больше лань, чем чья-то дочь... Теперь я знаю все! Только вот в голове не укладывается, зачем тебе понадобилось говорить ей, что едешь в крепость?.. Зачем ты ей сказал, что едешь продавать картину? Скажи, зачем?!»

А он, разжав мои пальцы, отбросив их от себя, качает отекающим лицом. Потом открывает рот, но тут его душит кашель, и лицо становится багровым, а глаза полны слез. Он хрипло говорит: «Ты ничего

не понял. Ее не я убил. Ее убила моя ложь». — «Ты обманул ее? Что ты сказал ей?» А он мотает головой: «Нет. Не то. Я показал, а не сказал. Я показал ей ложь. Ту картину...»

Теперь я жду. Я не могу не ждать. Я жду недолго, но до самого рассвета. И на рассвете он мне растолкует, и скажет: любовь здесь ни при чем; что здесь виной глаза, что он лишь видел, не любя, и скажет, что тогда придумал лань, и создал царство красоты, и даже возгордился, но встретил он ее случайно, все три раза, и во второй — как раз писать закончил, а она к реке спускалась, только он сперва не заметил, услышал лишь, когда за спиной зашуршала галька, а она за хромым валуном пряталась и подсмотреть хотела; и скажет, что тогда он ей и вправду показал и еще ланью назвал, только у него и в мыслях ничего такого не было, она взглянула, покраснела, убежала, — какое-то мгновенье, скажет он; и скажет, что в третий раз — когда он в крепость ехал (да, тут я верно догадался), на Синей тропе повстречались, только теперь он знает, что нарочно стерегла, именно так: она его, а не наоборот, и он сказал ей, что в крепость едет лань показывать, и тут она смутилась пуще прежнего, да так, что щеки запылали, а лоб покрылся пятнами, и все же не ушла, и он услышал ее голос, в первый и последний раз, и голос был нежнее красоты, и он послушался его и развернул, и глядела она уже чуть дольше мгновения, а после спросила, станет ли он продавать, и он ответил: как получится, тогда она кивнула и тихо побрела в аул, вот и все, а он поехал дальше; и скажет, что верил сам в ту ложь, что создана его руками, и желал, чтобы поверили другие, — желал проверить на них веру свою (свою ложь, исправится

он, так точнее); и скажет о себе: будь проклят я; и скажет: я должен был писать другое, ну хоть бы дохлых псов, разбросанных по нашей улице, тысячу дохлых псов, и должен был писать это так, чтоб видно было, как на ней смердит, написать так, будто они дважды подошли на одной и той же улице; или, скажет, нарисовать на этом утесе осла; или себя самого с бурдюком араки и заходящимся от ужаса сердцем; или миску с дерьмом на пороге; или любой, на выбор, сон свой после пьянки; или стариков, на нихасе играющих в карты; или меня в скобяной лавке, взирающего на «царство красоты», из которого я только что едва выбрался и в которое охотно поверил, позабыв про все уродства; или глупую красивую девчонку, ползущую по скалам, чтобы доказать кому-то, что она лань будто бы; и скажет: только кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь живую лань, вскарабкавшуюся на утес; и скажет: какая глупость, глупее не придумаешь; и скажет: придумаешь: глупее любить мертвую тень от глупой девчонки; и скажет: но уж нет ничего глупее, чем в нее, в эту тень, влюбиться, когда и девчонки той больше нет, влюбиться в глупую красивую лань после смерти ее, после глупой гибели; и скажет: нет, есть: глупее может быть предрассветный рассказ об этой глупости глупцу, готовому поверить глупым пьяным бредням; и скажет: хватит, иди, не то заметят, а этого не хочется ни мне, ни тебе самому, ни кому другому в нашем распрекрасном царстве красоты; и скажет: оставьте меня в покое; и скажет: оставьте в покое, только об этом и прошу; и скажет: поспеши, а то неприятностей не оберешься; и скажет: сколько можно мучить человека; и скажет: убирайся, я очень устал, спать хочу; и больше ничего не скажет, только

отвернется к стенке да с головой шкурой медвежьей укроется...

И тогда я встану с колен, и тут только пойму, что простоял у его постели на коленях с самого прихода, и выйду за порог, и осторожно перемахну через низенький заборчик, и прокрадусь в дом к своим нарам, и еще успею прилечь, и еще успею заставить себя думать о том, что ночь уже кончилась, и еще успею глядеть на то, как расправляет плечи утро, и еще до того, как застучит кадушками жизнь на женской половине, успею сочинить картину: лань и олень на утесе, стоят на утесе рядом лань и олень, стоят так высоко, что любому видно: к ним не подобраться, и даже пулей не достать. Вот только так и не успею придумать сюда время: зима должна быть или осень, закат или рассвет?.. Зато успею запомнить ее, эту картину, на всю свою жизнь да еще тебе пересказать...

Так говорил отец.

И так я запомнил: олень и лань высоко на утесе, недостижимые ни для пуль, ни для времени...

Запомнил то, чего даже не было, чего даже и быть не могло, что родилось вместо дремы в растроганном воображении отца за девять лет до моего рождения и не поблекло до сей поры, словно позабыв о его, отца, смерти, забыв обо всех смертях, кроме той, что убила девчонку, обманув ее проданной ланью, и примирила мукой любовь с одиночеством, позволив им жить на нашей земле две дюжины лет и страдать в горем подточенных стенах. И, стало быть, картина — кусок холста размером в две добрые заплаты на дрянной одежонке — вместить в себя сумела не только то, чего не было и быть не могло, не только то, что разрешило чужаку на-

цепить наши горы на низкую стену в чертовой лавке, не только обреченность влюбившейся в обман девчонки, ослепившей гибелью своей собственного отца и ею же заставившей потерять от любви голову того, кто первым из нас увидел на утесе лань, а после, прежде чем продать, показал ее, ожившую на шершавом холсте, той единственной глупышке, почти ребенку, которой сам же потом и помешал войти в легенду, не совладав с проклятой своей живучестью и надругавшись над неприступностью утеса, покорив его пьяным упрямством у нас на глазах,— картина вместила в себя еще и видение, перешедшее ко мне по наследству из времени, чей запах я даже не знал, но от которого так и не смог избавиться — от запаха то есть,— словно краски на ней, на картине (той, что даже не помнит холста, но с ланью рядом видит еще и оленя), оказались душистее и прочнее тех, что спустя год, ровно год после смерти девчонки, день в день, сгорели вместе с холстом и подрамником, вместе с утесом и ланью и купленной их красотой в мелкой лавке с низкими стенами, сгорели от ночью вспыхнувшего пожара, который, говорил отец, и пожаром-то назвать нельзя: чуть штукатурка обвалилась да осталось черное пятно под гвоздями, где она прежде висела, черные подпалины по низкой стене, вот и всё, пожалуй, не считая разбитого окна; только, сдается мне, горела она впустую, потому как ложь на ней вот уже год, как правдой сделалась или по крайней мере перестала быть ложью, и вот уже несколько месяцев, как дорисовалась оленем в разыгравшемся воображении отца, выходит, и впрямь картина горела впустую: дело свое она уже сделала, так что пожар тот был лишь обрядом поминовения, и, говорил отец,

когда он за два дня до поминок уехал из аула, я сразу догадался, что к ней, к картине, отправился, что хочет снова на нее взглянуть, вроде как дань отдать, а когда еще через четыре дня вернулся, моя догадка подтвердилась, разве что не полностью, ведь о пожаре в лавке я позже узнал. И поджигателя, конечно, не нашли, хотя кто-то из соседей успел во тьме разглядеть его спину, папаху и резвого жеребца, несущегося прочь по мостовой, а после — вон из крепости.

«Такое варварство!.. Ума не приложу,— повторял лавочник пару недель спустя, сокрушенно качая головой и глядя на отца растерянными глазами,— ума не приложу, кому оно могло понадобиться. Такая дикость!» — «Или боль,— подумал про себя отец.— Или месть — рукам своим, своему дару и своим ночам. Или сумасбродство ожидания, томившегося целый год в пьяном угаре воспоминаний. Или просто тоска по огню, запоздавшее жертвоприношение, уступка разум одолевшему наваждению...» А вслух сказал: «Может, и так. Может, и дикость. Да только ведь не всех грамоте учат. Кому-то нужно и хвосты быкам крутить». А тот перестал качать головой, напустил яду в глаза и спросил: «Уж не тем ли быкам, которых хотят на револьвер обменять? Что-то мало оно на вас похоже». — «Мало,— согласился отец.— Быки тут ни при чем. Можно и на что другое обменять. Так обменять, что даже и не расстаться». И стал смотреть на то, как силится лавочник усмехнуться. И наконец тот усмехнулся и сказал: «Во-на как. Очень любопытно». — «Угу,— кивнул отец и подумал про мудрого старика, мечтавшего разбогатеть, и слово в слово припомнил его наказ. — На что другое

можно обменять. Ну хоть на мою неграмотность». А тот сперва нахмурился, а потом долго глядел, и видно было, как постепенно, морщинка за морщинкой, до него доходит (и пусть по буквам и читать не научился, но по лицу его с минуту читал без запинки, говорил отец). А как дошло, он кашлянул и спросил на всякий случай: «Это как?» — «Бери бумагу и пиши. Пиши что хочешь, а после я крестик внизу поставлю». — «И какая мне с того креста польза?» — «Сам знаешь», — сказал отец. — «Что угодно пиши, я тебе доверяю». И они опять помолчали, и поначалу взгляд лавочника таким тугим сделался, будто ему обидой зрачки стиснули, а потом обида медленно стала растворяться в хитрости, а как совсем растворилась, взгляд сделался влажным и мягким, словно древесная труха, и он сказал: «Ладно. Будь по-твоему», — открыл ящик в столе и достал лист бумаги. Писал он быстро и вроде даже радостно, и на душе у отца чуток похолодело, но крестик он все ж таки поставил, добросовестно исполняя дедов наказ и старательно выводя пером обе палочки. Лавочник взял двумя пальцами справленную бумагу, вскинул перед собой, весело хохотнул и сказал, разорвав ее надвое: «Сейчас новую напишем. Настоящую». И отец, сглотнув слюну, спросил: «А эта что ж, ненастоящая была?» — «Конечно», — ответил тот. — «В этой ты признался, что должен мне сто рублей и вернешь к завтраму». — «Выходит, шутка», — сказал отец и отер пот со лба. «Заодно и проверка», — кивнул тот и принялся строчить по чистому листу. А отец переминался с ноги на ногу, все больше робел и знай себе отирал рукавом лоб, и на сей раз, прежде чем подписать, решил до правды доискаться и, когда тот протянул перо, замотал головой:

«Прочти сперва». А лавочник удивился бровями, подумал немного и довольно осклабился: «Да ведь я могу не то прочитать, что написано. Как поймешь?» — «Ладно, — сказал отец и повторил: — Ладно. Доверяю тебе». — «Такая твоя доля. Или доверять, или грамоте идти учиться. Ставь крест», — и ноготь приложил. «Только и тебе нет резону обманывать, — сказал отец. — У меня брат есть. И ружье теперь ему достанется». — «Ясное дело, — сказал тот. — Сходи кликни помощника...»

Так они и столковались, и старик оказался прав: отцу не пришлось лезть за пазуху за тем последним, что оставалось у них про запас как сокровенная надежда и однажды уж, давным-давно, сумело не обменяться, хоть весило почти полпуда и потребовало себе на выделку все фамильное серебро, а после — еще и фамильное унижение, тщетно пытавшееся получить взамен себя и кинжала дагестанской работы лишний клочок чужой земли, что превратила их в батраков и обогатила ровно настолько, чтобы смогли они сполна осознать, ощутить, прочувствовать глубину собственной нищеты, вызывавшей беспокойством алчности (или стыда, или отчаяния, а может быть, и веры — в то чудо, что творилось у них на глазах одиноким мальчишкой и что рассчитывали они подчинить лукавой дедовой мудрости). Да, старик оказался прав, и теперь уже оставалось только загрузить товаром повозку и начать торговать, получая со всякого рубля по гривеннику, а с каждого гривенника — по копейке, и оставалось избавиться от серебряного кинжала, вложив его в качестве единственного пока наличного капитала (слово это для них еще не прозвучало, тогда еще для них такого слова не было, дед же мой

и вовсе не успел его услышать, хотя вполне успел постичь его значение) в загадочное дело Барысби, старшего из сыновей умершего в июне Ханджери. И, думаю, ожидая повозки, о загадке этой размышлял наш старик ничуть не меньше, чем о собственных планах или собственном возрасте. А значит, размышлял он и о том, что дело, затеянное Барысби, не могло быть затеяно при живом Ханджери, но было так заманчиво и спешно, что выжидало лишь положенные сорок дней до поминальной субботы, следующей после траурной годовщины в доме Сослана. И размышлял о том, что Барысби, по сути, кинул им, аульчанам, ту же приманку, что и сам дед, только вот что за ней стояло, наш старик не знал, как не знал никто другой из тех, кто уже на нее, на приманку, клюнул, продав Барысби чуть ли не все семейные ценности и чуть не все семейные деньги. Это-то и не давало старику покоя, и даже для него, придумавшего, как с выгодой обменять отцовскую неграмотность и притом совсем ее не утратить, было слишком мудреным то, как можно купить чужие деньги, не заплатив за них ничего, кроме обещания вернуть через год ровно на полтинник с каждого целкового больше, чем было куплено на слова. А потому гадал он над тем, что же такого можно купить на аульные деньги, а после продать его так, чтобы заработать на нем в полтора раза больше для других и еще кое-что для себя, и чтобы это «кое-что» было настолько весомо и звонко, насколько бывает только золото. Много золота. И, конечно, ни одна догадка не приходилась впору тайне сей, и беспокойство дедово не убывало, оно даже росло, но вместе с ним, неутолимое, росло желание подстраховаться, разделить сладкую приманку с осталь-

ными и распрощаться наконец с позорившим память кинжалом, кинув его в общую копилку (широкий чугунный жбан в доме Барысби) и отрекшись от него, этого серебряного свидетеля и участника дедовых поражений, на целый год вперед. И, занятый такими мыслями, старик наш постепенно уставал, погружаясь на жарком дворе в тягучую мутную дрему, а после вздрагивал внезапно и открывал припухшие глаза: но почему сейчас? Почему не Ханджери, а сын его? И почему так скоро и поспешно? В чем тут обман?.. А может статься, вовсе и не скоро? Может статься, оно давно в голове Барысби обитало, только вот Ханджери задумки той не принимал (или не мог принять, тут уж все одно. Разница в том лишь, делился сын с отцом или нет, опасаясь стариковского гнева)? Но в любом случае — поздно ли, скоро — чересчур уж поспешно, словно Барысби боялся, что опередит. Да ведь и опережать было в общем-то некому, кроме самого моего деда, дремлющего на молодом, силой налившемся солнце, и спившегося юноши, что сторожил свою боль в зябких задымленных стенах. Только первому на то не хватило сметливости, а второй ради денег лишний раз и плевать бы не стал. Выходит, если и было кого Барысби бояться, так только самого себя, хочу сказать — задумки своей: тут уж чья возьмет — или в поддавки с ней играть, чтобы соблазну довериться, или задумку ту под шапкой схоронить, чтобы потом всю жизнь щипало кончик языка терпкостью давнишнего соблазна и ты корил себя за трусость, нерешительность и щепетильность. И, конечно, между делом и тоской по нему Барысби выбрал дело, поступок, как оно и подобало отпрыску рода, чьи мужчины всегда встречали смерть в седле,

на колесах или под крупом лошади, случись то на войне, в походе, поездке в крепость и — коли уж не подвернется вовремя ничего получше да попристойнее — просто на измышленной заранее прогулке по горной дороге, словно сама смерть или ее предчувствие уводили, а то и гнали их подальше от семейного очага и теплой постели. И Ханджери, обычно не любивший ни верховой езды, ни путешествий, за девять дней до кончины своей впервые за долгие годы тусклой и робкой старости облачился в белый башлык и белую бурку с заштопанной черными нитками точкой пониже левой лопатки и сам вскарабкался на алым бархатом затянутый хребет кобылы, и двинулся вниз вдоль реки, и запретил сопровождать себя своим домашним, а к закату вернулся и на задетом солнцем лице его было столько досады и скорби, что не нашлось в ауле мужчины, который не принял бы их за жгучую зависть — к тому, от кого Ханджери достались и этот башлык, и бурка, и черный знак на ней. А на другой день, когда он снова вернулся к вечеру, зависть смешалась с бешенством и окрасила скулы его в землистый цвет, а после три дня он даже на пороге не появлялся, но нет, не сломился, как кое-кто из наших уже было решил, однако и в следующий раз он, Ханджери, обознался и, вернувшись с очередной, жестоко истомившей, но так и не убившей его прогулки, походил на белую тень на красном закате, а в проясненных глазах его молилось смирение.

И смирения того хватило еще на два дня, и двух этих дней хватило Ханджери на то, чтобы собрать ничтожный остаток сил своих и в последний раз взобраться поутру на полудохлую, разодетую в алое кобылу и пустить ее по сжалившейся наконец над

немощию его дороге и умереть в полутора верстах от дома, скатившись кубарем в густую дорожную пыль, еще прибитую к земле росистой коркой влаги. Но только ждать заката нашим не пришлось: к полудню на повороте они их увидали: сперва знакомую кобылу, потом гнедого жеребца и то, что на нем сидело, потом еще одну кобылу, но впряженную в повозку, потом и саму повозку (сначала они заметили хомут и колеса, но после пригляделись и пораскрывали рты, а после поняли, что — да, повозка, хоть такой и не бывает, однако вот ведь — есть!), потом седока и поклажу, потом узнали в поклаже испачканное белое, но так и не узнали седока, потом поднялись и приказали младшим спешить в хадзар покойника, так что когда те подобрались к нихасу, их встретили стоя с опущенными головами и взорвавшимся по улице женским плачем. И, говорил отец, лица у тех, у пришельцев, были настолько бледны и сонливы, что будить их дюже назойливыми расспросами никто не решился, тем более что отвечали они русскими словами, а выходило как-то вовсе уж непонятно и гладко, словно языки у них были из воска вылеплены. А тут еще вдруг небо заволокло и ветер поднялся, да ты о нем слышал небось, говорил мне отец, о ветре том позднее слепой Сослан песню сложил, вспомнил? Ну вот, как ни крепились наши, а ветер их все ж таки с улицы сдул, опалив глотки горячим прелым воздухом и испугав порядком: такого суховея в этих краях отродясь не бывало, как не бывало в нашем небе и коричневых туч, из которых ни одна в тот день не проронила ни слезинки и ни одна не треснула грозой. И, конечно, дурное то знаменье наши сперва за скорбь богов приняли,— ведь Ханджери их свято почитал и

исправно приносил им жертвы, щедро деля с ними по праздникам скудные свои припасы. А потому постарались не заметить и страха в глазах Барысби — не страха даже, поджилки-то, почитай, у всех тряслись, — скорее ужаса, стынувшего серым пеплом в жарких зрачках. По правде, ветер им и времени не дал, чтобы все подряд подмечать да в уме прикидывать, что бы это значило.

Вихрь и тех двоих вмиг разбудил, а с одного — того, что сидел верхом и этак вяло во рту табак пожевывал — шляпу содрал и понес по дороге к реке. И тогда наконец они спешили, хотя могли бы и раньше сообразить, что неловко гостям на хозяев сверху вниз глядеть, и бойко так, голосисто заговорили меж собой, а до того лишь лениво следили за нашими, труда не давая себе проснуться, всё больше молчали и даже не приглядывались. И дядя твой, говорил отец, принял у них поводья и затащил коней к нам во двор, и там мы их распрягли, все скопом, вместе с сыновьями Ахшара и внуком Дахцыко, только от него проку мало было, потому как кобыла, едва отцепили повозку, угодила ему копытом прямо в бедро, так что, можно сказать, он первый от них пострадал и хромал потом целый месяц, ругаясь от боли сквозь зубы и странно поводя плечом. Ногу-то он залечил, а вот привычка плечом елозить сохранилась, будто чьи невидимые пальцы покою ему не дают и всё норовят покрепче в него ухватиться.

Ну а когда мы их в конюшню спровадили и отдыхали, ветер уже послабже стал и с востока за тучами светлое пятно проглянуло, и дядя твой сказал: «Видать, миновало». И погладил ладонью повозку, снимая с блестящего борта слой пыли, и

тихо спросил: «Ты что-нибудь понял? Скажи. Ты ведь по-русски кумекаешь». А я пожал плечами и сказал: «Чужаки они. И даже не русские». А он усмехнулся и спросил: «Неужто для того только ты русский и выучил, чтобы это понять? Мне вон на то и глаз хватило». И средний Ахшаров сын кивнул: «Мне тоже. У русских таких повозок нету». — «И таких сапог. Ты сапоги их видел? — спросил твой дядя. — Видал их сапоги? Подметки, как копыта, твердые». А внук Дахцыко сплюнул и выругался, растирая опухшее бедро, но никто из нас не усмехнулся, и дядя твой спросил: «Только как они здесь очутились?» Но ответить ему не успели, говорил мне отец, да мы и не могли ничего ответить, и, конечно, окажись с нами рядом тогда Одинокый — он был бы тоже бессилён что-либо тут разгадать, потому как я ещё был на свободе, а ценности да деньги аульчан висели ещё на стенах, стояли на полках и томились в кубышках в их собственных бедных хадзарах, а бездыханное тело Ханджери ещё покоилось в том доме, где появился уже новый хозяин, и сам хозяин этот ещё вынужден был ждать сорок дней, пока успокоится в мире дух хозяина прежнего и навсегда отойдет к небесам.

Короче, ответить мы не успели: старший Ахшаров сын, не проронивший до того ни слова, ткнул вдруг пальцем вверх и охнул: «Смотрите». И тогда все мы, задрав головы, стали смотреть за тем, как жадно и неотвратимо наливается розовой краской светлое прежде пятно, а после розовое жадно густеет и давит мутными краями коричневые тучи. И, наглядевшись, внук Дахцыко дернул плечом и негромко сказал: «На кровь не похоже. Верно? Совсем не похоже на кровь». Но мы смолчали, и он глухо

добавил: «Разве что самую малость...» А потом закашлялся и поплелся, волоча ногу, со двора, а вслед за ним направились все остальные.

Те двое были уже там, в хадзаре Ханджери, их мы сразу заметили, несмотря на то, что туда толпа набилась, но и сквозь нее они протолкались без всякого труда и, не стесняясь, работали локтями, пока не выбрались к выходу и не ступили на порог. А там, осмотревшись по сторонам, вновь оживленно заговорили, словно споря о чем-то, и один из них, тот, у кого челюсть на плуг смахивала, поманил меня, как мальчишку, пальцем, и я, как мальчишка, безропотно подошел, и он достал из кармана часы и застучал по ним длинным ногтем, и несколько раз повторил про время и про какой-то «намит», и показал рукой у горла, мол, нужен ему срочно Барысби, и после, как мальчишку, потрепал меня по плечу: действуй, мол, а я, как мальчишка, согласно кивнул и вернулся в хадзар, и, наглости набравшись, шнырял по всему помещению, пока не нашел его и не потянул за рукав, а он, Барысби, побагровев — тогда я подумал — от злости, — как нашкодившему мальчишке, стиснул мне локоть и потащил за собой прочь из комнаты, выпрашивая на ходу, что они мне там такого наговорили. А после, чуть успокоившись как будто, приказал: «Теперь иди. С белгами я сам разберусь, мне переводчик не нужен». И решительно к ним шагнул, а я остался в проходе и пробовал на вкус шепотом новое слово, размышляя о том, когда это он успел его услышать, а тем паче понять, что оно означает, и тут я увидел его, Одинокого, увидел впервые за целый день и подивился тому, что увидел — не тому, что он здесь, подивился, и не тому, что нетвердо стоит

на ногах, спиной уперевшись в забор, этому-то как раз дивиться и не пристало, — тому подивился, что пьяным он не был.

Понимаешь, объяснял мне отец, то есть не то чтобы не пьян, а как-то совсем, как-то слишком даже наоборот. Настолько трезв, что самому жутко. Будто все кругом в стельку пьяны, а он единственный трезвый стоит и от изнуряющей трезвости своей едва на ногах держится. И еще, говорил отец, мне почудилось, что хоть покойник там, в доме, лежит, а хоронить-то надо другого — того, что к забору прилип, чей взгляд уже смертной тоской наполнился. Но отвернуться я не успел, и когда глаза наши встретились, увильнуть уже просто не смог и, понуро к нему идя, снова ощутил себя задерганным всеми мальчишкой, и пока шел, сам у себя выпытывал, кто ему право такое дал — мной понукать, и откуда во мне вдруг эта ретивость. А он, едва заметив, что я теперь рядом стою, опять взгляд на них перевел и зашевелил губами, но я ничего не услышал и ожидал терпеливо, когда он сподобится отыскать свой голос, и наблюдал за тем, как падает желтоватым прахом нам на обуви хиреющий ветер. И наконец он, Одинокый, сподобился и хрипло произнес — и мне шибануло в нос перегаром: «Ты небо видел?» И я подумал: кто-кто, а ты мог бы и что поумнее спросить, но вслух сказал: «Бедняга Ханджери». А он состроил удивленные глаза, смерил меня с ног до головы и сказал: «Выходит, тебе не страшно. Выходит, ты неба не видал. Похоже, никто из вас его не видал». И я пожал плечами и сказал: «Иди поспи чуток. Народу здесь и без тебя хватает, твоего отсутствия не заметят. Иди-ка проспись». А сам подумал: что это я за чушь несу? И что за чушь

несет он? А он как-то разом сник, осторожно нащупал свой лоб и пальцем надавил на переносицу: «Может, ты и прав. Может, все вы правы. Только почему никто из вас неба не видел? — и махнул рукой. — Ладно, пусть его... Ну а о тех ты что-нибудь знаешь?» — «Белги, — ответил я. — Ханджери на дороге подобрали». — «И куда эта дорога их вела? — спросил он, и мы помолчали. — Хотя какое нам дело, верно? Нам до них и дела нету. Мы люди воспитанные и до гостей охочи, а кто, зачем да откуда — разницы нету. Гордые мы люди. Оно нам вовсе и не любопытно, верно?» А я нахмурился и сказал: «Поссориться хочешь? Так и скажи. Всё лучше, чем обиняками меня травить». А он, будто пьяный, замотал головой, и я в раздражении подумал: чего прикидывается? И подумал: еще немного — и упадет. И подумал, что так, мол, ему и надо. И снова знал уже, за что его не любят. И подумал: зря это он. Все равно жалости не дождется. Слишком к нему одиночество пристало. Порченный он. Порченных не жалеют.

И он сказал: «Прости. От страха это». А я подумал: противно и слушать, и, не сдержавшись, ответил: «Врешь. Никакого в тебе страха нету. И никакого неба ты не боишься. Только и хочешь, что других запугать». А он опять мотнул головой, да так, что подкосились колени и спина вниз поползла, но упасть — не упал: затылком за забор зацепился и, слясь подняться, громко потребовал: «Подсоби!» А после, как отдышался, свирепо на меня уставился, и я уже было решил: сейчас вот заорет, и я его ударю. Но у него только в глотке клокотнуло, а наружу не вырвалось, мне даже досадно сделалось. И он сказал: «Хорошо. Забудь. Видать, ни к чему

тебе мозгами мучиться. Не твой это удел». А я стиснул зубы и подумал: сколько же можно сносить? Драки хочет, того и добивается. А кроме меня ему и подраться-то не с кем. «По лезвию кинжала ходишь,— говорю.— А ноги заплетаются. Как бы не порезался»,— говорю. И он кивнул: «Да, негоже это. На трусость смахивает».— «То-то и оно,— говорю.— Мужчине задаваться ни к чему. Лучше уж араку хлестать».— «Точно,— говорит.— Пойду-ка я домой. Угу. А ты оставайся. Может, что и прознаешь. С меня сегодня толку мало. Что-то я совсем запутался. И даже не совладаю разобрать, то ли он их корит, то ли убеждает в чем. Со стороны не понять». И наконец оглянулся и я, и покосился на них краем глаза, но слова Барысби ветер жевал, а речь тех двоих и вблизи-то была гладкой, что твоя галька влажная, ступишь рядом — и оскользнуться не мудрено, чего уж там с десяти шагов распознать надеяться! Но ведь глазам смотреть не запретишь, особенно когда им есть на что смотреть. Да, говорил отец, теперь и я заподозрил, потому как вместо двух увидел три пятна, три бледных лица, и были они как три отражения, три отпечатка с одной и той же длани, отринувшей всех нас на сорок дней вперед, чтобы спустя те сорок дней принять все ценности и деньги аульчан,— в обмен на нашу неудачу, в обмен на преступление, которого никто из нас не совершал, но за которое заранее рукой моей была дана расписка — поставлен хилый крест в углу листа, в железном несгораемом шкафу припрятанного за много верст отсюда.

Да, говорил отец, тогда я тоже заподозрил, но не желал поверить и не мог понять, и не мог понять твой дед, расспрашивавший поздним вечером меня

про белгов, Барысби и Одинокого и озадаченно внимавший моему рассказу, а уж с ним, дедом твоим, я тягаться не осмеливался. И, помню, ночью я проснулся весь в поту и услышал его, Одинокого, последние слова, которые он выдохнул перед уходом мне в затылок: «Ханджери умер. А мы пытаемся не видеть неба, что говорит нам: мы закончились, и дальше жить нам новым...» И долго размышлял над ними, будто учуяв в них предсказание, а после, намаявшись, заставлял себя их забыть — до самого рассвета заставлял.

И потом весь день мы их, белгов, не видели, а назавтра, ведомый племянником под руку, пришел слепой Сослан, и у смертного одра Ханджери спел ему под фандыр последнюю песню — ту, про ветер и слезы из речного песка, про скорбящих богов и согревшую солнце горячую душу, про старого друга, что отправился на небо искать его дочь, чтоб заменить ей на время живого покамест отца. И, слушая ее, дед твой рыдал, как женщина, а женщины заходились от плача, как от боли кричащие дети. Да что о том говорить — ты ведь и сам ее не раз слышал.

Ну а на похороны они, те двое, явились, и теперь все было внешне пристойно и благородно даже: смотри-ка, рассуждали мы, вроде чужаки, а законы наши чтут. Однако на застолье траурном они не засиделись, и, конечно, неволить их не стали, не решились просто: лица их не позволили. А Одинокий, весь день с них глаз не спускавший, шепнул мне на ухо: «Нечисто тут что-то. Они с ним даже не перемолвились». И я подумал: видать, и на старуху бывает проруха. И подумал: стало быть, и вправду капля камень точит, ежели и этот на нас похож становится. И сказал: «Лучше рог осуши, а не то

мозги свои высушишь». И он ответил: «Вот где твоя ошибка». И я спросил: «Где?» А он тихо так, вкрадчиво: «Под папахой. Сам себя обмануть норовишь и рад-радешенек, когда удастся. Здрóрово, поди, когда всё под шапкой уместается, а? Да вот беда: по ночам ее снимать нужно. А там и дурные сны поспевают, верно?» Потом, как ни в чем не бывало, встал и тост за упокой души произнес, а после сел опять на скамью и сказал мне одними губами: «Пока что не столковались. Их цена не устроила. Но Барысби спешить некуда. Он их измором возьмет». И я ответил: «Коли такой умный, отчего же сам не продашь или не купишь?» — «А оттого, что не знаю еще, на чем у них сделка замешана,— говорит.— Да кабы и знал, на кой оно мне сдалось?» А я и говорю: «Коли такой богатый, чего же о них так печешься?» — «Не о них,— говорит.— О нас... Да ты пей, не бери в голову. Ежели что разведаяю — с первым с тобой поделюсь».

Только у него не вышло, говорил отец, опоздал он.

И дальше отец надолго замолкал, сперва эдак вот лысину гладил и сокрушенно цокал языком, а после, словно сдавшись, надевал шапку и каменел, только правая бровь подымалась к самому околышу да продолжали незатейливую возню пальцы на мослатых коленях. Но я и без того уже знал продолжение, хоть до конца той истории у него хватило сил добраться лишь раз, и было это в то утро, когда он, только что оправившись после жестокой хвори (грудь застудил), впервые за несколько недель самолично вынес на дрожащих ногах исхудавшее, тонкое тело свое на скупое весеннее солнце и усадил на застеленный кожей чурбан во дворе, и не сходил с него до самого заката, дважды отка-

завшись от еды — сперва от завтрака, а потом, как солнце сверху тепло уронило,— и от обеда, и не пустил в хадзар меня, сердито пояснив: натошак, мол, лучше поймешь. Пустой желудок голове не помеха. И рассказал про то, как пришли они и на обе поминальные субботы, и про то, что в лицах их теперь было куда меньше отрешенности и куда больше почтения, больше, чем даже на похоронах, и что никто уже не боялся их разбудить, и коли почти ни о чем не выспрашивали — так потому лишь, что неизменно встречали в ответ тягучую широкую ухмылку и быстрый поток чужой гортанной речи, разбавляемой изредка русскими «да», «нет» и «спасибо», и выходило все как-то слишком уж не-впопад, слишком уж глупо, будто разговаривали не просто на разных языках, но и совсем о разном, и будто те, белги, были еще вдобавок глухими, так что очень скоро беседа стопорилась неловкими кивками и долгими пожатиями рук, и казалось, смысл ее сводился лишь к тому, чтобы под самый конец заимствовать у них широкие и жидкие — одними губами — ухмылки да застенчиво уступить черед кому другому, если таковой в толпе вдруг сыщется.

А потом их увидели на сороковой день, а уже на сорок первый Барысби, поднявшись на нихас, кинул нашим сладкую свою приманку и сказал: «Десять суток вам на прикидку. Десяти суток достаточно. А кто не уложится — пеняй на себя».

И уже тем же вечером следили аульчане, как входит в его калитку Агуз, а следом за ним поспешает и старший сын его с нехитрой заплечной сумой да пресным румянцем на выбритых гладко щеках. А наутро у той же калитки сталкиваются лоб в лоб

Дахцыко и Ахшар, и даже с нихаса заметно, как ищут они под ногами достойные правды слова, как вместо них отыскивают лишь повод разминуться на тесной аульной улочке, как расходятся вновь по домам и как шагают по ней в разные стороны, умоляя себя не оглядываться. А дед мой веселится, весело потирает руки и весело посмеивается (и в смехе том столько веселья, что отцу стыдно ему в глаза смотреть — как бы не поперхнулся старик весельем от своего усердия), и говорит веселым от злости голосом: «Две улитки орла не поделили. Хе-хе! Не поделили одного орла! Видно, немоготу им больше на горбу свой скарб волочить, истосковались по кривому клюву». А отец думает: погоди, небось, и тебя прихватит. И тут он, конечно, прав, но не совсем: на уме у деда не только злоба да веселье, и пока аульчане загибают в счете пальцы, дед мой терпеливо ждет, сохраняя степенность и обмысливая снова и снова то, что уже не раз им решено и обмыслено, но еще не высказано вслух, и тужится обмыслить то, что без него уже обмыслено другим, да так, чтобы для всех остаться тайной. И когда счет переходит с одной руки на другую, старый хитрец подзывает отца и велит запрячь повозку, и, стало быть, теперь у них набирается ровно четыре дня — два туда и два обратно — да еще ночь про запас,— так, на всякий случай. И все, что от отца требуется, это управиться в срок и нарисовать неуклюжий крестик на клочке бумаги. Все, что от него требуется, это не оплошать и поспеть вовремя (тоже на всякий случай, потому как ни он, ни дед мой особо не верят, что всё решают десять дней. Неужто и впрямь какие-то лишние сутки обесценят то самое кинжальное серебро, которому целый год

суждено только дорожать да прибавлять в весе своем). Все, что требуется от него, это съездить и вернуться, чего же проще! Ведь про дождь они не знают... Откуда ж им знать про него! И откуда им знать, что за тем дождем стоит...

Но как бы то ни было, а к полудню на десятые сутки (до Синей тропы еще с полдюжины верст, а бурка, поделенная на двоих, промокла насквозь, и они сидят в повозке плечом к плечу — два человека, которым-то и поговорить не о чем да и, по сути, не на чем, разве что на пальцах да ломаном плюгавом языке, усеченном до нескольких выражений и пары десятков взаимно угадываемых слов,— и отец мой, скромно угостившийся разок-другой из длинной фляги напарника, малость под хмельком и благодушно рассуждает про себя: и на что ему эти стекляшки? Вон как накачался... Для него, поди, сейчас что нос, что глаза — один черт. Поди, туман только и различают) дорогу развезло порядком, и кое-где им приходится спрыгивать наземь и помогать кобыле, и всякий раз отец заботливо проверяет, как лежит на бортах отсыревшая парусина, а попутчик его сперва раздраженно, а потом уже лениво и равнодушно машет рукой: брось, мол, нет нужды. А за пару верст до цели, у Топкого ручья, попутчик затягивает тоненько тоскливую нестройную мелодию, и она стелется из-под стекляшек у него по щекам ясными блестящими полосками, так что отцу делается враз неуютно, и, пожалуй, он даже немного растерян и невольно придерживает поводья, но тут на выручку ему приходит гром, и кобыла, дернув с испугу вперед, опрокидывает попутчика на спину, и тот, скользнув по парусине, скатывается сзади в грязь, и пока отец борется с лошадейю, тот сидит в

луже и шарит по ней ладонью, а потом, выбрав из жирной мути очки, полоскает их в грязной воде, водружает на нос, лезет за пазуху, достает оттуда флягу, чтобы вылить в рот последние капли, а после, аккуратно завинтив колпачок, прячет ее обратно и, встретив изумленный отцовский взгляд, принимается хохотать, и хохочет так прямо и разительно, что вскоре и у отца от смеха сводит челюсти. А потом, спустя несколько сытых дождем мгновений, попутчик встает и, раскинув руки, обращает к небу лицо и кричит: «Славно-то как!.. Вот это славно так славно!..» И покушается объять сочную безмерность влаги, но позже, запретно не сладив с открывшейся под ложечкой жаждой, припадает коленями к расшитому пузырями ручью и месит его кулаками, захлебываясь хохотом и брызгами, а отец, потеряв всякий стыд, отпустив с лица гордость и морщины, глядит на это безумие слезящимися глазами и с болью подминает ребрами просторный плеск радости в груди и подвывает ей осипшим горлом, растекаясь сердцем в обильном стоне счастья, шепелявит: «Шлавно!.. Ага... Дождь, вода — много-много шлавно!»

А тот уже палит из револьвера в эхом прозревший воздух, и тогда отец тянется за своим, но тут же, поласкав прохладную рукоять, окорачивает себя строптивым воспоминанием о лавочнике и старике, что скрепили этой холодной сталью взаимную выгоду и снарядили к ней в прислужники двух соглядатаев. И здесь отцу уже не до забавы, и для начала он ежится под дождем, чтобы остудить обманом шею и разум, а после слушает глоткой горький, едкий дух испитой водки и затевает в себе отвращение к ней и к бестолковой собственной

радости, и на того, у ручья, смотрит теперь другими, укоряющими и отрекшимися глазами. А потом и вовсе отворачивается, чтоб не глядеть на то, как справляет чужак над обрывом малую нужду, высвистывая сквозь щербины в зубах покойную свою беспечность, и говорит отцу: «Ну вот, считай и обручились. С дождиком-то...» А отец все ежится под буркой, вобрав голову в плечи, и длинно думает: «И чего это рядом с ними любой свой год будто за два чувствуешь? Отчего и горы наши им совсем ничем, словно потому только тут и выросли, чтобы им занятней выпить было да в пропасть наструить? Откуда в них силы столько, чтобы дружбой своей угощать первого же хмурого попутчика на его же хмурой земле под хмурым небом его, устелившим им путь нудным недобрым дождем? Откуда в них столько силы, чтобы даже не понимать, как с ними рядом потно и хлопотно?..»

И когда он, попутчик, всхрапнув и булькнув горлом, утыкается виском ему в плечо, доверив отцовской робости сладкий сон свой и тяжесть размякшего тела, тот рассуждает про себя с каким-то мрачным удовлетворением: «Чего с него возьмешь, коли кроме ихней силы ему и тягаться-то не с чем, потому как очень уж лень? Да и как не лень будет, когда она, сила эта, кого угодно усталостью сморит, не то что этого чудака со слепыми стекляшками? Видать, для нее что стыд, что опаска — все равно как тесный хомут для кобылы, одно мучение. Чего с него взять!» Только чувствует он больше, чем может сам себе растолковать словами, а потому старается не думать о затекшем от чужого сна плече и не замечать приятного волнения в груди, — такого же, какое бывает, когда раздавишь у птичьего гнезда га-

дюку или накормишь с руки захворавшего жеребца. Выходит, в нем тоже таится загадка, подобная той, что дышит ему в плечо, и оттого самое разумное, на что он теперь способен, это ждать и следить за дорогой, которая только и может помочь ему осознать степень их родства (или степень различия), ведь ей, дороге — так ему кажется, — суждено тянуться несколько месяцев, а возможно, и несколько лет, коли выгорит дело, и значит, самое разумное — это запастись терпением и думать о том, что поближе — ну хоть бы о последней до аула версте или живущем в нем старике, что рассчитал весь путь наперед не покидая дома и на веку своем проигрывал столько раз, что в конце концов научился обращать сыновью неграмотность в бумажный залог своей удачи. И мысль отцова, окружив улыбкой по губам, за Скалистым поворотом сквозь туманную хлябь еще прежде глаз отыскивает неровный ломоть родного двора и дивится дедовой расторопности: ясли сдвинуты в самый угол, а на их месте высится дырявый коробок навеса. И тут же, стало быть, по цели им рукой подать — с полтысячи шагов по извилистому пути и каменному узкому мосту.

Только предчувствия все нет, и ничего не слышно, кроме скребущих по мокрой гальке колес да мерного дыхания кобылы. И оба они (отец и попутчик) будто оглохли, проникшись предвкушением тепла и уступив уюту сна, поделенного на двоих под буркой вместе с сыростью. Поделенного пусть не поровну, зато по справедливости: ведь одному из них достаточно и онемевшего плеча, застывшего под тяжестью чужой доверчивости, в то время как другому, чтобы обрести покой, довольно оказалось лишь ослепнуть стеклами. Так что теперь,

ослепшие не только сном, не только туманом и раздумьями, но и поделенной надвое глухотой, перед бедой они, путники, бессильны — так же точно, как дрова под занесенным топором. И даже мудрая от старости кобыла (что прядает ушами и несколько глухих для них минут беспокойно раздувает ноздри, а потом и вовсе останавливается, отказавшись повиноваться и голосу, и кнуту) уже не в силах их спасти: судьба считать умеет лучше деда. Она считает не на дни или часы, она считает на мгновения...

И вот отец уже спрыгнул на землю и тянет кобылу за уздцы, а сонный попутчик малюет пальцем очки, возвращая им хрупкую их прозрачность и бормоча припухшими устами созревшие от сырости, невнятные слова. «Сиди,— говорит отец,— Сам с этой клячей управлюсь. Кляча ты, кляча и есть». Только кобыла ни в какую идти не желает, и по глазам ее отцу видать, что дело дрянь, но сам услышать он по-прежнему не готов: слух его настроен на часы, а тут — мгновения, и вот он дергает, дергает левой рукой за уздцы (правая до самых ногтей налилась гулом чужой дремы) и распинает лошадь за упрямяство, пока не понимает вдруг, что это трусость,— трусость, не упрямяство,— едва заметив сбоку на скале кривым осколком зрения смутившую ее помеху — да ведь это, похоже, змея, мелькает в его раздраженном мозгу,— и тут же, не дав ему времени даже на то, чтобы обернуться и проверить, настигшее его мгновение взрывается над головой распятым по утесу громом и швыряет отца грудью на рванувшую ему навстречу с диким ржанием обезумевшую кобылу, и от удара он летит, раскинув руки, словно сбитый крест, и слышит уже только

воздух, терзаемый его полетом, который длится все это бездонное мгновение, откуда видит он разомкнутую громом гору и ливнем хлынувшие камни из ее утробы, и видит, как смывает ими разом три пятна, спешащие ему вослед, и видит, как несется в пропасть тройная смерть, нелепо смешивая на ходу животное, повозку и пробудившегося страхом человека (отец запомнит черный рот, сломавший поллица, и блеск в руке стекляшек) в густом дробящемся потоке, что брызнет на отца струей из гальки вперемешку с жженой пылью, но все же пощадит его, промчится рядом, обдав его горячим ветром пятки, и лишь теперь он встретится с землею, спиной воткнувшись в теплую, родную, мягкую и восхитительную грязь. И лишь тогда поймет, что кончилось мгновенье...

Ну а потом с открытыми еще глазами ощутит, что белая, серебряная пустота, возникшая из этого мгновения, легко и быстро растворяет память, и, прежде чем закрыть глаза, покладисто подумает о грязи: «Должно быть, вкусная она...». А когда очнется и снова поднимет веки, увидит над собой дождем сочащееся небо и станет искать глазами свои руки, укрытые щебенкой и толстым, надежным слоем боли, а потом примется сгребать ими с груди рыхлый каменный бешмет, сперва неловко и медленно, а затем быстрее и быстрее, в какой-то судорожной торопливости, будто боясь не успеть за возвращающимся из небытия сознанием, а как вернет себе ноги и вспомнит три пятна, кинется прочь от обрыва и возьмется карабкаться по уцелевшему боку искореженного утеса, и не обернется до тех пор, пока не протиснется в узкий прищур какой-то расселины, а там прижмется животом к сухому дну и вновь

уловит носом чудной запах жженой каменной пыли, и, подавившись, скажет сам себе: «Так не пойдет. Тут мне не выдержать. Передохну чуток и дальше двинусь. Вот только дух переведу».

А куда примется следить за тем, как обживает туман суета внизу, и разглядит в ней сперва Ахшаровых сыновей, потом Дзантепра и Пигу, а после и собственного брата, бегущего по шаткому деревянному мосту за лохматыми и шустрými буграми, в которых он, отец, признает Агузовых псов и скучно подумает: «Даст бог, вверху искать не станут. Да и дождь еще не истек. Течь ему еще долго». А спустя хмельную дрожь в ногах подумает: «Лишь бы старик не прознал. Брат-то ни по что не догадается. Нет, вверху они искать не будут. Разумом не сподобятся». А потом еще подумает: «Ишь ты, вон ведь как: мельницу на реке подчистую срезало. Нет на реке больше мельницы». И тихо зацокает языком, словно все остальное ему только пригрезилось и никакой тройной смерти — ни кобылы, ни попутчика, ни его самого (если, конечно, он погиб вместе с ними, заодно с повозкой, поклажей и надеждой, запряженной в нее два дня назад) — не было и в помине. А может, все как раз наоборот, и он смотрит в туман из поднебесного постороння на правах оторвавшейся от брэнного тела души?

Но как бы то ни было, а снесенная обвалом мельница занимает почему-то его мысли куда больше, чем собственная смерть или пережитый кошмар, и, должно быть, поэтому размышлять о мельнице ему пригоже и любо, и пока он не знает наверняка, жив или умер, наблюдать за расчищающими завал (в том самом месте, где беснуются в лае собаки) людьми ему вполне еще под силу и даже проще, чем

чують, как обожженный запах пыли впивает из его одежды влагу и насыщает воздух приторной кислятиной, а в глотке у отца смакует горечь заматеревший перегар. «Могу и не смотреть— внушает он себе.— К чему мне оно — смотреть? Вовсе мне ни к чему». Только внушает как-то стороной подспудно, вроде бы и сам не слышит, как внушает. И оттого делается ему совсем не так, как он желает, а как бы даже немного гадливей прежнего. И несколько раз он решает отвернуться, и на минуту прячет взгляд в своих руках, в мокрых своих ладонях (кровь, соображает кто-то за него его же мыслями, но этот кто-то остается безучастен, и мой отец устало повинуется и безразлично принимает эту безучастность скрывающегося от света и дождя в его убежище незнакомца, зачем-то притворившегося им самим), потом отряхивает их и окунает ненадолго в пыль, а после потирает друг о друга, чтобы закрасить мокрое сухим, но безуспешно; повторять приходится еще и еще, пока он не убеждается, что вылепил свои руки заново и что лепка принялась. Вместо голосов он различает лишь картавое покашливание эха и отмечает про себя, мол, это к лучшему: он не услышит старика, а если к тому же уговорит себя туда не глядеть, так и не увидит его мучительных потуг перестоять на ногах последнее свое отречение — от жизни, отданной им на поругание надежде, и от надежды, погребенной громом на пути к его страдальцу-дому, что с утра еще готовился к приему гостей, а теперь вот замер молча в предчувствии нахлынувшего горя.

Только опасения отца напрасны: очень скоро загустевшему в дожде туману удастся заляпать серым все ущелье под ним (а может быть, все происходит

не так, может, это я сам не умею увидеть иначе, но коли и так — ничего уж тут не поделаешь: выбирать не приходится, красивее меня-то вряд ли вам кто перескажет. А ежели и найдется вдруг мастак правдивей моего насочинять, кто ж поручится, что язык его не приврет того, чего не было, а как было-то мы все одно не узнаем, ибо тут вот у нас — от расселины и Агузовых псов до самой ночи — провал, чернота, пустыня, и отцовы слова в тот единственный раз окончательного его, до края, трудного откровения пустыню ту, будто стыдобу какую иль срам, просто перескочили, ну а мне отчего-то все это тогда и привиделось да так и приладилось к остальному, и коли уж мне суждено по туману брести, так лучше не спотыкаться да самому себя не окорачивать, а то глядишь, глажешь из речи уйдет, а после и не воротишь ее. Для нее-то, как для любого лиха, известно, разгон нужен. А коли так, стало быть, туман в ущелье почти до белого отседел...), и вот уже он зализывает скалам раны, а мой отец время от времени слышит тонкие и жалобные стоны, и за невидимого незнакомца ему делается совестно, однако унизить его замечанием он не считает возможным и потому согласен терпеть; тут выясняется, что главное — не задремать, потому что стоны разом делаются громче и могут выдать их обоих тем, внизу, а этого-то допускать никак нельзя, уж лучше вовсе не закрывать глаза. И вот он занят тем, что их не закрывает и думает о том, как не моргать; потом опять не закрывает и учится не закрывать еще; даже вроде больше не моргает; точно, теперь уже совсем, вот так, как будто вместо глаз — луна и немигающее отражение ее бессонницы; оказывается, ничуть не сложно, удобн

даже, рассуждает он во сне в каком-то сладостном оцепенении, а когда опять распахивает веки, по неопрятному желтоватому пару бродят скупые огни, и он с изумлением ищет в них время: «Сумерки. Факелы. А лая почти уж нет. Должно быть, тех уже раскопали. Теперь моя очередь. Только наверх они не сунутся. Да и куда им лезть под самую темень!»

И он глядит на то, как огоньки внизу шныряют по мутной хляби, словно играют друг с другом в нехитро замысленную игру, и по стойкому плотному эху понимает, что дождь кончился. А потом один огонек желтеет желтее других и толчками уходит от остальных, по зыбкой дуге придвигаясь ближе к расселине, а на отцовом лице немеет холодная маска из пота и крови, и из мерцающего огонька выжелчивается огонь, а после нанизывается на ветку факела, из которой мигом, как дым из трубы, вычерчивается согнутая рука, а потом — зыбкий обмер лица, туловища, ног...

И отец узнает: «Кто же еще! Ну конечно, больше ведь некому...» И зачем-то считает шаги Одинокого, а когда насчитать остается лишь пару десятков, тот замирает и пристально смотрит вперед, слегка наклонив туда пламя, так что отец думает: «Вот и свершилось. Теперь закричит, и те сбегутся. Будь ты проклят, шайтан...»

Но тот не кричит. А потом не кричит так долго, что в сознание отца проникает сомнение: «Неужто мне снится?... И проверить-то никак нельзя. Разве что самому голос подать...» Но на это он не решает, благоразумно рассудив: коли сплю, так это лишь собак дразнить, особенно если глотка подведет и выйдет громко, а коли воочию вижу, так пусть сам он и зовет, за тем, поди, сюда и взобрался...

Только Одинокий все молчит, не меняя позы, и отец видит, как прямо на глазах сумрак заплетается в ночную темень, лишь ее середка топорщится на ветру беспокойным пламенем с торчащей ветки в призрачной руке и озаряет странный отцовский сон (в том, что спит, он уже почти уверен), а потом пламя описывает полукруг во взлохмаченной туманом мгле и крошится в пространстве шагами, теперь уходящими прочь, и постепенно обретает прежнюю свою, послушную и маленькую желтизну, и скоро он, отец, снова погружается в тяжелую клейкую дрему, и тихо постанывает, преодолевая боль в ребрах, ладонях и мелкую-мелкую дрожь. Он крепче обхватывает себя за плечи, подтягивает колени к груди и дряблым беспокойным сном своим слушает, как вместо кашлявшего эха гудит в ночи погасший сильный ветер, скобля студеным боком истертый зев расселины. Комками, нехотя и в никуда ночь отслаивается сквозь сторожащий всякое его пробуждение щербатый пролаз в скале и на какой-то звонкий миг оправляется от безалаберной и склочной лихорадки, чтобы сразу же опять (будто в запруде ясная вода и вдруг — круги от брошенного камня) заплываться суматошными и дергаными бреднями.

А в это время Одинокий, впервые за долгие и проигранные нами годы снова открывший нашу калитку, увещевает деда обождать, не торопить свой траур. «Верь мне, — повторяет он, ловя его глаза, словно пытаясь подпереть старика своим взглядом. — Кобыла — да, чужак — да, повозка — тоже, но только сына твоего там не было. И даже в сердце незачем хоронить, не то беду накличешь...» А тот лишь беззвучно шамкает ртом и нетерпеливо томится локтями, не выпуская палки из пальцев, и

Одинокий тогда говорит: «Ну хорошо, если уж не убедить, так хоть попросить тебя мне дозволено? Дай мне неделю, и я докажу. Семь дней, начиная с завтрава...» Но, углядев в глазах старика воспрянувшую был надежду (иль подозрение — не разобраться), поспешно добавляет: «Нет-нет. Не понял ты. Я ничего не знаю. Не знаю, но вроде как чувствую... Всего одна неделя, да и никто тебя за это упрекать не станет, верно? Я отправляюсь с утра». И, глядя на то, как дед повел головой — неловко и косо: вниз и вбок, словно вместе «да» и «нет» в бороде протащил,— с деланным облегчением заявляет: «Выходит, сговорились, через семь дней свидимся... Ну, бывай! Бог нам в помощь...»

А выйдя из хадзара, на дворе отыскивает в толпе моего дядю и кивает ему: «Тебя старик зовет. Соседей лучше отпусти, хоронить покамест в твоём доме некого...» И направляется к себе, и первое, что делает — идет в погреб, чтобы собрать еду в хурджин и наполнить бурдюк аракой.

Но в эту ночь он не пьёт. Он кладет в хурджин огниво, ссыпает на ладонь из кожаного плоского мешочка медь с серебром и, пересчитав, возвращает все обратно, а сам мешочек вешает на грудь. Потом направляется в конюшню задать жеребцу сена и после, взнуздав его, прилаживает к седлу факел. Он трудится размеренно. В этой уверенной в себе размеренности он коротает время, а скоротав, идет к погосту, оставив жеребца на дворе привязанным к коновязи и поленившись прихватить с собой огонь. И ноги его скользят и вязнут на тропе, когда он минует нихас, и мне неизвестно, о чем он там думает, когда припадает к могильным камням. Не знаю, о чем говорят им руки его и молчание да только,

пожалуй, мало кому это важно, разве тому лишь, кто, обмотав черным башлыком лицо, следит за его тенью из укрытия, спрятавшись за одной из надгробных плит и впиваясь слухом в рыхлую кладбищенскую тишину. И не знаю наверняка, чувствует ли его испуганную близость Одинокый, во всяком случае он виду не подает, но думаю, что в эту ночь с могилами советуется молча, оно и правильно: к чему им тут слова? Достаточно того, что он приник к ним сердцем.

А после он прощается и движется обратно по тропе. И по дороге — так, на всякий случай, если вдруг она и впрямь имеет уши, — негромко говорит, дабы ее предостеречь: «Оно, конечно, в темноте мне легче промахнуться, да ведь с досады можно и попасть. Ну а ружье-то надобно, надобно прихватить... Что-то уж очень падалюю кругом воляет». Так что когда он возвращается в дом, особенно готовиться ему теперь и не нужно. Он скатывает трубой бурку, поднимает хурджин и ружье, берет под узцы жеребца и ведет его к навесному мосту (каменный наполовину разрушен). Одолев реку, они выходят на дорогу и приближаются к завалу. Там он вновь оставляет коня, снимает с седельной луки факел и подвязывает его петлей на плечо. За спиной у него уже прилажены хурджин и бурка. И вот он, поплевав на ладони и насухо отерев их о полы черкески, вторично (что вторично, в том я почти уверен; иначе не стыкуется: слишком мало у него времени, чтобы досветла отыскать расселину, если, конечно, отыскивает он ее впервые. И потом, не только я, задним умом, через столько-то лет, но и сам он давным-давно понял, что для победы наверняка даже ему требуются две попытки. Вот и выходит, что

он сейчас карабкается по скале во второй раз) за эти сутки начинает свое восхождение. А когда проползает вверх с полсотни шагов и нащупывает под блекнувшей луной крохотную ровную площадку, подымается в рост и, поглядев вниз на плотный туман, уже без всякой опаски зажигает факел. А спустя еще с десятков минут, ощупав светом отцовский сон, втыкает в какую-то щель снаружи и, обложив его для верности камнями, протискивается в расселину и треплет отца за плечо: «Проснись... Пора и закусить».

Кинув бурку под ноги, развязывает хурджин и достает оттуда чурек, немного сыра и бараньи ребра, а отец таращится на них, стучит от холода зубами, пробует ему ответить. И тогда он, Одинокий, всмотревшись в него и поняв, кивает головой, вытаскивает затычку, подносит ему бурдюк к самым губам и слышит, как тот жадно, взхлеб, глотает. Потом он отступает, но, дав отцу передохнуть, вновь протягивает бурдюк, только теперь тот берет его руками и пьет помедленней, хотя и дольше.

«Закусывай», — приказывает Одинокий и, чтобы не смущать, поворачивается на корточках лицом к огню. Отец садится, подобрав под себя ноги, и принимается жевать. Жует он яростно, остервенело, будто тужится удавить свой голод и стереть с глотки запах жженой пыли. Наевшись, он говорит затекшим от долгого молчания голосом: «Да возблагодарят тебя боги за доброту». Одинокий оборачивается, кладет ему руку на плечо и отвечает: «Будет тебе... У нас мало времени. Скажи-ка, ты не передумал?» Отец мотает головой: «Не могу. Уж лучше умереть, чем в дом вернуться. Старик мне не простит». — «Но вслух не скажет». — «Верно. Пото-

му и стерпеть не сумею». Поразмыслив, Одинокий согласно кивает: «Ладно. Стало быть, по тебе лучше в горах скитаться». — «Может, и лучше, — говорит отец, — да только и это нельзя. Я ведь тому, в крепости, наш аул назвал. Теперь уж никак не получится. Иначе за все старику отвечать...» — «Неужто тому самому сказал, в лавке скобяной?» — «Угу, — говорит отец. — Вот, взгляни». И вытаскивает из-за пазухи револьвер. «А у него, — говорит отец, — взамен бумажка осталась. Теперь-то, поди, она сильнее револьвера будет. Как думаешь?» Но тот не отзывается, а мыслей по лицу его никак не угадать. Потом он говорит: «Послушай. Скоро рассвет. Мой жеребец внизу. Только ведь хозяин все одно сюда с проверкой заявится, да вот ты уже за решеткой будешь...» — «Угу, — опять соглашается отец. — Вот именно, что за решеткой. Значит, старика трепать не станут».

Ему заметно полегчало, и он рад, что теперь все получается столь складно и ответы его звучат так, будто он весь этот страшный, тошнотворный день лишь тем и был занят, что ломал над ними голову. «Да только ведь и ты не виноват», — тихо произносит Одинокий, и отец, пораженный его словами, сперва лишь недоверчиво повторяет их, примеряясь к ним губами, повторяет несколько раз, словно хочет заранее (иль постепенно, а может, навсегда) приучить себя к их непростительному, грубому, запретному, праведному негодованию, которое отныне (он это слышит своим оступившимся на мгновение и зачавшим сразу же в отчаянье сердцем) заменит ему ясность и покой. Потом, сглотнув слюну, он просит Одинокого: «Скажи, что делать. Ага, гляжу, и ты не знаешь?..» Тот горько усмехается: «Я не

знаю даже, что в той бумажке. Я не знаю, какая была задумка у твоего старика. Я не знаю, сколько лет тебе грозит отсидеть в остроге; не знаю, что такое тюрьма, не знаю, кого будут хоронить кроме русского, объявись ты завтра в ауле, потому что не знаю, как уживутся под общим кровом два человека, умудрившихся за сутки сперва разбогатеть, а после вмиг разориться, да так, что один из них за те же сутки сначала лишится сына, а после обретет его вновь, а второй — сперва умрет, а потом, к рассвету, воскреснет, чтобы угрюмо ждать недели и месяцы, когда за ним придут солдаты и отведут его в острог. Не знаю, как будет он им объяснять да втолковывать, что он тут ни при чем, если к тому времени, бок о бок живя с разоренным несчастьем отцом, он и сам-то забудет о своей невинности. Ничего-то я не знаю, а коли так, приходится догадываться...» — «Стало быть, — говорит отец, — и от тебя тут толку мало? Стало быть, согласен, что надо в крепость ехать? Что-то я не пойму, куда клонишь». А Одинокий ему отвечает: «Жеребец мой на дороге ждет. Он ждет рассвета, чего ж тут понять? — и потом, помолчав немного, тихонько эдак начинает посвистывать и внимательно разглядывать его лицо: — Здорово тебя молотило. Нос, что коленка, распух. Как выберемся за аул, не забудь кровь смыть, а то на абрека похож. На неудачливого абрека. Такого встретят на дороге, проводят глазами, а после посмеиваются». — «Не пойму я, куда клонишь. Хоть убей, а не пойму». — «Да ты не ерпенься, — успокаивает Одинокий. — Лучше еще хлебни, пока я тут про молнию размышлять буду». — «И чего же ты пытаешься наразмышлять? Размышляй-ка в голос, а я послушаю», — говорит отец и

прикладывается к бурдюку. «Я и сам-то еще не решил,— говорит Одинокый.— Только вот что мне любопытно. Когда, к примеру, зимой по лесу бродишь — днем, по теплу,— повсюду с деревьев сосульки свисают. Столько сосулечек, сколько соплей у талого снега, и ведь ни единая тебя не зашибет. Падать — падают, а угодить в тебя не могут».— «Ну?...» — спрашивает отец, а сам уже нахмурился. «Ну и вот,— продолжает тот,— разве не удивительно? Разве не странно, что, случается, весь лес исходишь, а ни одна сосулька тебя не улучит, а бывает, едешь двое суток, под дождь попадешь, и небо вроде огромное, и гор вокруг полным-полно, а вот ведь сверкнет молния, ударит в скалу над головой и засыпет камнями единственную кобылу на дороге на много верст кругом... Верно?» А отец мой часто, хрипло дышит и спрашивает глухим, пузырястым каким-то голосом: «Ну так что, что верно?» — «А то,— отвечает ему Одинокый,— что до того это странно и удивительно, что хочется в нем смысл искать...» И заново замолкает, а отец, разгоревшись глазами, тревожно ждет разъяснений и, когда понимает, что ждет впустую, снова пристаёт с вопросом: «Какой такой смысл? Чего искать-то? — А через минуту опять: — Какой смысл, спрашиваю? На что это ты намекаешь?» А тот пожимает плечами и говорит: «Сам не пойму. Нет, клянусь, что не вру... Вон, будто и светлеть уж начало, а?» И отец неохотно соглашается: «Угу... И впрямь пора... Выходит, понапрасну меня баламутил? Возьми бурдюк, я лучше с факелом пойду... Выходит, зря?» — «Там, где стена, словно брюхо к хребту, в скалу вжата... вон там вон... Да нет, правее... Ага. Сыщешь карниз. Удобный вроде для ноги, не свалишься. По нему на

северную сторону пройдешь: как раз туда и ведет. А я тебя там у дороги встречу: все равно ведь в объезд двигаться, через завал-то не пройти...» — «Ладно,— говорит отец сквозь зубы.— Смотри только бурдюк не потеряй...»

А еще через полчаса, в течение которых он, прилипнув к стене и повиснув над пропастью, осторожно переступает ногами по длинному пологому карнизу, жарко дышит в скалу, и чует щеками от нее возвратившийся жар, слышит кроткое пламя в руке и следит за полоской копоти на камнях, открывает впившимися в их гладь зрачками скользкое утро и чувствует в поту, как долго он идет, и так же долго ему некогда совсем подумать: слова скопились у него под самой ложечкой и чуть волнуют легким перекастом выпитую араку,— через полчаса он различает под сиреневым туманом утренних сумерек надежное неглубокое дно и, заметив краем глаза всадника, соскакивает наземь. Переведя дух и поглаживая ладонью живот, говорит: «Вроде ничего не расплескал... Ну что, поехали?» Приняв протянутую руку, он запрыгивает на коня, обхватывает Одинокого сзади за грудь и, оглянувшись на свой аул, видит, как шевелится над ним рассвет, и еще знать не знает, что увозит этот рассвет с собой на целых восемь лет...

А когда они минуют в объезд соседний аул и оставляют его далеко позади, Одинокий пускает жеребца к роднику и говорит отцу: «Теперь умойся, освежись и приготовься: расскажешь все как было». И когда они снова трогаются в путь, отец, наконец, начинает. И говорить ему сперва нелегко, тесновато в зобу, однако тот совсем не перебивает, лишь иногда кивает головой, чтоб подбодрить, да время от

времени кое-что уточняет: «Неграмотность, говоришь? Выходит, и револьвер за нее — не цена. Тут вы все малость просчитались. И лавочник, и ты, и дед твой... Но больше всех, выходит, твой попутчик». — «Да», — говорит отец, опустив подбородок. «Зато разом и навсегда поплатился... — продолжает тот. — С тобой-то сложнее будет. Да ты рассказывай!..» И потом опять только слушает, слегка отвернув набок голову, и по-особенному, бойко щурит глаза, будто прозрев ими секрет чужого прошлого, по-прежнему неведомый тому, кто испытал это прошлое на своей шкуре, а едва пережив его, бежал сквозь дождь и туман, чтобы укрыться от него, прошлого, на ночь в складке из камней, а поутру запить его горечь горькой-прегорькой аракой и уйти из него по объездной дороге в загадочную неизвестность. «Что-что? Змея? — спрашивает Одинокый, насторожившись. — Откуда там змея в ливень?» — «Должно быть, загодя молнию почуяла, змеи-то мудрее нашего будут. Скажешь, нет? А может, оно мне лишь почудилось... Да нет. Навряд ли. Чего ж тогда кобыла встала? Кобыла-то моя — да резвится бабочкой ее кобылья душа на том свете! — хоть и не особо толкова была, да только ведь и не самая глупая из ихнего племени. Зазря бы не остолбенела, верно?» — «Куда ж верней, — не спорит тот. — Страху, небось, наглоталась, вот и встала. Страхом поперхнулась. Пугливая, небось, была, а? Что-то я не припомню?» — «Да как же, — изумляется отец, — не помнишь? Она ж у нас с юных лет пожаром ошпаренная. Ты еще пацан был, а брат мой младший — он-то, почитай, года на четыре старше твоего, — в поле скирду по шалости поджег, так мы ж ее потом с кобылой и растаскивали, чтоб ловчее с

огнем управиться, там ее с верхов горящим пуком сена в морду и заязвило. Конечно, пуганая была. Да только, вишь, оно когда плохо, а когда и наоборот. Может, пугливость ее мне жизнь спасла...» — «Ну-ну,— говорит Одинокий.— Ты рассказывай, не отвлекайся». Но очень скоро перебивает: «Да нет. Ты мне лучше про змею еще разок перескажи, дальше все и так понятно». — «И далась она тебе! Гадюка как гадюка, разве что подлиннее чуток. А впрочем, может, и нет. Может, и покороче... Да какая тебе разница! Говорю ведь, что разглядеть не успел, тут-то оно и шарахнуло! А после мне как-то не до змеюки было... Хлебнуть не хочешь?» — «Нет». — «Как хочешь. Я вот хочу». — «И ты не хочешь». — «Почем знаешь?» — «Кому же знать, как не мне?.. Да ладно уж, пей. Все равно сейчас не сознаешься, даже если лишний раз к бурдюку приложиться тебе противней будет, чем червяком закусить... Кто-кто, а уж знаю». — «Ну и черт с тобой. Знай себе, коли знается, да только другим охоту не отбивай,— сердито произносит отец, потом Одинокий слышит тяжелое неповоротливое бульканье и незаметно ухмыляется, а еще позже отец говорит: — Так вот, стало быть, молния... А дальше скалу — надвое, ровно горбушку ножом пополам...» — «Не надо дальше,— повторяет тот.— Передохни». — «Не хочу,— говорит отец и надувает губы.— Хочу дальше пересказать». — «Хорошо,— говорит Одинокий.— послушаю. Ну, чего же ты?» — «Не желаю,— пьяно обижается отец, и Одинокий слышит затылком, как тот тискает в горле зевок.— Ты все испортил». — «Извини,— говорит Одинокий.— Коли так, то извини».

Потом они молчат, и отец внезапно понимает,

что молчать ему куда удобнее сейчас, чем ворочать негибким усталым языком, но затворить глаза и спрятаться от света пока ему никак нельзя: нужно держать перед собой эту тонкую спину и выбившийся из-под войлочной шляпы клочок седых волос, иначе совсем растрясет. И он цепляется тускнеющим взглядом за спину и седую метку в черных волосах, а потом глаза исподтишка отыскивают уют, и он уходит за ними вслед охранять его от непослушных просыпающихся пальцев — далеко и нечестно, на чьей-то черкеске ловящих тревогу. А Одинокий, посмотрев за ними, трепетными этими, упрямыми пальцами, осторожно вытягивает из-за спины бушлат, привязывает им к себе поникшее отцовское туловище и продолжает путь. Глаза его по-прежнему прищурены, и я по ним вполне могу догадаться, о чем он теперь размышляет, но торопиться покамест не буду, чтоб вам самим разгадать не мешать. И не буду больше вас утомлять тряской и длинной, разбитой прошедшим дождем дорогой в крепость да двумя ночными привалами (стало быть, отец мой уже седьмые сутки ночует под переменчивым летним небом, когда, разостлав на траве бурку Одинокого, говорит сам себе: «Ничего. Завтра для тебя найдут казенные нары, будь уверен. Завтра черед бумаги настанет...»), и малозначащим перебором не раз и не два оброненных слов («Хорошо, что все наши по домам сидят». — «Угу». — «Хоть ни с чьим носом не столкнемся»; или: «А как кинжал старику вернешь, скажи, мол, сын твой не все потерял, мол, честь-то свою сберег покуда». — «Ладно». — «Мол, выйдет из тюрьмы — умнее впредь будет. Так что пускай, мол, старик по новой выдумывает, как разбогатеть. Ну а с Барысби насчет кинжа-

ла он так и так столкуется, верно? Какая тому разница — неделей позже или раньше?»; или: «Где русского хоронить порешили?» — «На общем кладбище, рядом с вашими». — «Это хорошо. Это правильно». — «Какой он был?» — «Стекляшки на глазах носил. Любил смеяться... Только он ведь совсем ни при чем, верно? То есть, я хочу сказать, еще меньше моего виноват. Сам-то я где виноват? Да вовсе я не виноват. Как же так? Отчего это так получается, что самый невиноватый божью кару पहले всех терпит? Что ты здесь вот наразмышлять сумеешь?» — «Не знаю. Может, потому, что виноватых люди сами судят... Не знаю я». — «О чем ты? Что-то не уразумею». — «Может, о памяти. Не знаю. Наверно, о памяти...»).

Лавочник его враз признал, но радоваться или удивляться передумал: лица их да плетью упавшие руки от слов его отгородились скорбью, и потому сперва он лишь молчал, затем отворил рот, но тут же закашлялся и побагровел, а после кинулся в подсобку, и они услышали, как ковш зачерпнул воды из кадки, а когда хозяин напился и вернулся, никто из них так и не поднял головы, но только он уже обрел себя, и по дыханию его им было слышно, как он торопит запоздавшую свою ярость и подначивает простуженный голос: «Где?.. Почему?.. И ты еще посмел, лохматая башка... Да я же вас в порошок... Ну-ка, посторонись!..» И отец мой в робости необычайной, положив правую руку на сердце и гнетясь в постылую эту минуту брызгливым его, слюнявым шепотом, чуть не радостно покоряется нащупанному лавочником визгливому выкрику и отступает в сторону, но тут Одинокый грубо и резко ловит его за рукав и говорит: «Погоди ты, — и по глазам его отец

вычисляет, что обращается он не к нему («Меня же он просто в кулак поймал, все равно что щенка за холку, и, видит Бог, мне даже легче стало оттого и благодарней как-то задышалось», — объяснял мне отец, и я ему, конечно, верил), а к другому. — Не надо покамест погоню. За околоточным сходить всегда успеешь. Мы ведь сами к тебе повиниться явились. Верни револьвер». И до отца, признаться, не сразу доходит, что это уже — к нему, а потому, поняв наконец и зардевшись, он суетливо роется за пазухой, скользит пальцами по рукояти, достает и, почти протянув уже, неловко, противно роняет оружие на пол — так громко, что даже выстрел прозвучал бы тише. Револьвер катится, плоско вращаясь, по гладким доскам и замирает мышью у прилавка под ступней Одинокого. Потом тот тоже лезет за пазуху, вытаскивает еще один револьвер (а мой отец, глядя на облупившуюся краску и острую вмятину на толстом боку барабана, думает: «Выходит, нашли. А я и забыл. Про свой весь путь помнил, а про его, попутчика, — забыл. Железка — она всегда железка, кашей не станет. Она не человек... Железка. Проклятая дурацкая железка...») — отчего-то несколько раз про себя повторяет он с неискренним, испуганным презрением), наклоняется, поднимает с пола другой и кладет их оба на стойку, а отец, покосившись на лавочника и в багровых пятнах лицо его (на подбородке — прозрачная капля воды), внезапно понимает юркой и гаденькой мыслью, что ему-то сейчас, поди, хуже всех. Он, мол, теперь сам, а нас вот двое. А Одинокий уже идет к двери, затворяет ее и опускает в пазы засов, потом идет обратно, становится на прежнее место свое и предлагает ровным голосом: «Ты бы лучше нас в комнату пригласил. Там хоть присесть можно».

Тот сверлит его болеющим взглядом, сверлит столько, сколько в состоянии перемогать жжение в налившихся кровью выпученных глазах, потом он выхватывает из кармана штанов измятый платок и громко, навзрыд, чихает, а высморкавшись, медленно сует в карман платок, переводит взгляд на стойку, собирает с нее пистолеты — сперва тот, что был отцовым, потом тот, что остренькой вогнутостью, несмелой насечкой на барабане запомнил гибель своего хозяина, — поворачивается спиной и направляется в подсобку, а Одинокий и отец, переглянувшись, следуют за ним и в спешке пару раз толкаются плечами. Войдя в комнату, лавочник садится за стол, кладет на него револьвер, а второй (тот, что выменял у него мой отец пять дней назад на свою неграмотность) принимается разбирать, раскладывая по скатерти детали, и крепко, деловито хмурится, а оба наших исподлобья следят, как приручает он работой свои взволнованные пальцы. Потом он снова собирает револьвер, заряжает его и взводит курок, и только теперь, уперевшись в стол полусогнутым локтем, наставляет пистолет поочередно каждому в грудь и указывает им на стулья.

Они послушно садятся и ждут, когда опустится ствол, но тот, русский, лишь переводит его пустой и жадный зрачок с одного на другого. В тишине отец опять площает и шумно проглатывает комок в горле, пристыженный, отворачивается к застекленному окну и видит квохтающих кур на соседском подворье. Они разгребают ленивую теплую пыль под собой и бережно, чтобы не растревожить полуденную дрему, пристраиваются задом в вырытые лунки. У отца першит в глотке, но прочистить ее сейчас он не решается.

«Пусть так,— произносит Одинокий,— чего уж, если тебе оно так сподручней...» Но лавочник только щурит глаза и заставляет Одинокого глядеть в самый зрачок ствола. Отец прочищает горло, и пустой зрачок сразу перемещается и замирает, впившись ему чернотой в мгновенно повлажневший лоб. «Он сказал, у тебя есть бумага»,— слышит отец кольнувший сердце голос Одинокого. Левая рука лавочника набредает на ящик в столе и достает из него исписанный лист. Они видят отцов крест и то, как тужится он не упасть под бисером онемевших буквами слов.

«Мы готовы ее обменять,— говорит Одинокий, и ствол, качнувшись, отыскивает по прямой его рот, и отец с ужасом замечает, как палец на курке наливался у ногтя белизной.— Скажем, на два револьвера, серебряный кинжал с серебряными ножнами и на рассказ...» Лавочник не отзывается, он лишь страдает растянутыми в узкую рану губами и почти забывает о своем пальце на тугом курке, и палец все глубже белеет и полнится на отцовых глазах белой силой. «Можно добавить и кое-что еще,— продолжает Одинокий, не обращая внимания на ствол и палец.— Можно добавить несколько лет, какую-нибудь картину и новую бумагу». А лицо у лавочника делается такое, будто ему колесом отдавили ногу, веки широко распахнуты и открывают красные прожилки на белках, зубы сперва плотно стиснуты, затем он отворяет рот и силится глотнуть побольше воздуха и тут же мокро, оглушительно чихает, подхватив ладонью нос. «Осечка,— тихо произносит Одинокий.— Значит, повезло...»

И только теперь мой отец понимает, что палец

передвинут к самой рукояти и что курок спущен, и самым последним понимает это лавочник, и белое бежит назад у него из-под ногтя, а через несколько мгновений проступает на плотно сжатых скулах, и лишь тогда он опускает взгляд, принимается изучать свою кисть, потом отставляет ее от себя подальше, словно измазавшись в дегте, и с отвращением отодвигает пистолет на угол стола. Он тяжело дышит и часто хлопает ресницами, да, им видна его растерянность, так что отец мой снова думает о том же: его-то больше нашего, поди, приперло. Небось, простить себе не может, что не кликнул околоточного. А Одинокий говорит: «Коли все обошлось, так, может, поперву рассказ послушаешь? Тогда я, пожалуй, начну...» И после недолгой заминки (отец мой облегченно выдыхает всю тяжесть из груди, лавочник шмыгает носом, сцепляет в замок руки и нервно ищет им место — колено, стол, живот, колено, стол, — а Одинокий не делает ничего, только чуть выше столбит свои острые плечи и, искоса взглянув на отца, на мгновение становится похож на того, кем он, в сущности, никогда и не был, по крайней мере, не был для тех, кто его сколько-нибудь близко знал, не исключая, кстати, и его самого — на крохотное, с зернышко, мгновение он становится похож на шестнадцатилетнего юнца с пушком на щеках и смуглой тонкой шеей, и отец мой едва успевает подумать о том, что совсем позабыл его имя, как —) Одинокий берется за свой рассказ, который, говорил мне отец, вроде бы его рассказом и не был, а был моим да лавочника, да трех смертей, но отвалились у меня язык, коли вру, божился отец, мне б никогда так здорово не рассказывать. Понимаешь, говорил мне отец, я себя словно со

стороны увидал, со стороны и сверху как бы, а потом повидал те два дня, дождь, змею (и теперь лишь ее разглядел как надобно) и молнию, и видел, как сыпались камни, и видел распоротый ужасом рот, и смытую обвалом кобылу, и уставшего от жизни старика, и пещеру, и ночь, и туман, и свой голод, и карниз на скале, и видел трезвыми глазами пьяную унылую дорогу, и порожний к сегодняшнему утру бурдюк, и впервые так ясно, четко и до конца увидал, насколько же я ни в чем не виноват, но увидал при этом, насколько же меньше моего виноваты здесь помощник лавочника и мой несчастный старик, и снова увиделось мне, что когда виновато небо, на земле ту вину берет на себя самый безвинный — для того словно, чтобы, погибнув, вернуть ее на небо своей бессмертной душой, и оттого-то потом безвинные, но живые, перестают быть безвинными до конца, потому что прогневанное возвращенной виной небо отравляет виной живым их воздух, оно, видать, иначе не может, — в общем, увиделось мне столько всего, что сперва я не увидел слез в своих глазах, а когда понял, что из-за них и лавочника-то толком не разгляжу, хоть он напротив сидит и пятном передо мной расплывается, Одинокий уж и говорить закончил. А когда я влагу с глаз кулаком смахнул, лавочник упал головой на стол, начал спиной подрагивать, а потом и вовсе затрясся, и я подумал, что плачет, но ошибся, потому что скоро мы услышали хохот, выходит, он трясся от смеха, и я еще подумал: вот оно как бывает. Смех-то горше любого плача быть может. Чудно́ оно было. Чудно́ и страшно...

Так говорил мой отец, вспоминая.

А Одинокий от этого смеха вроде как побледнел,

стал со стула, отыскал в углу кадку, поднял крышку, зачерпнул ковшом внутри и поднес лавочнику воды, а когда тот напился и растворил в ней свой горький смех, сказал: «Верни бумагу, верни — сразу полегчает». А тот замотал головой и поперхнулся, и чуть было снова не ударился в хохот, но все ж таки совладал со своей беспокойной спиной и сказал: «Думаете, я по нему плакать буду? Да я на него плевать хотел. Плевать мне на этого очкастого бобра!.. И на рога его плевать! Я, может, очень даже рад, что так оно все приключилось!.. Вам-то почему знать, что у меня на сердце?.. Может, у меня счастье на сердце. Такое счастье, что и на убытки мне наплевать! И на вас наплевать... Уж это точно, что наплевать... На вас-то, положим, мне всегда наплевать. Так наплевать, что возьму вот и впрямь бумажку вам задарма подарю! Ага! А что? Я могу. Что, не верите? Чего зенки вылупили? Не верите!.. А вот коли не верите, так и не стану дарить! Да и с какой такой необходимости? Лучше уж отдам городовому и скажу еще, что мальчишка, мол, подкупить пытался — это чтоб разом обоих в острог укатали, а еще ловчее — прямиком на каторгу, в Сибирь! Слышите, олухи? В Сибирь да в снега по колено! И кто сказал, что он мне друг? Плевать мне на дружбу! На нее — тоже! Не верю я ни в какую дружбу. Не желаю дружбы! И разве я ему виноват, что женился? Сам я вон до седых волос дожил, до гула в мозгах, а все не женат. А ему будто приспичило... А эти-то! Неужто ж вы и вправду решили, что в глупой бумажонке дело? Да кому она нужна! Да я б и на тыщу бумажонек не взглянул, коли б спровадить его нужды не было! Коли б не требовалось свою подлость, как срам, от людей той бумажкой прикрыть! А они, гляди-ка, о себе и возомнили, а сами-то — засранцы. За-сран...»

Но тут Одинокий, вскочив на ноги, швыряет ему остатки воды в лицо, хватая за грудки и что-то шипит. И мой отец, плохо разобрав, о чем это лавочник там ругался, видит вдруг, что Одинокий подпер тому ж глотку кинжалом. Отец простирает к ним руки, готовится что-то сказать и оторвать Одинокого от криво ухмыляющегося, мокрого лавочника, но внезапно кто-то стучит снаружи в дверь, и они застывают, прислушавшись. Стук повторяется вновь, немного выжидает, а потом уже не смолкает вовсе, и лавочник тихо говорит, опасаясь качнуть залитой своей головой: «Бесполезно. Она все равно не уйдет. Наверно, со своего двора нас заметила». — «Она? Ты сказал — она?» — переспрашивает Одинокий. «Его жена», — отвечает лавочник, и Одинокий, поразмыслив, вкладывает кинжал в ножны и говорит: «Отопри». — «Только не надо при ней... — просит лавочник, отряхивая с рубахи воду. У него дрожит подбородок, по телу мечутся руки. — Она... Подготовить бы надо. Я сам... После... А?» — «Хорошо, — говорит Одинокий. — Потом дотолкуем». — «Ага. Конечно! Конечно, потом», — часто и как-то больно уж некрасиво, уродливо повторяет тот, наскоро вытерев голову сорванным с вешалки полотенцем, и отец в изумлении думает, что прежде страха в нем, в русском, не было, даже когда кинжал ему к горлу приставили — и то не было, а вот, поди ж ты, стоило стук услышать, как разом залебезил. С чего бы это?

И тут он видит просторную голубую сорочку с открытым рукавом и расстегнутый ворот с жаркой, покорной ее шагам свободой на груди. Женщина идет к ним уверенной поступью, крепкие ноги ее обуты в тяжелые мужнины сапоги с коркой подсы-

хающей грязи, а на юбке желтеет незамеченная соломинка. Глаза у нее большие и синие, такие синие, что, заглянув в них, отец мой признается себе, что раньше знать не знал, что такое настоящая синева...

«День добрый, — здороваешься она, ничуть не стыдясь незнакомцев, и они оба что-то невнятно бормочут в ответ. — По-русски-то хоть разумеют?» — спрашивает женщина у хозяина лавки, а тот суетится вокруг нее, сторожа ее плечи руками, словно не решаясь коснуться, и быстро-быстро тараторит: «Да... Понимают... Это они так... Смутились чуток... Да ты не обращай на них внимания! То есть нет, прости, напротив! Позволь представить тебе моих друзей... Это вот... Черт, из головы вылетело! А вот этот... Э-э... А впрочем, это не к спеху, это обождет. Ты вот что... А-апчхи!! Проклятая простуда... А я тебя и не ждал, хотел вот тут немножко прибраться, потому и закрыл. Ты бы, знаешь, могла хоть в окно постучать, а то мы здесь... Неловко малость получилось...» — «Это меня тебе неловко?» — женщина вскидывает брови. «Что ты! Бог с тобой! Как говорится, милости просим, в смысле — всегда рады, так что пожалуйста... Да ты проходи, проходи», — сыплет словами лавочник. «Куда ж дальше проходить-то? К стене, что ль?» — «Ах нет, ха-ха, зачем же к стене, к стене не нужно. Ты стой, где стоишь, по-моему, вполне удачно. Очень даже славно, когда ты вот так здесь стоишь... Да не обращай на них внимания — дикари, местные аборигены, не понимают ни бельмеса». — «Да ведь ты мне только что сказал...» — брови ползут еще выше по крупному гладкому лбу. «Ну да... Шутка! Разыграть хотел. Да и дьявол их разберет, что они там понимают... Может, и в самом деле не бельме-

сят, а может, и лукавят. Одним словом, с ними лучше поостеречься, ухо, то есть, держать остро... Да, так о чем ты? Зачем, говоришь, пожаловала?» — «Я-то? — нараспев произносит она, а сама уж от него отвернулась и разглядывает обоих чужаков, и во второй раз за сегодняшний день отец признаёт в Одинокоем юнца и тут же робко встречает ее синеву, тонет в ней и тихо, беззаветно служит вечную эту, синюю минуту ее смелости. Мутно, сонно размышляет про то, что смелее взгляда, чем у женщины, принадлежащей зараз двум мужчинам (конечно, это уже в прошлом, принадлежала-то она раньше, просто сама о том еще не ведает и, стало быть, по-прежнему принадлежит обоим, хоть одного из них два дня назад поглотила пропасть, а второму сейчас не принадлежат даже собственный язык и собственные поджилки), смелее взгляда, чем у падшей женщины, ему никогда и ни в ком не найти, как не найти ни в ком столько гордости; только чем она так горда? Неужто грехом своим?.. — А я и сама теперь не вспомню, зачем пришла. Вы уж извиняйте, что еще в дверях вам не доложились. Учту наперед. Бывайте здоровы, — кивает она ему, а на щеках алеет разозленный румянец. — Прощайте и вы, господа аборигены». — «Хи-хи, никак обиделась? И чего тут сверчать! Ну ты того — не глупи. Мы ж с тобой по-свойски, по-соседски то бишь... Да и что это ты вдруг нос задирать! Людей бы чужих постеснялась. Они хоть и лохматые, однако ж тоже ведь трепаться умеют... Ну, погоди ты... А впрочем, нет, иди... Ладно. Потом. Потом с тобой уладим», — сбивчиво частит лавочник, провожая ее к выходу, а когда дверь с грохотом захлопывается и опускается засов, какое-то время не слышно ни звука, и у отца на лице

пробуждается тревога. Он глядит на Одинокого, и тот опять у него на глазах превращается из щуплого юнца в самого себя, досадливо хмурится. Потом раздается слабенький, с шепоток, стон, и к ним направляются старые, шаркающие шаги.

«Хотите чаю?»— спрашивает лавочник, оставившись в проходе.

Потом они снова сидят у стола и отхлебывают из прозрачных стаканов обжигающий сладкий чай, и лавочник говорит: «Так вот.. Как бы это... Ну да чего уж там! Вы простите. Погорячился. А бумагу возьмите, коли вам так спокойнее. Я все одно с ней никуда не пойду». Револьверы уже припрятаны в ящик, и на столе теперь кроме медного самовара да граненых стаканов лежит единственный лист в мелкую крапинку, заверенный снизу шатким и грубым крестом. Отец достает из-за пазухи полпуда кинжального серебра и кладет рядом с бумагой: «Так пойдет?»

Тот вертит кинжал в руках, цокнув языком, осторожно выпрастывает лезвие из ножен и ловит на него осколок света. «Красота! Дагестанский?»— «Угу. Почти неодеванный».— «А где теперь нового помощника сыщешь?»— встревает Одинокий.— «Не знаю»,— отвечает лавочник и мрачнеет. «Тебе без помощи никак нельзя. Ты и так уж, почитай, неделю впустую потратил».— «Как это?»— спрашивает тот. «А так, что до сих пор помощника не сыскал. А тут, может, и искать боле не нужно». И тогда они оба переводят взгляд на моего отца, и он, смутившись внезапностью происходящего, от стыда становится пунцовым, глядит на червлениое свое отражение в самоваре и мотает головой. «Чего зря говорить, если сам он не согласен»,— пожимает

плечами лавочник. «А ты предложи ему», — говорит Одинокый. «Чего ради? — вопрошает тот. — На что он мне сдался, такой невезучий? Разорюсь я с ним». — «А с ней и вовсе свихнешься», — говорит Одинокый, и в комнате сразу делается душно и тихо. Лавочник откидывается на спинку стула и медленно барабанит пальцами по поверхности стола. Отец не поднимает глаз и думает: что-то сейчас будет. Этого хозяин так не оставит. Но тот молчит и барабанит, барабанит и молчит, а потом встает, подходит к шкафу со стеклянными дверцами, достает бутылку и три маленьких стакашка. Наполнив их, опрокидывает свой залпом и занюхивает рукавом рубахи, потом отхлебывает чаю. «Закуски не будет, — ухмыляется он. — Чего ждете?» — «У нас своя есть», — говорит отец и снимает с плеча отощавший хурджин. «А без закуски что ж, слабо?» — спрашивает тот, мигает воспаленными глазами и чихает в подхваченный из кармана платок.

А еще через полчаса Одинокый снимает щеколду и распахивает настежь окно, и отец видит, как накачивает на ее вдовый двор теплый вечер, и думает о женщине, познавшей двух мужчин, и синих ее, бесстыдных глазах, о шелковой, просторной в ходьбе груди и гладком, как самоварная медь, гордом челе, а лавочник круто набивает трубку табаком и продолжает запоздавшую на несколько суток несвежую свою исповедь: «Ну вот, а тут и твой приятель является, — рассказывает он Одинокому, который знай подливает им в рюмки, а сам при этом остается трезвее лужи и только изредка подносит водку к губам. — А они, стало быть, уже три месяца, как женаты. Выходит, три месяца я сам не свой хожу, а по ночам будто огнем во сне дышу... Вот, думаю,

неужто сама судьба тебе помогает? Да только как разберешь, коли не испробуешь?.. Слушаю я твоего земляка, а под сердцем холодный волдырь плавает. Он говорит — я отвечаю, я говорю — он головой кивает, так и спешит мне показать, что внемлет, мол, что понимает, а я все слушаю иль с ним беседую — для того только, чтоб с самим собой не разговаривать да свою совесть не слышать. И ведь почти уже созрел, почти решился — про револьвер-то я поначалу так, для виду, спросил, заинтересованность чтоб должную проявить, — и все-то у нас честь по чести устраивалось, толково, складно да опрятно, можно уже было и по рукам ударить... И тут вот вдруг, в эту минуту самую, заминочка у нас с тем револьвером вышла, а после заминочка стала заминкой, ну а заминка в молчание выросла и превратилась, как водится, в загвоздку, загвоздка занозой сделалась да так и засела в моем мозгу: пусть, мол, думаю, коли и впрямь судьба, так сама и выход находит, ей-то попроще моего будет, ей-то дружбы не предавать... А она, судьба-то, и заартачилась. Гляжу — не выходит, а самого уж и пот до хребта прошиб, так это мне хочется ей подсобить... Да ведь стыдно! Стыдно, господа... Однако ж и для стыда свой срок есть... И для ночей, сухих и огненных — тоже. Вы вот сейчас думаете наверно, что тяжело это, должно быть, дружбу двенадцатилетнюю предавать (то есть не какое-то там при-я-тель-ство, а вот именно что — дружбу, истинную, настоящую, до святого восторга в груди, дружбу не раз и не пару в бою испытанную да множество раз не размененную на деньги), только я вам скажу как на духу, а вы уж, пожалуйста, верьте... А впрочем — ваше дело,

неволять я не могу... Но выслушать меня и запомнить — это уж настаиваю! Нет ни-че-го легче, чем дружбу предать и за то ее же возненавидеть... Другое тут трудно — самому себе признаться... И сдается мне, предал я ее куда как раньше. С того дня предал, как глаза ее синющие увидел... Ну а признался — признался сегодня. И даже тогда, когда эти глаза мне ночью светили — все одно не желал дружбу прежнюю в них хоронить. Думал даже (стыдно было до дрожи, а вот ведь — надеялся, лелеял!), что, может, дружба та от моего греха лишь пронзительней сделается: каяться да любить, грешить да каяться — тут ведь от мук сердечных вроде и к тайнам души человеческой приобщиться недолго! В общем, лелеял надежду, лелеял свое паскудство. Думал, есть еще время, а дальше — там видно будет. Повозка-то доверху груженная ушла, стало быть, покамест все продаст да возвернется — э-э, там, глядишь, и месяц минет, а за месяц, может, и что само невзначай надумается...

Одно лишь изнутри грызло: что вроде и отдалась она мне по своей воле (мне-то, скажу вам секрет, и идти к ней самому не пришлось: под вечер стук раздался, я только и потрудился, что засов снял), вроде чуток и всплакнула, как оно у них положено, вроде все так и вышло, как я в снах своих грезил, да вот на поверку совсем иначе оказалось... Глаза ее меня подвели, всю радость на корню сгубили. После того они и не изменились ничуть, словно для нее разницы-то и нету — на меня глядеть иль на муравья какого. Да это ладно бы еще, хоть и обидно, конечно; однако ж другое тут еще обидней: им ведь, глазам ее, все равно будто, я перед ними стою или он, супруг ее то есть, законный. Вона что!.. Да ты

лей, не бойсь; жалко только, теперича водкой нутро не отмоешь, чтоб, знаешь, этак встать поутру, похмельиться — и всю накипь в груди как рукой стерло... Водка мне сейчас на то только и сгодится, чтоб простуду лечить... Ну вот. О чем говорил-то? А?.. Нет, не о том, ты меня не сбивай... А вот глаза — помню. Глаза и вправду были... Да. Только вот и меня они в свою синь не впустили... И знаете, господа туземцы (пардон, глупо оговорился... Да и пьян я капитально, так что не очень-то меня и журите, братцы-лохмачи), никого туда они по-настоящему и не впускают! Это уже совершенно точно я вам скажу. Только — тсс!.. Любить-то она и не умеет!.. Да и не научится никогда, даже если всю стараться будет... Ага. Сердце — оно механизм хитрый, прехитрющий такой маленький молоточек. Это вам не какая-нибудь утварь скобяная. Что, неинтересно? Отчего же не надо? С кем же еще мне и поговорить нараспашку, как не с вами? Вы ведь мне будто родня теперь — родня по убийству. И не нужно так глядеть. Я, ей-богу, не со зла, хоть вы меня и разозлили. Нет, народ, не хватает вам такту и воспитания! Разве ж можно человека перебивать, когда он перед вами душу свою обнажает... Вы все ж таки послушайте, тем более что я до самого любопытного пока и не добрался. А оно здесь вот как раз, уже близко. Коли вам так угодно — вот оно, получайте: заразила она меня!.. Да нет, не в том смысле, не в дурном, не в гадком смысле!.. Когда б в гадком, так можно б было к врачу податься да в аптеку сходить. В гадком-то чепуха!.. Тут другая зараза, поблагородней да позабористей... Губительная тут зараза... Никак полюбопытствовать изволите? Ну-ну, по лицам вижу, и незачем отпираться. Вот и хорошо.

Может, из своего любопытства что-нибудь и на сочувствие нацедите. Хотя его-то, сочувствия, как раз и не нужно. Так уж, видите ли, повелось, что сочувствие да жалость унижают, только нигде отчего-то не сказано, куда деваться, если вдруг однажды — пусть по пошлой, скотской пьянке, пусть! — обычному слабому смертному вдруг попросту *захочется* унизиться... Да не смущайтесь вы, господа могикиане, это я так — из соображений занудства и логики. Хотя откуда вам знать, что это за зверь. Ну а насчет заразы я вам растолкую — без всяких там сложностей, как говорится, на перстах, для полной ясности: чем больше я убеждаюсь, что не любит... Нет, не то, сказать бы надо — не полюбит (хоть горячо об обратном твердить будет и, может — я даже это допускаю, — будет в том вполне уверена), тем сам я сильнее с ума схожу... Этот вид заразы в книжках страстью называется. Такую вот книжку я про себя сердцем своим и читаю, и, признаться, от чтения этого все больше, гаже распаляюсь, хоть и отвратительно мне от такого романа. От себя самого отвратительно, до нравственной тошноты противно... А тут еще вы со своей молнией! А знаете, когда судьба и впрямь под подлостью твоей распишется этаким вот коварным зигзагом, так делается и еще, и гораздо, и невыносимо противней. Вроде оправдания искал, а получил в рожу плевков. Д-да... Густой плевков из смрадных уст мертвеца, которого все втроем — ты сам, судьба да невезучий могикианин — отправили помирать. В сущности, я отправлял его за рогами, могикианин молил его съездить за общей выгодой, а судьба посмеялась и свела воедино и подлость, и выгоду, и рога... Противно. Омерзительно и противно. Да

только несмотря на эти омерзительности и противности, несмотря на то, что меня от самого себя воротит, и несмотря на то даже, что между нами с нею отныне всегда покойник ластиться будет — не смогу ведь я иначе... Не смогу, хоть и она мне, братцы, ой как противна!.. Может, противней всего остального. Однако — извольте: страсть!.. Давайте-ка хряпнем еще по стопочке! А вы, юноша, отчего ж не пьете? Ну и правильно, вам еще, конечно, рановато, хоть и талант у вас имеется, я доложу, для ваших лет просто удивительный. Характерный, можно сказать, талант... Дарование! Божья искра! Кстати, обратили внимание, что картину вашу сожгли? Да, батюшка! Потом пятно на стене забелили, между прочим, нынешний покойничек самолично кисточкой водил-с!... Ну и гадко же мне, братцы!.. Отчего это всегда от водки хорошо сперва, а потом так вот пренеприятно и гадко?.. И кому это могло понадобиться — взять и сжечь бессовестно талантливую картину? Кругом нечистые какие-то загадочности да напасти...» — «А может, тоже страсть?» — спрашивает Одинокый, и двое других от внезапно проникшего в длинную речь лавочника голоса вздрагивают, и отец переводит на него припоровившиеся было к потному лбу рассказчика глаза. «Страсть? М-м... Страсть к уничтожению? Что ж, тоже неплохо, — щелкает языком лавочник. — Бывает, что и от любви до ненависти не больше шага... Вот, кстати, к слову и мыслишка у меня подвернулась: я ведь чувствую, в конце концов ее убью... Во-первых, ненависть; во-вторых, страсть; в-третьих, покойничек опять же между нами, извечные память и страх, стало быть. Да и без предела тоже ведь нельзя. У любви, долж-

но, тоже свой предел бывает. А что ж тогда за ним? То-то, что ничего. Смертоубийство!.. И вот его-то я пуще всего другого боюсь. А почему, догадываешься? Я и сам вот только-только, пока произносил, догадался вдруг, почему... А потому, что *не поймет* она, отчего это я ее жизни лишаю! Не поймет она сей простейшей, наивнейшей тайны! И как же, спрашивается, убивать, когда знаешь, что не поймет? Как потом из последней ее синевы выбираться? Вот где вопрос! Ха-ха! Круг замкнулся. Его-то, дружка моего, мы знали, зачем отправляли, хоть внешне все так обернулось, будто и не мы его — судьба камнями закидала. С ней так удачно не получится! Нет. Судьба вторично помогать не станет... Верно?» — «Брось. Никого ты не убьешь. Откуда ж тогда осечка? Если б судьба твоя поиграть хотела — сегодня б осечки не было, — говорит Одинокий и складывает руки на груди. — Но коли желаешь подстраховаться — мы тебе подсобим. Он вот подсобит», — и указывает подбородком на моего отца. Лавочник щурится, склоняет наискось голову и внимательно, будто не рассмотрел до сих пор, разглядывает отца. Иногда он принимается хмыкать, но им не слишком-то ясно, что он этим хочет сказать. Наконец он говорит: «Я понял. Сообразительный ты паренек. Выходит, я боюсь ее убить, а он боится доканать своего старика; ты, кажется, сказал, тому не выкарабкаться из воспоминаний, если этот домой вернется. Хорошо ты это, красиво сказал. А так мы, получается, друг к другу приставлены будем, чтобы тайны свои охранять. Занятно... Только тогда мы кое-что изменим, — он берет бумагу со стола, поднимается и относит ее, почти не шатаясь, в угол комнаты, где стоит несгораемый шкаф. —

Спрячем-ка тайну твою сюда. Теперь закроем. И объясним, где ключ от нее будет лежать...» — «Не нужно,— говорит Одинокий.— Он уже и так понял. Скажи ему». И отец говорит: «Чего уж не понять. Лишний раз рот открою, он из него и выпадет». — «Вот видишь,— говорит Одинокий.— Будет тебе добрым помощником. Только...» — он мнется и ищет нужные слова. «А-а,— отзывается лавочник и кладет ладонь на кинжал из чистого серебра.— Ты про это? Я согласен. Бери. Старику ведь свидетельство нужно, так?» Одинокий кивает, потом берет кинжал и, не глядя на него, сует за пазуху черкески. «Вроде всё уладили,— говорит он.— Насчет оплаты сам решай. Ему-то не это главное. Главное ему — пересидеть у тебя какое-то время...» — «Переработать,— поправляет лавочник.— Да быть умелым помощником. Заодно и русский подучит». — «Ты только не спаивай его,— улыбается Одинокий хозяину, а у отца подкатывает к горлу комок, и на какое-то мгновение он начисто забывает, отчего это того никто не любит.— А то он уже третьи сутки не просыхает». — «Больше,— говорит отец, чтоб упредить спазм в груди.— Ежели с дождем вместе считать, то больше». — «Прощайте,— говорит Одинокий.— А ты, если не прочь, можешь меня проводить». Отец встает и следует за ним к дверям, на улице тот оборачивается и говорит: «Коли передумаешь, дорогу знаешь. Коли крепко передумаешь, так и пешком дойдешь. Только ты не скоро передумаешь». А отец мой кивает и с досадой замечает, как неумело и длинно висят его руки. «А насчет глаз да синевы — не бери в голову. Твое дело простое — сторожи себе да лечись тутошним временем. Оно, поди, не тяжелей нашего

будет... И хозяину твоему кругом выгода: наши-то, почитай, нарочно сюда заспешат, чтоб на тебя за прилавком взглянуть, хоть лишний гвоздь, а прикупят... Ну, бывай!..» — «Угу,— мычит отец, не в силах разлепить свое сомкнувшееся горло.— У-гу. А-а...» Он машет ему рукой и надеется, что тот оглянется на повороте, но Одинокий лишь поддает пятками жеребцу в бока, и отец, стоя в коротком крепостном проулке, чувствует кожей окружившую его пустоту и знает, что вскоре она наполнится тягучей, болючей тоской, а после тоска эта станется с временем и приживется в нем, в отце, ленивым, терпеливым грузом...

Когда он направляется к дому, за беленой соседской оградой за ним следит с любопытством густая и темная синь. Встретившись с ней глазами, он тут же одергивает себя и опускает голову, но спотыкается на ровном месте и, заслышав ее звонкий, смелый грехом своим смех, твердит себе злыми и правильными словами: «Я научусь их ненавидеть. Я прикажу себе ненавидеть их цвет. Эта женщина познала разом двух мужчин. Это не женщина. Я научусь... Я уже ее ненавижу. А как отдохну и проплюсь, так и вовсе...»

Он переступает порог, за которым висит прозрачная в сумерках тишина. Ее колеблет торопливый, затравленный храп, и отец впервые за этот день, несмотря на повисший здесь спиртовой дух, ощущает вдруг нечуткими от пьянки ноздрями кисловатый и терпкий заквас чужих запахов. Он опускает засов, стоит и дышит, потом, уперевшись спиной в дверь, садится на корточки и смотрит, как заостряет пока неглубокая тьма блеск на полках, где выставлен товар. Он слышит, как настойчиво и неустанно треплет ветер занавеску на открытом

окне и постукивает вправленным в раму стеклом. Тьма становится глубже, блеск — острее. Потом он заостряется настолько, что от напряжения начинает рябить в глазах. Отец опускает веки, и ему снится страшное синее небо над покинутым им аулом, и он вспоминает, что покинул его, чтобы лечиться взятым займы чужим временем. Его не будит ни шмыгнувший из подсобки вороватый сдавленный вскрик, ни усталое чертыхание и звякнувшая посуда, ни просочившийся сквозь холодные запахи теплый и пряный табачный дым. И когда тихо подкраившийся лавочник набрасывает на него цигейку, отцу представляется, что это дым согрел его.

В эту ночь она не придет. А наутро узнает, что овдовела. «Видишь ли, — скажет лавочник, обращаясь к отцу, — ей достаточно поглядеть будет, как ты за стойкой маешься. Она вмиг сообразит, и никаких первых слов не нужно... Первые слова — хуже них ничего... Ведь, какая-никакая, а у нас с ним дружба была... Так что ты, приятель, перекуси чего-нибудь (там, на столе все, я уж успел, пока спишь, у колбасника побывать) и становись, а как клиент войдет, стукни эдак вот легонько в стенку, я его сам принять помогу...»

Только знаешь, говорил мне отец, она не то что любить — и плакать-то толком не умела. Падшая женщина. Падшая во всем. Вместо плача и слез — одно нытье. И я подумал: дрянь. И презирал ее до скрежета зубовного. Только она и теперь никого не стыдилась. Дня три хворала, а потом траур надела, пришла и попросила: «Вы бы свезли меня к нему на могилку». И лавочник ответил: «Да-да, конечно». И я сказал: «Я не могу. Мне еще рано туда». И он опять: «Да-да, конечно. Поедем вдвоем, ты да я». —

«Хорошо,— кивнула она.— Завтра?» — «Как тебе будет угодно,— ответил он.— Завтра так завтра. Конечно, завтра. Завтра лучше всего». — «А как же лавка?» — спросил я. «Никак. Отдохнешь четыре дня. Да и в доме освоишься». — «А почему он ехать отказывается?» — спрашивает она. «Потому,— отвечает лавочник,— что... Кстати, а почему бы тебе и в самом деле с нами не съездить? Я бы твоего старика клятвой заверил, что ты у меня помощником служишь...» — «Нет,— покачал я головой.— Чтобы простить, ему привыкнуть нужно». — «К чему привыкнуть?» — «К тому, что я сбежал. Я ведь сперва сбежал, а уж потом к тебе в подсобники подрядился...» — «Ну-ну, как знаешь».

Но не было их всю неделю, говорил мне отец. А как вернулись, ночью тот крепко выпил и признался: «Слышь, я ведь твоего старика так и не повидал. И могилу не повидал. И той скалы живьем не видел. Как из крепости выбрались, ее дрожь забила. Нет, говорит, не могу. Поворачиваем? — спрашиваю. Да, говорит, умоляю тебя, не сердись. Видать, я еще от страху не оправилась. Ладно, говорю. На сорок дней съездим. Вот-вот, отвечает. На сорок дней — непременно. А потом, как до развилки воротились, она и говорит: останови, мол. А потом прижалась ко мне и зашептала: да ведь и обратно нам нельзя. Что-то люди скажут! Верно, думаю. А давай, говорит, мы с тобой лучше в Пятигорье махнем! Там, рассказывают, сейчас самый сезон. Иди мы не грешники? Или ты меня больше не любишь? Нам, говорит, после страданий всех забыться б надобно. Ну и стерва, думаю. Похотливая стерва! Однако ж отчего-то вслух не бранюсь, а вместо того послушно заворачиваю, и в сердце-то радостный чертик при этом захлебыва-

ется! Вот же какой мерзавец, думаю. Еще и душа у тебя веселится. А что ж делать, сам себя спрашиваю, коли мерзавцем быть так легко, так прозрачно и весело?.. В общем, ты уж меня прости. Хоть тебе, должно быть, противно и слушать...»

И, говорил мне отец, всю ту ночь напролет я мечтал о том, как не сумею однажды ее сострожить, а потом ничего не услышу, когда он будет ее душить, уйду отсюда и позабуду их тайну. И, боги мне свидетели, ненавидел ее так уже, что лавочник меня ревновать к ней стал, будто, говорил отец, я тоже ее прикончить собрался, А как-то раз не выдержал даже и спросил: «Неужто и ты к пределу подошел? Ну и дела!» Только не спрашивай, что я ему ответил. Я промолчал и притворился, что ничего не понял, благо что и русский еще плохо знал, но он все равно не поверил.

И я спросил своего отца: «Так ты любил ее?» — «Я ее ненавидел», — ответил он, «И все же — любил?» А он гневно взглянул на меня и сказал: «Она была падшая женщина». И я смолчал, а сам подумал: как бы то ни было, а он ее не убивал, даже если и любил без памяти. Не он ее готовился убить. Он не успел.

Потому что месяца этак через два (листья за окном оторочило по краям первой желтизной, грозы сменялись по утрам прохладной непрочной изморосью, торговля кровельным железом да заклепками пошла бойчее, а спрос на столярный инструмент немного уменьшился; чужой, просторный язык малость приноровился к тесным отцовым зубам, так что порой они почти друг друга не замечали, и говорилось да отвечалось как-то само собой, объяснял мне отец, будто глотка шустрее мозгов

трудилась, сообразить иной раз не успеешь, а она уж и без твоего соображения с покупателем управлялась; из аула побывало в лавке человек пятнадцать, никак не меньше, кое-кто бывал дважды, но все сплошь глядели на отца моего так, словно заново с ним знакомились, словно до того лишь кого-то похожего заместо него встречали, и, говорил отец, по лицам их никак не сказать было, что знакомство им это приятно; и сам он, бодрый и работающий весь день, садился вечером на крыльцо, дымил — серьезно, сосредоточенно дымил — вырезанной саморучно трубкой с оловянным невкусным черенком, сварганенным из заедавшей в подъеме защелки, и слушал, сам себе неродной, посторонний, вялое свое, непонятное сердце; и размышлял о том, про что мне никогда не сознавался, а надымившись да наразмышлявшись, отправлялся в саманную пристройку спать; спать с каждым днем становилось трудней и тоскливей: ночи делались темнее и длинней, и просыпаться после растущей, распухающей до полной невнятности ночи было разом и неуютно, и все-таки хорошо; ну а с ней он, конечно, почти и не разговаривал, и от молчания своего ненавидел ее жадно и яростно; но все ж таки им тоже случалось беседовать, и однажды она ему сказала: «А на поминки ты меня свози. С тобой мне от судьбы не отвертеться». И он ответил: «Втроем поедем». — «Нет, — сказала она, — вдвоем. Только мы с тобой!» И отец покачал головой: «Неужто тебе и двоих мало? Или тебе всегда двое надобны?» И когда взглянул на нее, синего от злости скопилось столько, что ей самой стало невмоготу, и голос ее дрогнул: «А тебе-то, куцему, и с одной не совладать...» — а отомстила она ему тем, что на поминки из них не поехал никто:

к ночи с ней приключился припадок, посылали к солдатам за доктором, и тот с озабоченным видом прописал ей какую-то хитрую микстуру, а поутру лавочник уговорил отца остаться: «Если помрет у меня на руках, я умом тронусь.. Даст бог, на годовщину вместе съездим. И потом, коли уж ты у меня в помощниках служишь, изволь, брат, соответствовать... Короче, прошу тебя слезно, останься!..» И отец мой, понятно, остался, да и не мог он передоверить ненависть свою чужой любви — даже на несколько дней не мог; и вместо поездки занялся предосторожностями, благо что и платить-то за них было не обязательно: товар вроде как и при хозяине, а вот еще и прямую пользу приносит — висит себе замок на двери саманной пристройки и изнутри под ночь ключом запирается, ненависть отцову тайно сторожит; и ключ сперва он под подушку прятал, только уж больно он ему, должно быть, досаждал, мозги, видать, буравил, если решил он его вовсе из замка не вынимать, наверно, надеялся, что позабудет однажды его там повернуть, только, ясное дело, ни про что такое я его не выпрашивал, но сдается мне, что про замок он забывал и забывал не раз, если, конечно, он отец собственного сына, а я сын своего отца; но в общем, все у них шло нормально, и никто сдаваться не хотел, теперь уже даже она не желала сдаваться, так что все эти отцовы штучки с замком и самозапираанием были безумной и жалкой затеей, за которой мне только и видна что тощая, унылая спина покидающей его надежды, ибо после того разговора она бы уже ни по что не пришла: грехом-то своим она гордой была, стало быть, не могла рисковать им и унижаться, кому-кому, а не падшей женщине на колени падать — вмиг растоп-

чут; выходит, недели три отец мой впустую на свой замок молился да душу себе бередил, а тем временем лавочник уж и пить совсем бросил, и как-то ежедневно все страшней и непоправимей трезвел; а она, говорил мне отец, все равно как добровольно нарывалась, войдет, бывало, днем в магазин, прикажет подать табуретки, сидет у стойки с ним, с хозяином, заведет какой-нибудь никчемный, зряшный разговор, а сама при этом на меня пялится, аж в лопатках липко, а тот глядит на нее, глаз своих трезвых не сводит, и все-все про нее понимает, и следит за ней с любопытством великим и с восхищением, так на нее смотрит, будто боится не насмотреться, а мне и впрямь от уродливой, прокаженной любви их противно делается, до сплева гадко, это он точно тогда нам сказал: противно и гадко; так говорил мне отец, а я притворялся, что верю; верю, будто кроме отвращения и ненависти ему ничто ночей не отравляло; да только вот томило его и многое другое, хотя бы тот покойник, что крепко-накрепко связал их всех незримым своим, непрменным отныне присутствием; этот извечный теперь, близорукий и добросовестный наблюдатель за их грехами — или греховными помыслами, отец-то мой, думаю, понимал, что для покойника тут разницы как бы и нету, иначе его и покойником назвать нельзя, верно? — единственный и страшный судия, которого каждый из них помнил по меньшей мере в лицо или по незаметному прежде и такому назойливому сейчас запаху, проникшему в ночные хрипы их общего времени; и, может, тот замок был ко всему еще и знаком страха? а может, доказательством своей покорности, в которую так хотелось уверовать моему отцу? или просто пред-

чувствием грядущей беды? лучше всех справлялась тут женщина, и отец мой, искоса следя за тем, как самозабвенно и навсегда не умеет она любить, дивился пагубному ее, самоубийственному и все же тщетному желанию преодолеть свою природу и выучиться у страсти прожить в мучительном, трепетном, неповторимом наслаждении пороком хотя бы одно мгновение; так что горда она была еще и своими постоянными поражениями, твердил мне отец, но оттого ее грех совсем не умалялся; наоборот, говорил отец; падшая женщина, повторял он — слишком часто; я не-навидел ее, запомни!) — да, месяца этак два спустя явился снова Одинокий...

Я сразу почуял недоброе, рассказывал мне отец, но только сперва значения не придавал, решил — показалось, подумал, устал просто человек с дороги, и он обнял меня и сказал, что полагалось, а потом мы вошли в дом, и лавочник тоже обрадовался, даже забеспокоился отчего-то, засновал по комнате, сыпля неспелыми от неожиданности, невызревшими мыслью словами, а Одинокий старательно посмеивался и потирал ладонью лоб с набившейся в морщины черной пылью. А после, как умылся, пересказал нам аульные новости, странно, правда пересказал, будто не он это делал, а кто другой из наших земляков, то есть про то говорил, что и за новость сам бы прежде никогда не принял, потому как попросту и не запомнил бы ее. К чему, к примеру, помнить Одинокому про чью-то охромевшую кобылу или пропавшую овцу? Ну, может, помнить-то он еще и умел про такие вот мелочи, но *вспоминать* — это уж совсем на него не походило. И знаешь, говорил мне отец, тогда я как-то этого не понял, но на

сердце тревога легла — слабая такая, негибкая тревога. Потом мы, как водится, посидели, закусили чуток и выпили. Точнее, пил Одинокый, мы с хозяином лишь пригубили, и я еще подумал: да что за дьявольщина, мол; с ним-то, поди, мы толком и не праздновали никогда, пусть столько лет в соседях числились. В тот день я, признаться, предпочел бы и покруче посидеть, но нельзя было: работа ждала, и я сказал: «Придется вам дальше без меня. Вот уж и в дверь колотят». — «Ладно, — сказал лавочник. — Иди. Перетерпи как-нибудь до вечера, а там отыграешься». А Одинокый поднялся и сказал: «Обожди-ка. Хочу, чтоб тоже видел». И взял с колен сверток, а лавочник сглотнул слюну и облизнул сухим языком губы: он-то, почитай, вмиг этот сверток узнал, ему уже доводилось встречать такой же. А когда тот развернул его перед грудью, мы увидели пылающую трещиной скалу, грязный склизкий дождь, разверстую и огромную, в полскалы, лошадиную пасть и страшные, жуткие, глубокие, ненавистные нам глаза, прострелившие жидкое небо. И поначалу мы глядели только в эту сумасшедшую, постылую синеву, потом туда, где раскрывалась сквозь нее колючая чернота, потом оторвались от глаз и забегали взглядом по холсту.

Первым спросить я изловчился: «А что это там за крючок? Что за полоска там под огнем?» — «Змея, — ответил Одинокый. — Ты же сам рассказывал». И я пожал плечами. «Что?» — спросил он. «Да так, — говорю. — Раньше у тебя вроде глаже получалось». А он ухмыльнулся и говорит: «Так то не для протеру тебе. И не для того, чтоб губы промокать». И я сказал: «Неужто эту вот живодерню людям на обозрение вешать?» — «Про это, — говорит, — мы у хо-

зяина должны спросить». А лавочник наконец очнулся и быстро, хлопотно замотал головой: «Увольте... Нет, на стену ее, разумеется, не повесишь... И откуда ж это в тебе столько... Столько, говорю, в тебе этого... ну то есть... к тому ж опять... прямо удивительно!.. Один ведь разок только и видал, а вот поди ж ты, как изобразил. Мороз, братец, по коже... Ага. Однако для стены она, конечно, чересчур. Загнул ты, братец. Не так, чтобы очень, а все ж загнул, не обижайся. Картина у тебя того... С загибом, с вывертом картина... От нее прямо мурашки по телу. А зачем, спрашивается, клиенту твои мурашки, а? Ха-хх!.. Он же глянет на стену, а после его сюда и дармовщиной не заманишь!.. Так что не обессудь...» — «Забрать что ли?» — оборвал Одинокый и начал было ее сворачивать. «Нет-нет! зачем же так сразу — и забрать?.. Чудак. Чего тогда ее писал, а после еще и вез за тридевять земель!.. В подарок-то, небось, и вез, а? Неужто ж я не понимаю! Подарок — дело святое, его и не принять-то нельзя. Знаем-знаем, кровная обида и все такое прочее. Однако ежели ты это так, не в подарок, то ведь можно и купить! Картинка хоть и с выкрутасами, с нашлепами да с кляксами — вот! вот, гляди! Чем не клякса? Клякса и есть, и, доложу, отличная, мировая клякса! Намеренная, живая то есть, проникновеннейшая клякса! — а мне, честно скажу, поболее даже той, первой, картины нравится. Ну, не то чтоб нравится... А хоть бы и нравится!.. Надо бы и ей... Хорошо бы ей тоже показать! Как полагаете? Прекрасная, между прочим, мысль! В корень в самый мысль! Не мысль — находка!!! Прав, пра-ав ты, самородок ты наш, сейчас — скатать ее в трубу, а вечером три свечи

запалить и ей показать! Самому же глядеть и досыта ее дрожь впивать! Во будет, доложу я вам...» — «Клиенты заждались», — говорю я. Конечно, я ненавижу ту женщину. И ненавижу эту картину, и знаю, что ненавижу ее за гнусную, беспощадную, расцвеченную жирными мазками правду. И ненавижу приютившего меня человека, и мстительную трусость его, готовую подглядеть собственную подлость, дождавшись, когда она отразится ужасом в бездонной синеве. И спешу уйти отсюда, чтобы не возненавидеть того, кто вот уже два месяца был мне роднее брата родного и ближе старика-отца, кто оставался изгоем на одной с ними земле и оттого сумел познать эту землю так, что выучился творить ее по чужой памяти своими пальцами. Я ухожу, чтобы отпереть входную дверь и встать за прилавок. Изредка из подсобки до меня долетают слова (оторванные от потока брызги), по ним мне не разобрать, о чем они там говорят приглушенными и скрытными голосами. Да мне и не охота вслушиваться. Но пару раз лавочник сбивается на крик, и мне поневоле приходится слышать: «Ни за что! Даже для такого негодяя, как я, это слишком! И не уговаривай...» А немного позже раздается возглас: «Ну и сволочь! Всем сволочам сволочь! Вот и пусть подышает! Тот его кончит — и прав окажется!» Потом они долго бубнят, толкаясь голосами, потом я слышу смачный плевок, и лавочник громко и отчетливо произносит: «Лихо! А год спустя — нате вам, пожалуйста! Ошибочка вышла, на складе не разглядел! Лихо придумано! Только я все одно не согласен». И голоса опять путаются в азартном полупшепote, а когда я распахиваю дверь и вновь появляюсь в подсобке, вид у обоих такой, будто они

перцем поперхнулись: рты раскрыты, но кроме нестройного дыхания да шепелявых посвистов ни на что их глотки не годны, и я думаю про себя: ух ты, выходит, помешал приятелям, знать, что-то посерьезней моей дружбы художник наш сыскал.

А после, вечером, разговор никак не клеится, ну точно все втроем сошлись впервые босиком на голом леднике. Картина тут же, рядом, свернута слепой изнанкой вверх. Женщины нету. Одинокий убедил лавочника подождать с показом, и теперь тот корит себя спьяну за то, что согласился. «Подлость наружу просится», — жалуется он время от времени с кислой усмешкой. А тот всякий раз отвечает ему одними и теми же словами: «А ты ее не пускай». Лавочник, выпучив глаза, зажимает себе глотку, а потом они натянуто хохочут и несмело перебегают взглядом на меня. Мы уговариваемся, что Одинокий ляжет на ночь в моей пристройке, а я переночую здесь, в лавке, на длинной деревянной скамье. Из приличия Одинокий пытается спорить, но быстро уступает моим увещаниям. Лавочник уже совсем пьян, и гость наш озабоченно следит за тем, как бы тот чего не сболтнул. Потом хозяин отправляется спать, и между нами сыростью повисает молчание. Лавочник возвращается и требует свою картину; как бы кто не стащил, говорит он, подняв умный, несогнутый палец. Одинокий нервно смеется, и при свете свечи мне кажется, что он покраснел. Лавочник уходит к себе, а мы молчим, проклиная медлительный вечер, и слышим густое в сумерках, неповоротливое время. «Я ведь, — говорит Одинокий, — не из-за одной той картины сюда приехал». — «Знаю», — говорю я. Получается немного резко, но этого я и хочу. «В общем, мне здесь

кое-что обстряпать нужно,— продолжает он.— Может, и не из приятных дельце, да только без него никак...» А я хмурюсь и говорю, чтоб потом не сорваться: «Пойдем-ка спать. Ты, поди, устал от стольких хлопот... Завтра все расскажешь». А сам думаю: это чтоб не считал, будто все только и мечтают, что о его секретах. Мне-то на них наплевать...

Увидев, что он мнетя, я решительно встаю и иду к двери, а откуда — напрямиком в пристройку. Замок я снял заранее, так что теперь спокойно стелю ему постель. Он тихо говорит мне в спину: «Прости, коли что не так...»

От неожиданности я никак не найдусь, что ответить, а потому принимаю на себя вид, будто ничего не слышал. Когда мы прощаемся, в глазах его кроется печаль, и на мгновение мне делается совестно.

Я ложусь на скамью в лавке и думаю о том, что вот и пришла ночь; я твержу эти слова губами, словно хочу запомнить их навсегда, твержу, чтоб ни о чем другом не думать, и благодарная ночь опутывает меня богатой, пушистой своей темнотой.

А на рассвете я просыпаюсь и вижу, как крадется по комнате Одинокый. Он останавливается на цыпочках перед торговыми полками, распахивает мешок в руках и начинает собирать в него поживу. Он двигается спокойно и не спеша. Окно распахнуто, и я вспоминаю, что вечером именно он сидел у окна. Я притворяюсь, что сплю. Он стоит вполоборота ко мне, и поначалу меня не покидает странное, дикое чувство, что он заметил мои прищуренные глаза. Я ничего не понимаю и притворяюсь, что сплю. Он принимается за ящики. Опустошив несколько, он с трудом поднимает с пола распухший мешок, закидывает его на спину и идет, пошатываясь под

тяжкой ношей, к окну. Осторожно переносит наружу мешок и опускает его на землю. Железо звякает. Оно звякает так громко, что от нестерпимого стыда мне хочется разрыдаться. Он вскакивает на подоконник и исчезает в проеме. И слышу, как потревоженное железо с новым звоном обрушивается ему на спину, а потом оно долго и внятно, вслух считает его шаги. Потом я слышу его жеребца и открываю глаза. Я смотрю в потолок и жду, когда нальется светом утро...

Отец глядит в потолок и ждет, когда утро нальется светом, а тем временем Одинокий, выехав из спящей крепости, у первого же поворота, там, где дорога ныряет под откос, стреножит жеребца, осматривается и, никого не заприметив, снимает с луки петлю и тащит мешок в густой можжевельный кустарник у реки. Он прячет ворованное в заранее вырытую лунку и присыпает сверху повлажневшим за сутки прахом. Умывшись в реке, возвращается к коню и, прищпорив его, спешит прочь, подальше от обустроенного им преступления, ответ за которое предстоит держать моему отцу.

Поутру хозяин спускается в лавку, и по тяжелым после пьянки глазам отец пытается прочесть что-либо о его сопричастности. Он видит, как тот в неловком смятении с добрых полчаса норовит не заметить следов грабежа и все прикрывает ладонью веки, жалуюсь на головную боль. Потом он отправляет отца в бакалею запастись провизией, а сам бочком, неуклюже пробирается в подсобку. Отец мучается неуверенностью, он *чувствует*, но не *знает*, а потому не имеет права рисковать: может, лавочник и впрямь ничего не заметил, может, у них с Одиноким никакого уговора и не было.

А когда он снова переступает порог лавки, за

самой дверью с обеих сторон на него наваливаются два здоровенных жандарма. Потев, они заламывают ему за спину руки, и он с отвращением думает о том, что эти двое с вечера объелись черемши. Пока длится их глупая, неловкая, какая-то совсем уж излишняя, невсамделишная возня, отец почти не оказывает сопротивления и только старается оградить себя от зряшной боли. Лавочник стоит, оперевшись поясницей о стойку, и возбужденно объясняет кивающему головой городовому: «А я как проснулся, сразу пропажу углядел. Ну, думаю, шельма, не успел даже следы затереть, значит, думаю, где-то недалеко припрятал. Едва его за покупками отослал, как сам в момент за вами, через окно в подсобке вылез и — задами, задами, чтоб поскорей...» — «Вот это правильно, расторопно, — баском отвечает тот окающим говорком. — Ты где ж это, мерзавец, воровству выучился? Ничего, ничего, мы т-те враз перевоспитаем...» — «Только без рукоприкладства. Тут я настаиваю, — говорит лавочник. — Я-то его покуда не увольнял. Может, покается да расскажет, а после я его опять до торговли допущу. А посему — настаиваю, чтоб без драки, а то ведь он из вора — да в убийцы... У них, у туземцев, побоев страсть как не любят...»

А перед тем, как отца вытолкают добродушными, тупыми пинками на улицу, вешают ему за спину хурджин с им же купленной у бакалейщика мукой, солью и пряностями: «У надзирателя в остроге на жратву обменяешь. Иди-иди, разбойник!»

В общем, ясности этот его поступок отцу не добавляет, и конечно, совсем уж ему невдомек, что под вечер лавочник, изрядно напившись сивухи, вскарабкается верхом на лошадь и отправится вон из

крепости, чтобы в сумерках отыскать припрятанный в можжевельнике мешок, перевезти его к себе в сарай, сунуть в самый темный угол и заложить его разной утварью да тряпичной дрянью. Потом он прикончит бутыль, поднимется на ноги и побредет, сопя и сплевывая, к соседскому дому.

Женщина услышит хруст в палисаднике и звук упавшего навзничь тела. Ей придется тащить его, ухватив за подмышки, через ступени, сени и прихожую до самой кровати, а там, выбившись из сил, она сдастся и в конце концов откажется от потуг уложить его в постель, оставит его досыпать рядом с собой на полочке и долго будет ругать его свинцовыми, угрюмыми мужскими проклятиями, а потом вздремнет, перемогая его храп, но скоро очнется под грубыми его и неистовыми руками, и он вонзится гневной болью в ее беспомощную, противящуюся плоть и примется терзать ее до горького изнеможения, до полного истощения мстительного своего, замороженного борьбою терпения, а потом захрипит горлом, и его тот же вырвет на скачущий под глазами пол, а она, обливаясь ненавистью и слезами, будет до самых светлеющих окон устало молотить его кулаками по спине и обзывать последними словами...

И невдомек отцу, что Одинокий не только обмануть способен, но и — обмануться, невдомек, что тому вдруг может не покориться случай, а вся его задумка рухнет, как обгоревшие стропила в доме лавочника.

...Пожар случится на десятый день. Из затянутого решеткой квадрата в стене камеры (зловонного помещения на две дюжины нар с загаженной штукатуркой и постоянным ощущением присутствия здесь

упрямой, сиротливой ярости) заключенные весело будут наблюдать за клубящимся на сером осеннем просторе черновато-коричневым дымом, перекидываясь злорадными шутками и гадая, что это там горит. К обеду вместе с похлебкой надзиратель принесет им весть: скобяная лавка. Хозяин погиб, баба его обгорела, но будто бы дышит еще. «Так давай ее к нам, коли дышит!.. Я горячих баб люблю»,— скажет лопоухий и длинный, под потолок, бывший солдат, арестованный за членовредительство (на четвертый год службы «с тоски» он оттяпал себе топором три пальца на правой руке и прежде еще, чем дошагал до лазарета, был сдан поручику подгладевшим его за преступным занятием взводным старшиной).

Тогда отец стерпит их смех. Он его попросту не расслышит. Он пролежит на нарах с открытыми глазами до самого вечера. Потом он дождется кормежки и попытается есть, но не справится с миской баланды и коркой холодного черного хлеба. Он пролежит на нарах весь остаток дня, а когда увидит в окно круглую и полную луну, очнется, встанет, тихо пройдет по комнате к нарам шутившего солдата, упрется коленом в дощатое ребро его постели и вцепится пальцами в толстый небритый кадык.

Задушить его отец не сможет. Его самого будут бить долго, добросовестно, мрачно и жестоко. Он навсегда запомнит грязный каменный пол, залитый почти до дверей черным блеском от его собственной крови, запомнит и несколько десятков измазанных ею и обступивших его распростертое, изувеченное тело ног. Потом его унесут, и по дороге, в гулком тюремном коридоре, память блаженно прервется и возвратится к нему лишь день спустя в студеное и

узком карцере, воняющем плесенью со стен. Еще через день его отведут с завязанными руками к начальнику тюрьмы — бледному, лоснящемуся, похожему на ноготь человечку, — и тот скажет ему сиплым голосом, покашливая в щуплый кулак: «Будет тебе урок. Еще — кху—кху! — спасибо должен сказать, что к делу не присовокупили, что решили по доброте душевной тебя карцером поучить. Покушение на убийство — кху-кху! — это тебе, гаденыш, не зашелки воровать!..» Там же, в кабинете, глядя, как прикованный, на позолоченный молоточек настольных часов и увлекшись зрелищем хрупкой, но неистощимой и размеренной работы неведомого механизма, он вновь потеряет сознание и обретет его уже в прежней камере, на прежних нарах.

Он почувствует на губах вкус воды и увидит беспалую руку на своем плече. «Вот откачаю тебя, дурака, а ночью, что ж, опять душиться полезешь?» — спросит Лопухий, и отец поскорее опустит веки и начнет тщательно — слово за словом — переводить себе для верности на осетинский, отстраняясь от широкой его улыбки своим родным и нечутким к таким речам языком. Потом он с неохотой признается себе, что ненависти к Лопухому в нем все равно больше нет. Есть безразличие — к нему, к ним всем и к грубому их, животному хохоту. Отныне, среди этих людей, готовых забить человека до смерти, в нем появится осторожность, которая принудит его действовать и говорить с опаской и впопад.

Но не потому, что он познает бесценность собственной жизни или сильно испугается. Постепенно, утро за утром, в нем будет расти и крепнуть ощущение своей предназначенности для какого-то смутного пока еще, но несомненно главного, высше-

го дела, ради которого стоило и терпеть, и напряженно размышлять ночами. Дело это будет так важно и ответственно, что он, боясь, как бы его не сглазить или чего не упустить, уговорится сам с собой обдумывать его спокойно, не спеша, подбираясь к самой сути с разных и совсем поначалу неясных сторон. Он приучит себя к постепенности, к медленному погружению в расплывчатые очертания тайны, к вживанию в нее и к вызревающей в нем, уверенной мудрости. Эта вот мудрость да ощущение предназначенности помогут ему бороться с накатывающими (всегда одинаково, знойным жаром откуда-то из под желудка) приступами отчаяния.

Со временем он узнает по сплетням кое-какие подробности.

Он узнает, что лавочник, по рассказам оправившейся, но навсегда изуродованной огнем женщины, заявился пьяный к ней в дом, заставил следовать за ним в лавку, а там привязал ее к стулу против занавешенной стены, потом сорвал тряпку и показал какую-то картину (на расспросы о том, что на ней было изображено, женщина только мотала головой, закрывала глаза и принималась густо подвывать, потом впадала в истерику). Когда она опустила взгляд, он вынуждал ее оплеухами глядеть на стену, на ужасную ту, дьявольскую картину, а сам все пил и пил. Под вечер он запалил свечи и выстроил их в ряд под холстом, чтобы было хорошо видно. Когда утомленный своими трудами лавочник погружался в сон, женщина могла передохнуть от пытки и не глядеть на картину, прибитую к стене по углам обычными гвоздями. Картина была без рамки. Выбраться из комнаты женщина также не имела возможности: спящий лавочник сидел у самой двери

и от малейшего шороха — стоило ей зашуршать по полу ногами — тут же вскидывал брови, и все начиналось сызнова. К ночи лавочник стал бредить. Ему все казалось, что кто-то его преследует. Тогда ту дверь, что вела в подсобку, он запер на ключ, а на наружную навесил засов. Ему все не хватало света, и он решил зажечь еще и лампу, хотя, по словам женщины, там и без того горело с десятков свечей. Тем не менее лавочник, объяснив с кривой усмешкой, что сидеть им тут вдвоем ночь напролет, принялся до краев заправлять лампу керосином, при этом довольно много пролил на пол. От лужицы шел едкий дух, но убрать ее он не потрудился. Это его и сгубило. На рассвете женщина услышала душераздирающий вопль и очнулась от дремоты. Лавочник, как видно, во сне соскользнул со своего стула, задел лампу и свалился ничком в керосиновую лужу. Он метался по комнате, как громадный живой факел, и у него горели грудь и лицо. Женщина орала что есть мочи и скакала на стуле прочь всякий раз, как ослепший лавочник наугад бросался к ней за помощью. Потом он упал без чувств спиной на пылающий пол, а женщина, визжа от боли и обжигая пятки, подобралась на стуле к двери и попыталась вытащить зубами засов. Картина тоже уже занялась и полыхала у нее над головой, роняя ей на волосы капли огня. Через считанные секунды загорелась и дверь. В какой момент и как ей поддалась щеколда, женщина не помнила, сбежавшиеся на крики соседи, по сути, в этом ей ничуть не помогли: попросту не успели. Они увидели, как вываливается на ступени горящий ком и катится им под ноги. В то утро мало кто из них верил, что она выживет. «Дьявол ее попутал,

дьявол и отомстил», — шептались люди меж собой, укоряя не слишком соблюдавшую траур вдову за сожительство с лавочником и набожно, удовлетворенно крестясь. (Спустя двадцать пять лет я совершу то, чего так и не осмелится совершить мой отец, и, оставив его с повозкой на крепостной площади досматривать цирковое представление, ради которого по моей просьбе мы задержимся в крепости после того, как уладим на базаре дела, сошлюсь на боль в животе и выберусь из толпы, чтобы стремглав помчаться на ту единственную улочку, которую он, отец, будет старательно объезжать вот уже почти два десятилетия, с тех пор как вновь обретет свободу и возможность выбирать дорогу; когда я добегу до нее, мне даже не придется выпрашивать у прохожих, где тут «ведьмин дом»; я разгляжу его сразу, как будто потерял его только вчера в своем громком детстве и теперь легко и быстро нашел по памяти; я буду впивать его глазами, и сердце восторженно, трепещущей от страха птицей, будет биться мне в грудь; я разгляжу подпалины по левой стене, примыкающей к распятому в жидком воздухе остову сгоревшего дома, который так и не удосушатся схоронить за все эти долгие годы: она выкупит эту землю и запретит его трогать даже местным властям, а те, пару раз увидав ее руки без перчаток, не станут связываться и будут отделяться лишь вялыми предупреждениями; я увижу, как дрогнет палевая занавеска на окне, и почую, как коченеют мои члены, потом в окне появится рука в перчатке и поманит меня пальцем к себе; но в этот раз я убегу; мне понадобится еще с полгода, прежде чем я осознаю, что ночные кошмары хуже любого из возможных дневных испытаний — хотя бы тем, что никогда

не кончатся, — и когда я снова приду к ее дому, теперь уж чуть ли не с облегчением сам отворю калитку, миную палисадник и постучусь в ее незапертую дверь; я услышу: «Войди», и повинуюсь потухшему голосу, давным-давно рассорившемуся с речью; она будет сидеть на застеленном белым топчане в черном платье с черной вуалью и в черных перчатках, и я подумаю: как грач на снегу; она скажет: «Присядь на стул, если хочешь. Только ты ведь не сядешь, верно?»; и я останусь стоять, и тогда она скажет: «Похож. Я тебя еще в прошлый раз признала», потом к нам придет тишина и лениво уляжется на крашенный пол между нами, а я все буду ждать чего-то и скрипеть половицами, и наконец она тихо и ровно произнесет: «Я ведь тогда уже знала, что твой отец невиновен. *Этот-то*, лавочник, при мне сел писать, целую кипу бумаги извел. Там он все-все объяснил, словно конец свой предчувствовал. Потом сунул мне под нос, но читать запретил и сразу в свой несгораемый шкаф положил. Ну а я выкрала — как раз накануне... Сейчас покажу. Тебе — первому»; она встанет и на негнущихся, увечных ногах своих заковыляет к кровати, поднимет перину, достанет тряпичный сверток и протянет мне: «Бери. Читать-то хоть выучен? А хочешь, так и отцу отдай. Так-то, может, лучше всего будет. Мне, как видно, больше уж ждать нечего, да и он давно свое отсидел». — «Не свое», — резко поправлю я и все же уныло подумаю, что не могу ее ненавидеть, хоть нам обоим того и очень хочется. Она немного помолчит, и по тому, как она будет молчать, я решу, что она улыбается и что улыбка эта недобрая. «Ну так что ж? — с вызовом спросит она. — По мне — так свое, тем более что я ему, выходит, те годы и назначила. Зато у него

время было своей шкурой понять, что такое му́ка и каково это — с грехом жить. И потом, он всегда при нас третьим был, да больно уж хотел чистеньким остаться, а меня хуже последней подзаборной твари презирал, так глядел всегда, будто зрачками в дегте мазал. А сам-то, сам-то, поди, по ночам лавочнику завидовал, зубами, поди, скрежетал!.. Так поделом ему! А коли не скрежетал — тем паче поделом!..» Она грубо сунет мне сверток, пихнув им меня в грудь, тяжело опустится на топчан и с минуту будет переводить дух. Потом в досаде заломит руки и раздраженно заговорит: «Да нет же! Вру. Не потому я это все... То есть поначалу-то я нисколько и не сомневалась, что снесу бумаги в острог, или в суд, иль куда там еще положено... Я-то, как погорела, уже в больнице знала, что он ни по что ко мне не придет — ну, то есть, не пришел бы, окажись он вдруг на свободе, по моей милости окажись... — испачкаться побоится, но думала про себя: чего ж ему еще страдать, и без него уже настрадано — до позора безмерного настрадано, до двух смертей от него да вот еще, — она вскинет руки, будто плеснет в лицо горсть воды, — до гнусного, позорного уродства. То, что уродом стану, я, конечно, с первых дней, с больничной койки знала. Но потом, где-то месяц спустя уже, уговорила их все ж таки зеркало мне поднести... С той поры и пошло! Сперва со злости загадывать на зеркале порешила: вот, говорю себе, коли через неделю со щеки у меня эта блямба сойдет или ну хоть на ресничку уменьшится — тогда-то и отдам бумаги, вызволю его из тюрьмы, но не раньше! А коли нет — что ж, милый, значит обождать тебе придется... Потом, нарыдавшись до колик, до пустоты в груди, призналась себе, что ведь без толку это все,

что меня уж сам черт красивей не сделает и рубцы мои не сотрет. Только гадание то уже в привычку вошло. Загадаешь, а после мысленно с отцом твоим разговариваешь; по-разному у нас получается: когда он вроде тебя и утешит, а когда и наоборот, ты сама его припугнешь, мол, плохо ты там стараешься, плохо за ожоги мои переживаешь, если они ни на чуть меньше не делаются, а раз так — не видать тебе свободы! Бывало, одумаешься, сглотнешь со слезами беспутную злость свою, но потом опять взбеленишься, а невинность его снова тебе все равно как поперек горла встанет. Как-то я там травилась даже. СклЯнку какую-то стащила — побольше выбирала, чтоб, значит, наверняка, — оказалось — зеленка. Выпила всю до капельки, залпом, да только все впустую. А когда в чувство меня привели, такая слабость напала, такая муторная лень, что поняла я тогда: нет ничего труднее да хлопотливее, чем раннюю смерть призывать, если у тебя на роду ради вечных мук жить написано. А потом вдруг сразу как осенило: никогда ты его не выпустишь! Оттого не выпустишь, что вмиг над ним власть утратишь, что навсегда потеряешь его, даже и мысли свои о нем потеряешь — о нем — утешающем да страдающем за раны твои. Пока он в тюрьме сидит, у него хотя б в надежде твоей, в твоём сердце словно бы выбор есть: явиться к тебе — путь на минутку, на один лишь взгляд, пусть на одно рукопожатие, неужто ж просто руки коснуться нельзя? неужто ж так-то и противно? — или вернуться в проклятые и правильные годы свои, так и не попрощавшись, не простив тебе грехов твоих, — будто бы я перед ним согрешила, а не перед Богом да мужем своим!.. Со временем я и кое-что

другое поняла: покамест у меня бумаги, пока могу я судьбу его перелистать да поддержать в руках, словно какой-то медный грош, покуда он в остроге в ворах числится,— только тут я и могу выучиться ненавидеть вровень с ним, ну а когда мы квиты сделаемся, тут его и отпущу за ненадобностью, как облезлого воробья из клетки!.. Но только здесь я малость просчиталась: равнодушие, а не ненависть — вот что в конце концов настоялось в обозленной душе моей, и все эти годы сторожил его, мое равнодушие, один лишь неострый, дюже спокойный, сонный какой-то интерес — придет иль нет? А когда тебя под окнами увидала, поняла, что теперь уж только ждать... Деньги я не трогала»,— внезапно добавит она и, замолчав, найдет перчатками свои колени и усмирит на них руки. «Какие деньги?» — спрошу я. «Те, что он ему за работу и год тюрьмы положил. Он-то, лавочник, думал, все в год уместится. Деньги там, вместе с бумагами». Я кивну, и она отвернется, будто застыдившись своего лица, которое и без того будет надежно сокрыто под мелкой сеткой вуали. «А Одинокий? — снова задам я вопрос.— Он тоже не появлялся?» — «Он-то был. Все выпрашивал, где мешок спрятан. Но ему я ничего не сказала. Говорю же — ты первый. А теперь иди». И я двинусь к двери, но что-то меня остановит. «Покажи. Пожалуйста, покажи мне его»,— попрошу я. «Что? — немного испуганно спросит она. «Твое лицо». Я замечу, как вздрогнет ее стан, и тело вытянется в тугую черную струну. Потом она скажет круглым, как опухоль, голосом: «Ты в самом деле этого хочешь?» — «Да»,— отвечу я и почувствую, что не вру. Робким, затравленным движением она поднесет за-

думчивую руку к вуали, замрет, коснувшись кружевной каймы, и резко сорвет вуаль с лица. Я не отпряну. Я буду глядеть в него, стараясь запомнить несчастное, чудовищное его уродство и постичь несленную, глубинную, не покоренную пламенем тайну разверстой предо мной синева. Перед уходом я скажу: «Нет, ты не ведьма». И в спину мне полетит взволнованно: «Ты первый... Спасибо! Пусть он...» Но дальше я не расслышу. Голос срежется, стыдливо захлопнется дверь, я выйду за калитку и пойду медленным шагом по улице. Я забреду на базар и долго, бесцельно буду ходить по торговым рядам, пока не увижу чахоточного человечка, понуро сидящего на табурете перед пустым холстом, натянутым на подрамник. Он вскинет влажные глаза, приценится ко мне, раздумает вставать, однако все же повторит заученно куцый свой призыв: «Изображаем, портретируем, бессмертно запечатлеваем! Волшебство кисти, верность глаза, вдохновенье красок — и никакого мошенничества! Мгновенье превращаем в вечность! Быстро, четко, аккуратно!.. И совсем не дорого, — он облизнет потрескавшиеся губы и глухо закончит: — Дешево даже. Куда уж дешевле...» Он kloкотнет горлом, закашляется и побагровеет. Мы помолчим. Потом я спрошу: «Сколько?» А когда он ответит, я размотаю сверток, пересчитаю ассигнации, отделю несколько от общей пачки и кивну: «Это задаток. Мне нужен „ведьмин дом“. Изобрази его. Увековечь. Как закончишь, получишь еще столько же. Да и сама картина при тебе останется. Я заберу ее позже, когда ты скажешь мне, что хозяйка дома мертва. Чем дольше она проживет, тем больше я заплачу тебе сверху. Ну как, согласен?» Он станет липко, с голодной благодарностью

трясти мне руки и заикаться от привалившей удачи. Мы распрощаемся, но уже на другом конце ряда, запыхавшись, он догонит меня, тронет за плечо, потом будет долго, запутанно кашлять и наконец вымолвит: «Как я тебя найду? Ты не сказал». — «Ничего, — отвечу я. — Запомни сегодняшнее число. Я буду бывать в этот день здесь каждое лето». Тогда еще я и сам не буду толком знать, зачем я это делаю, но на душе у меня станет звонко и как-то густо и нескромно — как в церкви, куда я войду через четыре года, уже двадцатилетним, чтобы заказать по почившей молебен, а после отправиться на кладбище, закупить на оставшиеся деньги белых, чистых цветов и обснежить ими сиротливую могилку у железной ограды. На этот снег из лепестков я уложу сверху маленький букет бумажных фиалок. Картину я возьму без рамы, одним холстом. По дороге домой на первом же ночном привале я разведу костер и только теперь примусь ее внимательно разглядывать. Потом я решу дожидаться утра, чтобы проверить при солнечном свете. Только и он не поможет. Картина будет плоха. Она будет слишком похожа на куцега человека. Ее должен был рисовать Одинокый, подумаю я. А этот... Этот *изобразил*, но не *понял*. Да и не мог он понять или увековечить... Я раздую угли и брошу холст в костер — чтобы не пачкал мне память. Я только пожалею, что не пустил все деньги на цветы. А впрочем, подумаю я, ты хотя бы подсобил чахоточному больному уверовать в то, что он художник, а это не самое дурное дело. Дома я скажу отцу, что она умерла, и он пожмет плечами, только крепко зубы сожмет. «Ее там ведьмой звали», — скажу я, а он снова плечами пожмет и быстро выйдет во двор. Потом вернется и

скажет: «Я ее так не звал. Я звал ее падшей женщиной». И я подумаю: так ему, видно, легче около правды ходить. До сих пор. И подумаю, что не ошибся, когда смолчал про бумаги, про деньги и про нашу с ней встречу, потому как права не имел осквернять его боль — ни отчаявшейся мстью когда-то любимой им женщины, ни запоздалым, щедрым откупом несчастного ее любовника, ни моим собственным знанием о них, которое в чем-то — я это почувствую сразу, тогда еще, когда миную ее калитку, а она будет глядеть сквозь слезы мне вслед, прощаясь с призраком того, кого на годы возжелала и возненавидела; кого удерживала годы мстительной мыслью для своих тесных, томительных, одиноких ночей, пряча под мягкой периной письменное свидетельство искалеченного ею и искалечившего ее саму человека; кого никогда не согласилась бы простить, но все же простила, стоило его призраку явиться к ней, услышать всю правду и попросить ее, женщину, открыть изуродованное лицо, — в чем-то оно мешало мне оставаться сыном, а ему — отцом. И я послушно скажу: «Конечно. Конечно, отец. Ты не мог ее звать иначе...» А может, подумаю я, так ему проще было любить нашу мать. Проще выжить и стать отцом, чтобы когда-нибудь потом, застудив легкие и чудом выкарабкавшись с того света, выйти однажды шаткой поступью за порог под скупое весеннее солнце и пересказать свою душу трепетно внимающему сыну. Может, подумаю я, то был единственный способ не дать умереть всей этой истории. Чтобы поведать ее, ему нужен был сын, а для его рождения нужна была *моя* мать. У падших женщин, пойму я наконец то, что было ясно ему с самого начала, — у падших женщин сыновей не бывает.

У них родятся ублюдки. Ну а это — гибель для всякой истории...). Там, в тюрьме, среди людей, готовых забить человека до смерти, отец заставит себя не спешить и будет постепенно, каплю за каплей, копить в себе спокойную уверенность — задел для предстоящего высвобождения. Он воспитает в себе полное безразличие к тому, что думают и говорят о нем *здесь*, в стенах острога, всецело занятый тем, что сделает *там*, на воле, и потому вовсе перестанет отвечать на расспросы и даже откажется настаивать на своей невинности. Он с удивлением обнаружит, что откликом на его поведение будет растущее к нему уважение — не только среди сокамерников, но и со стороны усталого и вечно грустного следователя с печальными глазами, который, намаявшись с ним на трех скучных и вялых допросах, с кислым удовлетворением заметит: «Я свое исчерпал. Теперь уж, батюшка, суд. Там упрямых не жалуют. Ну, будь здоров...» Отец лишь вздохнет с облегчением и отправится в камеру отдыхать — и додумывать.

За это время у него уже немало надумается. Он надумает про юношу, выросшего из сироты-мальчишки, что когда-то украл у единокровных с ним воров ворованного коня; украл для того, чтобы перестать быть вором самому и не осиротеть еще и могилами; украл, чтобы ценой собственного детства сделаться хозяином беспримерного своего одиночества; украл, чтобы никогда больше не красть — а теперь вот украл снова.

И надумается отцу, что крал он неспроста и, как видно, не для себя даже — для себя он заместо этого приберег какую-то мысль, задумку, которая-то у отца никак вот и не додумывалась, но začínалась

она как раз там, где лежал ответ на вопрос, для кого это Одинокий украл, почти не таясь, полный мешок скобяной утвари, которую мог с легкостью обменять — ну хоть на привезенную им в лавку картину? И чем больше будет размышлять над этим отец, тем сильнее будет убеждаться в том, что этот человек — он сам. Тем очевиднее ему будет становиться, что Одинокий для того лишь и пошел на воровство, чтобы сделать вором его, отца, и упрятать, как вора, за решетку. И тут ему сделается ясно — до издевки ясно, до возмутительной простоты, — отчего это он почти не таился и бесцеремонно звенел награбленным, обрекая разбуженного, растерянного отца на дальнейшее упрямое молчание, зная, что тот ни за что не предаст и будет терпеть до последнего. И вспомнится его вечернее «прости, коли что не так» и крепкий, бодрый топот не обвязанных тряпьем копыт жеребца. И это уже будет немало — понять если не всю его задумку, так хотя бы часть ее, промежуточную цель, которая сведется Одиноким к тому, чтобы упрятать отца за решетку. Упрятать ради его же, отцова, блага. Только вот в чем оно заключалось, отец покуда не поймет и будет напряженно, до седьмого пота, пытаться угадать, чем же так была страшна для него воля, если вдруг единственное спасение от нее отыскалось в том, чтобы прослыть вором и оказаться в остроге? Чем же так она была страшна, если вынудила дошедшего до рубежа, созревшего для убийства лавочника пойти на сговор с Одиноким — в том, что сговор состоялся, отец уже будет уверен — и согласиться враз избавиться от нанятого сторожа, два месяца послушно охранявшего его отчаяние, не позволяя ему тем самым сделать последний шаг и обагрить

свою совесть кровью женщины, что сводила его, лавочника, с ума и утоляла страсть его ровно настолько, чтобы еще пуще ее раззадорить и превратить в жажду уничтожения? Чем была так страшна для отца воля, если страх этот нашел отклик даже в испуганном сердце лавочника, который сам пуще всего боялся сделаться убийцей?

И тогда смутная, несмелая, как фитилек, догадка повергнет отца сперва в изумление, а потом и вовсе приведет в ярость, так что его насхвось прошибет холодной испариной, и он в каком-то зловещем оцепенении, словно человек, сорвавшийся в пропасть, поразится безмерностью несправедливости, толкнувшей его на бесконечное это падение, той предельно жестокой, глупой и посторонней силе, что так бездарно распорядилась за него его судьбой. В нем все восстанет, вздыбится против невозможной этой догадки, но тогда, в первый раз, он еще изловчится на сильной, гордой волне, славной бешенством своим и поднявшейся из глубины существа его, отшвырнуть ничтожную эту догадку прочь от своих изморившихся мыслей и будет повторять, как заклинание, спасительные слова: нет, этого не может быть! Не может же быть, чтобы настолько глупо! Я бы никогда не убил ту женщину! Впереди меня тут всегда шествовал лавочник. Нет, они не могли такое подумать! Они бы не посмели...

Однако, как бы ни уверял он себя в беспочвенности гнусной той догадки, сама мысль, что вора из него сделали лишь затем, чтобы помешать ему стать убийцей, окажется столь пронзительной и едкой, что со временем замкнет его уверенность неприятным, преступным сомнением, и, хотя он так себе и не позволит принять ее, липучую эту до-

гадку, в качестве пусть даже только обычного подозрения, отделаться от нее по-настоящему он не сумеет. «А вот ведь, гляди ж ты,— будет размышлять он, попавшись в очередной раз на горькую наживку,— коли б тогда повезло, так убил бы Лопухого. И сам глазом бы не моргнул. Неужто так вот запросто? Выходит, он все ж таки во мне сидит — убийца то есть? И только часа дожидается?» А потом подумает: «Ну уж нет. Все одно не сходится. Откуда им знать про Лопухого. Она-то не Лопухий. Чтобы ее убить, надо б прежде об нее испачкаться, а тут я замком застрахован был. Не-ет...» Дальше этого «нет» будут сплошь темень и пустота, и он, отвернувшись от них, начнет размышлять о другом.

О том, к примеру, как и когда собирается вызволять его из тюрьмы Одинокий, и на что он его обменяет, чтобы смыть с отца воровство? Может, на украденный мешок, а может, на очередную картину или на себя самого? В том, что тот его вызволит, отец теперь будет уверен. Да и как иначе, если... Ну, если иначе — это уже будет и не Одинокий. «А суд — что мне суд? Мне не им срок положен. То есть со мной-то срок его как бы и не в счет. Тут все наперед Одиноким размечено. Может, еще и вовсе до суда отсюда выберусь...» Но тут его охватит нестойкое и дряблое, унылое беспокойство. Он вспомнит погибшего лавочника и неправильную, случайную смерть его, вмешавшуюся в отцову судьбу как неотвязное, дурное знамение, и он опять увидит, как это знамение задымляет ему память коричневатым прогорклым обволоком.

Потом он станет думать о картинах — чтобы не думать о женщине. И о картинах ему надумается удивление. И удивляться будет он тому, что все они —

так ли, иначе ли, но — породнились со смертью. Одну положили в девчоночий гроб, другая сгорела на годовщину, а третью сожрало пламя — вместе с хозяином. И тогда отец примется размышлять над тем, что такое настоящая красота и почему это она бродит в обнимку со смертью. Но очень скоро он устанет про это думать и оставит решение на потом (только для него это «потом» так никогда и не наступит, и словно по наследству решать его «потом» достанется мне, так что спустя три неполных десятилетия я, сидя у костра, в котором будет дотлевать кучее, пачкающее память мою изображение «ведьминого дома», запоздало подумаю: «Зря я это. Оно недостойно огня. Оно недостойно гибели, потому как никогда и не рождалось». Глядя на пламя, я обожду, пока во мне созреет растревоженная жаром от костра, но зачатая еще отцом моим истина, а когда она сложится в слова и снова наступит тьма, я отворю уста и отпущу ее в свежую лунную ночь к самым звездам: «Они похожи — красота и смерть. Только им под силу заставить жизнь исповедоваться. Но красота сильнее смерти. Иначе как бы я запомнил те холсты, которых никогда не видел сам, воочию? Ну а этот вот пепел забуду напрочь. Я уже его забыл. Его будто вовсе не было...» А когда я засыплю им угли, лягу и укроюсь буркой, и буду глядеть в искрящиеся небеса, и буду вдыхать в себя запах костра и ночной ветер, мне почудится, что она, красота, сильнее жизни тоже. Если только, конечно, жизнь сама не сильнее смерти. Но в ту далекую ночь я не захочу в это верить...)

Мысль о побеге долго вообще не будет приходить ему в голову. Она не будет посещать его до самого суда. Она не посетила бы его и на суде, если бы

опять — теперь уже вторично с тех пор, как угодил в тюрьму отец, — в его надежды не вмешался случай и не распорядился развести вдруг два события, назначенные в один и тот же день: посещение крепости митрополитом, намеченное на первый понедельник октября, и дату разбирательства в суде отцова дела. И случай устроит так, чтобы присяжные посчитали для себя первое событие куда значительнее второго, а потому, дабы избавить друг друга от томительной необходимости заседать полдня в суде, когда все жители крепостного городка соберутся на площади поприветствовать святейшего гостя, порешили сделать себе в первый октябрьский понедельник выходной и раскидать дела на два соседних. Так дело моего отца перенесут к рассмотрению на целую неделю вперед, присовокупив к пяти другим делам. И в последний сентябрьский понедельник в обществе тщедушного солдата и его винтовки со штыком он прошагает со связанными за спиной руками несколько кварталов к зданию суда, досадуя на то, что именно ему, а не кому другому, не хватило места в подводе с заключенными, и вот теперь приходится позориться да краснеть под нахальными взглядами прохожих.

Для начала его поместят в маленькой, но длинной комнатке с привинченной к стене тяжелой скамьей, и прикажут сидеть смирно, ни с кем не разговаривать. Однако особого желания поболтать он не испытает, так и не отрешившись от своего безразличного и настороженного безразличия к тем, кто уже много дней составляет все его окружение. Несмотря на приказ охранника, через пару-тройку минут шестерка заключенных (всего, считая и отца, их наберется семеро: двое из них, курносые,

улыбчивые, гнилозубые братья-близнецы, будут проходить вместе по делу об изнасиловании собственной сестры. Да, говорил мне отец, такие веселые безобидные молодцы, любимцы камеры. Лица белые, как свежее сало, и прозрачные, как капельки масла, глаза. «Так и угораздило, — объясняли они причину своего преступления, ухмыляясь довольно и проказливо, словно речь шла о сущей мелочи, вроде лакомства вареньем с барского стола. — Михайле-дворнику можно, а нам что ж — нельзя? Аль мы ей не родные? Или чем чужим попользовались? На наших-то харчах, сопливая паскуда, вона как пышкой взошла! Чего ж нам на потаскух кидаться, коли под боком свое и бесплатно?.. Ничё-ничё, нехай теперь Михайло ее и кормит, а мы тут отоспимся да впрок отдохнем. На нарах лежать — небось не кайлом воротить. К тому ж и похлебка здешняя задарма...» Угу, говорил отец, им нравилось, когда вокруг смеялись. К ним у меня тоже не было ненависти. Разве можно ненавидеть свинью за то лишь, что она свинья? И я пожму плечами, а он скажет: забудь. Если хочешь, забудь. И я кивну, но не забуду...) затеет негромкий, но оживленный разговор, не обращая на солдата ни малейшего внимания. Отец не станет встречать в него, слушая рассеянно, вполуха. Он будет ждать и думать о своем. Заключенных начнут выкликать по фамилиям и по одному выпроваживать в зал. Потом их останется только трое, и по серому, в пятнах, небу, зябко свернувшемуся у решетчатого окна, отец поймет, что уже далеко за полночь, и отчего-то думать сразу сделается невозможно, и отчего-то опротивит сверять своим терпением время. Он

почувствует, что проголодался, и впервые без отвращения вспомнит тюремную баланду.

Внезапно слух его резанет чем-то невнятным и знакомым, он прислушается, но слово скользнет неприметно и мимо, и отец решит, что ему почудилось. Близнецы, лениво-спокойные и равнодушные, заведут меж собой, позевывая, тихий спор. «Не-а, не хватит. Тут стена цементом прихваченная, — заговорит один. — И потом опять же, камень крупный, глухой». Он постучит кулаком о стену: «Видал? Шашка тут не потянет. Все равно что пальцем ковырять — одна щекотка». — «Ну а коли пару взять? Парой-то насквозь изгвоздит!» — предположит второй, а первый цокнет языком и с сомнением искривит рот, потом почешет русский затылок и скажет: «Не меньше пяти. От пяти, глядишь, и разнесет...» — «Только пылюка останется. На то и динамит...» — подтвердит второй, и отец вздрогнет. Он поймет, что слово вернулось, и у него быстро и не в лад заколотится сердце. Потом он спросит: «Как ты сказал?» Он толкнет его локтем в бок и хрипло повторит: «Как ты сказал это слово?» Близнец зевнет, ухмыльнется незлобиво и ответит, и тогда отец спросит про белгов. «Да, — отзовется другой. У них его много, хоть все горы подряд взрывай. Бельгийцы. Бельгийцы, а не белги». Отец помолчит, запутавшись сердцем в тревоге, а когда выпростает со дна ее свою мысль, попросит простуженным полушепотом: «Расскажи, какой он?» — «Динамит, что ль? Известно какой. Обыкновенный. Какой же еще?» — «И скалу взорвать может?» — «Может. Отчего ж не взорвать, коли надобно? Ему ведь, динамиту, разницы нету, лишь бы заряд достаточный был». И отец заставит себя подумать: «Это

еще не всё. Нельзя быть уверенным, если не знаешь, зачем им это было нужно. Я не знаю, зачем им было нужно взрывать скалу». Потом он увидит тот дождь и вспомнит про вставшую кобылу. И когда они расскажут ему про бикфордов шнур, он поймет, почему никак не мог описать Одинокому змею (не была она ни чересчур короткой, ни длинной для гадюки, во всю длину он вообще ее не видел, а увидал лишь настолько, чтобы разом углядеть похожесть и отличие, чтобы заметить ее быстрое, мельком, несоответствие размерам обычной змеи, но не понять при этом, что дело не в длине, а в толщине: для гадюки была она слишком тонкой и хрупкой, все равно как ручей для реки).

Братьев выкликнут и уведут в зал суда, а мой отец рассеянно уставится на тщедушного солдата и его винтовку со штыком и осознает это только тогда, когда тот с веселой опаской спросит: «Ты чего зубами строчишь? С перепугу аль с болезни?.. Строчит и строчит, словно дятел...» А отец, не дослушав его, громко подумает про себя: мельница! И скажет вслух: «Мы просто подвернулись. Барысби мельница нужна была...» — «Чего? Ты мне бредовым-то не прикидывайся! В зал призовут — там хоть в падучей бейся, а тут знай сиди да молчи!..» — сердито крикнет солдат, и отец уловит слухом страх, но не опустит глаз, занятый своими мыслями. У него опять застучат зубы, но он не заметит, крепче стиснет за спиной ладони и ощутит, как грудь его и плечи заливают оскорбленной силой. Сидеть ему будет неудобно и странно, и он поднимется навстречу тут же уперевшемуся в него штыку. Потом он увидит штык, удивится ему и послушно усядется на скамью, вмиг забыв о солдате. Он будет жадно ду-

мать о своем, каждой мыслью радостно, просторно скользя по обретенному впервые строгому и волнительному порядку, что сложился перед ним в четкий, как решетка, рисунок, где в прочной спайке завязались сталью все звенья и узлы. Он потеряет время, но потом, додумав до конца, сшибется с ним сердцем и снова разглядит солдата и стены, потом посмотрит на дверь, что ведет в зал, и отвернется, уткнувшись взглядом в другую дверь, ту, что выходит на улицу и отпирает прохладный вечер. Теперь он увидит, насколько она близка, и поразится своей нерешительности. Переведя глаза на охранника, он станет прикидывать в уме величину потерянного времени и то, во что оно ему обойдется. Их будут разделять два шага — мелочь даже для мгновения. Он поймет, что надо торопиться. Тогда он прицелится в середину, в самый надлом, сомкнутой под солдатской рубахой дуги и, набычив шею, с минуту будет готовиться, следя исподлобья за охранником. Он бросится вперед, вонзится солдату головой под дых, и подкошенное шуплое тело начнет оседать перед ним по стене. На всякий случай отец поддаст ему разок коленом и услышит, как рухнула на цементный пол выпавшая из ослепших пальцев винтовка. Он подойдет к ней спиной, встанет на корточки, нащупает цивье, упрет винтовку в скамью и изловчится перерезать штыком стянувшую занястья веревку. Потом он отцепит штык и взломает с его помощью замок, распахнет дверь и кинется вверх по улице. За все то время, что он будет готовиться к побегу и бежать по улице, отец ни разу не вспомнит об Одиноком...

А тот, Одинокий, скажет мне через двадцать с лишним лет: «Я просчитался. Я думал, у меня в

запасе неделя. А после уж поздно было... В общем, опять дурацкая, нелепая случайность...» Я и сам так решу, но минут годы, и я пойму, что — ничего подобного, и три случайности подряд — это совсем уже не случай. Скорее это три улики одной закономерности, три отпечатка с одной могучей руки или три четких следа, проложившие судьбе нашей петляющую тропу в ее неизбежность. И когда я пойму для себя, что это такое — три случайности подряд, я стану размышлять о том, какой тогда смысл может скрываться за двумя событиями, если они тоже — подряд и тоже — случайности. И приду к выводу, что смыслом этим может быть что угодно, только цена его будет всегда одна — сомнение. И тут я пойму наконец, что такое любая первая, нерасплодившаяся еще случайность и чем же она бывает беременна. И я назову это «предостережением», и сразу вычислю, что в той давней истории было предостережением, что — сомнением, а что — уликой, и все три события — пожар в доме лавочника, перенос суда и разговор о динамите — вынудят меня забыть теперь о случайностях и искать причины.

И одну из них я найду в смятении Одинокого, хоть он о нем смолчит и даже намек не выкажет, что растерялся, что в общем-то по-мальчишески ошалел, когда прознал о пожаре и гибели лавочника, потому как лихой его и красивый замысел вдруг жирно обагрился кровью да нагноился уродством страдающей женщины, от которой — я сам это видел — только и осталось, что два пронзительных синих озерца на обгоревшем лице да вечный, в трауре, позор. И, конечно, Одинокому крепко сделалось не по себе, ведь он впервые столкнулся с предостережением, а что такое судьба — прежде особо и не

задумывался, полагал, что для него она уже себя исчерпала, уже выдохлась — тогда еще, когда сгубила девчонку, влюбила его в ее тень и спьяну заставила покорять убивший ее утес. Он думал, что с судьбой уже рассчитался, и в подтверждение спалил в доме лавочника проданную картину. А потом он снова сделался свободным — и даже еще свободнее, чем когда украл ворованного коня или когда спугнул незаряженным ружьем вернувшегося за ним отцова брата, чтобы навесить затем новую цепь над очагом и оживить его чистым огнем. Он сделался еще свободнее, потому что потерял — и уже навсегда — все, кроме заматеревшего в беспробудной тоске одиночества.

Но тогда он не ведал о том, что могут сотворить на пару его свобода и одиночество. А когда он ощутил это, споткнувшись о первую случайность, я думаю, он ужаснулся. Мне кажется, он ужаснулся и потому смешался, и в горном непорочном воздухе ловил ноздрями несуществующий, нездешний дым. И чтобы перебить его, хотел спешить, но не решался. Да, теперь он мог и устранился. Явиться в крепость, отыскать судью и повиниться. И поступить так ему было проще простого. Все равно что вовремя соскочить на обочину и мимо себя пропустить бегущую в пропасть повозку. Однако этого он не сделал. Он предпочел остаться во всей этой истории, несмотря на то, что сложилась она не так, как он задумал. Совсем даже не так. Ведь теперь, после гибели лавочника, было попросту некому вызволить из острога отца, вызволить ровно год спустя и доказать еще при этом полную его невиновность. А потому приходили на ум Одинокому самые разные мысли, но никакая из них по-настоящему его не устраивала, ибо соль задумки его в том как раз и

состояла, чтобы сопрячь — день в день — время и исчезнувший мешок с ворованной скобяной утварью. Но тут вот и выяснилось, что найти тот мешок было сейчас не легче, чем воскресить самого лавочника или добиться признания от женщины, замолчавшей на двадцать с лишним лет. Но и отыскать мешок было в общем всего только полдела. Надобно было еще доказать, что это именно та утварь, а не другая. И даже справься он с этой задачей — как же теперь сопрягать с незадавшимся воровством строго в год отмеренное время? Ведь дата суда была уже названа, и он, Одинокий, без лавочника ничего тут поделывать не мог: некому было писать в суд ходатайства, великодушно прося об отсрочке на правах пострадавшего христианина, что по-прежнему верует в силу добра и не желает брать греха на душу, отправляя неразумного туземца на каторгу. Стало быть, время почти на целый год вперед сделалось неподвластным замыслу Одинокого, и все, чего он мог теперь добиться, это ухватиться за самый кончик его, приехать загодя в крепость и повиниться.

Однако ж он упрямо ждал суда, а значит, все еще надеялся спасти свой замысел и укротить терпением такое непокладистое время. Тут только, думаю, он и ощутил в полной мере тяжелую, беспокойную силу своей свободы, да так с ней тогда и не справился.

Я что хочу сказать: нет, не боязнь оказаться в остроге, не трусость и даже не одиночество заставили его опоздать. А именно что — свобода! И этой свободы свалилось на него столько, что сдаваться ему было совсем уж не вмоготу, словно бы и нечестно было сдаваться по отношению к тому прохладному безграничью — свободе, — что выносил

он в своем одиночестве. И потом — он ведь помнил, слышал еще в себе всегдашнее неумение проигрывать, и, может, уповал на него так, как никогда до того. И получалось, что неумение это играло с ним злую шутку, тем более что теперь он должен был поставить на него собственную неумную свободу, чтобы до конца бороться за благородный свой замысел, лучше которого даже он, Одинокий, сотворить ничего не мог. И в попытке спасти всю затею он рискнул не спешить, и не спешил потом настолько, что не успел вовсе. Так мне сейчас это видится...

И тогда он пошел к Барысби и сказал ему: «Кое-что изменилось. Про прежний уговор забудь». И тот сказал: «Так не бывает. Слово держать надобно». И Одинокий ответил: «Конечно. Я обещал тебе год, и ты его получишь. Только для этого тебе придется с ним поменяться местами». А Барысби сказал: «Ты спятил. Нет. Не хочу. Лучше уж смерть, чем позор». А тот сказал: «Лучше. Лучше, ежели это обычная смерть, а не смерть с позором». А Барысби долго, потно думал, покусывая усы, потом спросил: «А как-нибудь по-другому нельзя?» И Одинокий покачал головой. И Барысби спросил: «Чего ты хочешь, чтобы я сделал? Любопытно мне просто, что ты можешь мне предложить?». — «Еще бы не любопытно, — сказал Одинокий. — Тебе теперь любопытства не занимать...» — «Говори, — перебил Барысби. — Не то ведь я и плюнуть на все могу». — «В том и беда твоя, что не можешь. Зато можешь другое. Ну, скажем, мешок утвари скобяной прикупить — денег-то у тебя, поди, хватит, — а после запрячь коня и в крепость съездить». — «Ты хочешь, чтобы я...» — «Да, — сказал Одинокий. — Примешь вино на себя и вместо него сядешь. Потом, глядишь, он и

простит, тем более что знать будет, кто вор настоящий. Понял? А коли понял, выходит, будто я не для него — для тебя крал, верно? Странно выходит, да только вроде еще правильнее... Острог-то больше по тебе, чем по нему или мне, плачет». И Барысби понял, однако для приличия запросил сутки — обдумать чтоб. А согласившись, запросил еще и все дни, что оставались до суда, и Одинокий, конечно, не возражал. И размышлял, наверное, о том, как это все опять удачно складывается, и даже в чем-то удачнее, чем прежде, потому как теперь он вроде бы снова пошел на мировую со своей несуразной свободой и видел уже, как можно ее перетерпеть с пользой для своего красивого замысла. И рассчитывал на то, что сумеет породнить их — свободу и замысел, но главное, пожалуй, свободу — с тем, что принято называть высшей справедливостью, хотя, если честно сказать, никто мне никогда не растолкует, чем отличается она от высшей несправедливости, и дело тут, как видно, в том лишь, насколько, по большому счету, справедлива несправедливость или, наоборот, присуща и угодна богам пресловутая и вечно призрачная справедливость. И, коли здраво рассудить, оба эти слова обычно для того только и употребляются, чтоб оправдать себя в происшедшем или, на худой конец, утвердить свою способность стать праведным в будущем, — вот и вся разница между людьми, один из которых с гордостью скажет: «Я поступил как было должно», а другой покаянно признается: «Я был неправ».

В общем, когда Барысби согласился, у Одинокого были все основания полагать, что проиграть ему опять не удастся, и Барысби, для которого теперь, напротив, проигрывать чуть ли не постоянной работой сделалось, запросил о маленьком одолжении и

сказал: «А как же сын? Я уж про остальных не спрашиваю, но сын-то мой как же? Неужто за твое воровство и ему позором отвечать? Ты должен...» — «Нет, — возразил Одинокий. — Должен — плохое слово. Ничего я тебе не должен». — «Ты должен, — упрямо повторил тот, — потому как кроме тебя некому. Помоги ему не поверить». И Одинокий кивнул, поразмыслив: «Я скажу ему, что украл, чтобы спасти вас обоих». — «Только это?» — спросил Барысби. — «Да. Больше я ему ничего объяснять не стану. Объяснять будешь ты, если когда-нибудь у тебя на то духу хватит». На том они и порешили, и, думаю, ко всей той жгучей ненависти, что испытывал Барысби к Одинокому, щепоткой пороку добавилась еще и благодарность. И, наверно, ненавидел он его уже куда отчаяннее и горячее, чем можно ненавидеть простого смертного, ненавидел так постоянно и samozабвенно, как ненавидят лишь свой безрадостный удел. Ненавидел тем сильнее, что не посмел его пристрелить, когда крался той памятной ночью за его тенью по кладбищу и когда оба они — и Барысби, и Одинокий — были готовы к тому, что раздастся выстрел и завершит последним громом проклятый дождь, что уже сделал Барысби убийцей — пусть против воли его, но не настолько, чтоб его простили, но все-таки достаточно, чтобы не позволить ему убить вторично, теперь уже намеренно, а потому хватило Барысби на то лишь, чтобы поднять ружье и долго целиться, покуда Одинокий будет говорить с могилами, а после так и не спустить курок, вернуться в дом и слушать сердцем свой стыд, и знать, что на рассвете враг уйдет — он же видел, как Одинокий седлал коня, только подумал сперва, что тот спешит искать бельгийцев, ну а потом, когда отправился к ним сам и вместо них в карьеру

встретил злого и встревоженного управителя, разобрал от него, что исчезли они еще прошлой ночью, загрузив в казенную повозку все свои пожитки и даже не наняв проводника. Тогда он понял, что они спаслись, а заодно спасли ему и половину суммы, положенной за их услуги, и ящик динамита, и тут же понял, что для его собственного спасения суммы этой ничтожно мало, ибо нету на нашей земле такого количества денег и серебра, которое помогло бы спастись от Одинокого или от знания того, что ты — убийца. И Барысби спросил у управителя, сколько стоит та казенная повозка вместе с кобылой, а потом снял шнуровку с хурджина и отсчитал монеты. «Вот, — сказал он, — столько стоит не быть должником». А как снова приехал в аул, говорят, два или три дня ровным счетом ничего не предпринимал, и ровным счетом ничего не предпринимал Одинокий, вернувшийся из крепости, где оставил моего отца сторожить чужие ночи. А потом ждать уже было не вмоготу, и Барысби снарядил своих младших и послал их купить жернова для новой мельницы, а всем аульчанам сказал: «Не вмешивайтесь. Мы сами отстроим. Я и моя семья».

И на какое-то время выходило все так, будто и не было никакого убийства, все шло словно по его плану, разгаданному пока лишь только Одиноким, но тот по-прежнему молчал и следил с нихаса за тем, как возводятся у реки новые стены. Возводятся на средства тех самых аульчан, что, прельстившись выгодой, почти две недели все несли и несли, как на жертвенный алтарь, свои сбережения в дом Барысби и складывали в огромный жбан, собственно-ручно оплачивая обман, динамит и мозги бельгийцев, доставивших его сюда, чтобы взорвать

их скалу и похоронить под ее обломками их мельницу, на месте которой на их же деньги Барысби надумал выстроить новую и сделать ее своей, а после заставить их, аульчан, расплачиваться за каждый помол тем же серебром, что уже оплатило их обман, динамит и бельгийцев, что уже было пущено на приобретение жерновов, которые, по мысли Барысби, в отличие от прежних, никогда не станут общими и перемелют заодно с их зерном еще и их, аульчан, вскладчину собранные деньги, и тогда никто из них уже и не посмеет вспомнить вслух о его долге — хотя бы из боязни самому оказаться в должниках: цены-то за помол, поди, только он, Барысби, и устанавливает.

Таков был его план, о котором теперь знал еще и Одинокый, и поначалу все шло гладко, и даже дождь зарядил как раз на десятый день — последний срок, отмеренный Барысби для сбора плодов их алчности — алчности бедняков, которым пообещали, что спустя год они станут — не богаче, нет, но — вчетверть меньше бедными. А когда ударил первый гром, бельгийцы были уже тут как тут, и Барысби сказал им: действуйте. И когда пришел час запалить шнур, они предложили сделать это ему самому, но, сдается мне, он отказался: как бы то ни было, а ведь скала принадлежала ему ничуть не меньше, чем остальным аульчанам. А потом они спрятались в укрытии и наблюдали за скалой и дождем, а один из бельгийцев все поглядывал на ладонь, где лежала круглая стеклянная машинка и стрелкой считала минуты. А потом они заметили дедову кобылу и дедову повозку, и дедова сына с чужаком, и бельгиец, умевший видеть по стрелке время, закричал во всю глотку и закрыл предплечь-

ем глаза, и тогда они слышали гром, а все, что было потом, видел уже только сам Барысби, потому что другой бельгиец уткнулся лбом в камень и судорожно вздрагивал, словно кто-то царапал его под ребрами острыми когтями. А потом они оба исчезли в дожде, и Барысби остался один, и смотрел, как карабкается по горе мой отец. А потом были поиски тела, и Барысби не проронил ни слова, но по глазам Одинокого понял, что тот не верит, и тогда пошел в дом, взял ружье и последовал за ним на кладбище, но так и не осилил его пристрелить, а когда мгновение было упущено, понял, что не сумеет его пристрелить ни завтра, ни потом, что не сумеет этого никогда. Затем он строил мельницу и ждал. И Одинокий ждал тоже. А как впервые пустили на пробу жернова, Одинокий сошел с нихаса, приблизился к нему, отвел в сторонку и сказал: «Славная получилась мельница. Главное, что для всех бесплатная. Верно?» И тот смолчал. А Одинокий кивнул и продолжил: «Для начала вернешь им деньги. Те, что еще не растратил. Объяснишь, что в несчастье о выгоде не пекутся» И тот скривил губы в сомнении: «Будет трудно». — «Трудно, но ты совладаешь», — сказал Одинокий. — Тем более что дашь им мельника лет на семь вперед. Сын-то твой, небось не из пацанов, так что и он совладеет». А Барысби стиснул зубы и долго не отвечал, а потом спросил: «И что же будет взамен?» И тот сказал: «Взамен будет год, и в этот год тебя никто не убьет». И Барысби спросил снова: «Где он?» — и, конечно, имел в виду моего отца. «В крепости», — ответил Одинокий. — Он будет там ровно столько, сколько нужно тебе для того, чтобы справить по Ханджери поминальную годовщину». — «А после? Куда он де-

нется после?» — спросил Барысби и, конечно, опять имел в виду моего отца. «Не он,— сказал Одинокый.— Не он, а ты. Но то уж твое дело». А Барысби еще зачем-то сказал: «Стало быть, сын мой мельником будет». — «Или сыном убийцы. Убийцы и вора», — сказал Одинокый.

Такой вот вышел у них разговор. И до поры до времени каждый из них свое слово держал: семья Барысби дала аулу мельника и вернула те деньги, что еще не успела истратить, а Одинокый отправился к леднику и малевал на холсте гром, борясь со смутой в душе и изводя смуту красками. И, наверно, тогда же, в горах, высоко-высоко, в полувздохе от поднебесья, повстречал несчастную дуреху Рахимат, дочь сухорукого Гаппо, ту, что наши из жалости даже смехом обычно не удостоивали, словно из почтения к святой бедой распростертой пред ними глупости, насчитывавшей вот уже три с лишком десятка лет, в течение которых довелось им наблюдать сперва уродливого глазами младенца, потом — полунемого ребенка со скрюченными еще внутриутробной болью ручонками, потом — девчонку с тугими косичками, никогда не прыгавшими на ветру, и незнакомой с мыслью улыбкой, а потом — и девушку, унаследовавшую и уродливые безумием, черные своей непрозрачностью глаза, и сведенные судорогой руки, и тяжелые, безжизненные косы, и огрубевшую с годами, прочно осевшую на покоренном лице улыбку, при виде которой даже женщины поскорее прочь отводили свой взгляд,— так же, как отводили его от огромной и сочной груди, вздымавшейся тупой, круглой, слепой плотью из-под темной ткани одежды. И если в улыбке ее да теплых безвольем глазах чудилась нашим

неизбывная, глупостью запечатанная на весь отпущенный судьбою ей срок невинность, то зрелая грудь Рахимат казалась им чудовищным оскорблением и этой невинности, и памяти той, что родила Гаппо дочь и перестала быть женой и матерью на следующий день после того, как ребенок явился на свет: она умерла под утро, говорил мне отец, а молоко все струилось по телу, будто тихая и белая кровь, и наши женщины вытирали его белой пеленкой. Сам я, конечно, не видел, говорил отец, я тогда еще и говорить-то не выучился, но так рассказывали. Старуха Гаппо ребенка сама выходила. У них в то время буйволица была. Так что и не сосчитаешь сразу, сколько у Рахимат матерей да какая из них самая настоящая, говорил отец, а уж на кого она похожа была — одним богам известно. Гаппо по молодости охотник был, да еще такой заядлый, что и зимой до Стеклянной горы добирался. Там себе руку и попортил: кабан его по плечу полоснул, вот и застудил себе кровь, на морозе, а рука и высохла. Потом он, правда, снова охотой баловался, по недолго, остепенился будто, однако лет шесть ни к кому не сватался, хотя уже и возраст вроде подпирал. Видать, увечья своего стеснялся. А потом женился и будто бы даже тверже по земле ходить начал. Но детей у них еще лет восемь не было, только, прости меня Боже, лучше б уж и не было никогда. Да, говорил отец, прости меня Боже за такие слова. А наши после ее смерти напридумывали всякое, что и повторять не хочется. Будто бы страх в нем от того кабана так крепко засел, что и ребенку передался, оттого, мол, и глаз у нее дикий, и кисти на сторону свело. Только я, говорил отец, в глупости такие не верю. Откуда ж у нее тогда улыб-

ка эта взялась? Да и кто прознает, что там у богов на уме!

В общем, я и сам могу себе представить, как томились аульчане презрением и жалостью к несчастному существу, убившему своим рождением мать, вскормленному буйволицей и бессмысленно улыбавшемуся наступающему на него времени, что наливало напрасно силой ее слепую грудь и при этом словно бы напрочь забыло о самом Гаппо: точно заступ в земле, объяснял мне отец, ни ржа не берет, ни порча, человек без возраста. То есть возраст в нем будто совсем и не старился. Он и на нихас нечасто ходил — от стыда, должно быть, что годы в нем корней не пускали. Так что скоро их можно было и за брата с сестрой принять. Не знаю, признавался отец, в чем тут секрет, только ему от этого еще стыднее делалось. А она все улыбалась и по горам бродила. Несколько раз ее у обрыва встречали, сидит себе на корточках и цветочками любит. Или вот еще: у реки день напролет радугу сторожит. А однажды я сам, говорил отец, свидетелем был: ночью из крепости возвращался, гляжу — тень у Синей тропы. Стоит и на звезды смотрит, да так жадно смотрит, будто вкус их желает распробовать. И знаешь, говорил мне отец, неприятно было на все это глядеть. Скверно как-то. Словно за голым из кустов следишь. И я понимал, что он хочет мне объяснить. И думал о том, что они не могли не встретиться — она и Одинокый, — и что встреча их была предрешена тогда еще, когда он украл у своего спящего дяди коня и посчитал, что теперь уж раз и навсегда перестал быть вором. Но когда он увидел ее, вскарабкавшуюся по леднику, он понял, что ему предстоит украсть снова, и, пожалуй, в тот же миг

осознал, как стоит ему поступить, чтобы сдержать обещание и не дать моему отцу возможности явиться в аул раньше, чем через год.

Она поднялась и стала глядеть на то, как он вытраивает красками из души свою смуту, творя холст и сея в нем искры будущего пожара. Он прервался и с тревогой следил за тем, как впервые на его памяти ее лицо пробуждается от неизменной улыбки и начинает бледнеть. А потом в мягких и теплых, как лень, глазах ее проступил желтым облаком ужас, и она вскрикнула. Он подскочил к ней как раз вовремя, чтобы успеть ухватить за талию и не позволить ей упасть, когда тело ее затрепетало в его руках и ее стошнило. Потом он помог ей сесть и вдруг увидел на раскаленном от солнца льду маленькие позолоченные монетки. Она не заметила, как он их поднял, но, едва отдышавшись, принялась испуганно шарить рукой по груди, волнуя ее грозную выпуклость и не обращая внимания на его присутствие. Он протянул ей ладонь, и она радостно смахнула монетки в свою скрюченную кисть, и тут же снова безмятежно улыбка завладела ее лицом, и он невольно отпрянул, чтобы не видеть перед собой ее довольного оскала. Пока она нежно, свободной рукой, гладила монетки и что-то невнятно мурлыкала себе под нос, он стоял, опустив голову, и косился на ее живот, размышляя: «Если это так, то я первый, кто об этом узнал, включая ее саму. Только она об этом может не узнать вовсе: Гаппо ее раньше пристрелит». Он представил себе, как, должно быть, преисполнялось благодарностью ее незрелое сердце к бельгийцам, сманившим на позолоченный блеск ее невинность, но так и не сумевшим ее одолеть брошенным в ее лоно семенем.

Наверно, думал он, она стерпела это потому, что вот так же поглаживала дешевые кругляшки на ладони одного из них, пока другой спаривался с буйволицей, полагая, что покупает женщину. А потом они, чтобы ей было легче терпеть, добавляли вторую монету и менялись местами, а она терпеливо ждала, когда они закончат истязать ее немую плоть и подарят ей эту маленькую, смешную и блестящую красоту, а она спрячет ее на своей широкой груди и понесет в свой тесный, но теплый мир. Потом они сбежали, а она по-прежнему исправно и добросовестно ходила к дороге, тщетно высматривая вдали лоснящуюся на солнце повозку, с которой несколько месяцев назад, в первую поминальную по Ханджери субботу, бледная рука чужака на виду у всего аула бросила ей чистый нездешний медяк — плату за найденную ею на берегу и поднесенную хозяину шляпу, сорванную с его головы яростью коричневого ветра, когда небо слало нам красноречивое предупреждение о грядущей беде, а наши приняли его за знак сочувствия и даже не запаслись подозрительностью, а оттого не заметили, не поняли, не связали меж собой в подступавшую опасность восторга дурочки и ухмылок тех, кто умудрился увидеть в ней женщину. А потом оскверненная плоть начала мстить Рахимат и наступать на тесный ее и счастливый мир, и наивная душа ее была принуждена искать прохлады и простора, и погнала ее наверх, к леднику, и тут она нашла меня, первого из тех, кто понял, что она беременна. Меня, думал он, опять меня, хоть я зарекся красть тогда еще, когда был несмышленым юнцом и захотел быть достойным могил. А теперь...

Нет, сказал он себе. Сперва я закончу картину.

Конечно. Он обязан был закончить ее, чтобы высказать тревогой красок если не саму правду, так хоть ощущение ее, потому как в крепости ему предстояло врать — моему отцу, человеку, которому не так давно он обещал раньше других поведать истину про Барысби и белгов и от которого сейчас был вынужден скрывать ее во имя его самого и своей свободы, решившей оградить его, отца, от греха смертоубийства (или от презрения к себе за неспособность его совершить, или от навязчивой идеи мести роду Барысби, распаляемой всякий раз, как уколёт его сердце память о том дожде — а посему гнетущей его совесть постоянной тоской, или от необходимости выбирать между плохим, очень плохим и худшим из вероятных поступков. Иными словами, Одинокий хотел оградить отца от любого самостоятельного шага в не сулившее ничего хорошего и просто порочное будущее, порочное тем уже, что побуждало отца действовать в соответствии с обычаем и собственной честью, что без крови, мести или вечной ненависти никак не примерялись к течению данной истории, как понимал ее Одинокий. Это течение и задумал приноровить к своей свободе, к сомнительному праву ее — и к безусловной ее обязанности — вмешаться в судьбу двух родов, а значит, и всего аула, чтобы предотвратить долгие годы поделенного на всех лихого, бедового будущего. И для того замыслил он спрятать моего отца от него самого, лишив его возможности выбора, а Барысби — возможности не выбирать. Ибо теперь он дарил ему год — на покаянное прощанье с землей, изорванной и искалеченной им спустя каких-нибудь полсотни дней после того, как опустили в нее тело его родителя. Одинокий дарил Барысби год, чтобы

за этот срок тот подготовился к худшему и праведнейшему из наказаний — к самоизгнанию из своей семьи, превратившись для нее в невнятное со временем, расплывчатое пятно из молчаливого прошлого, в выпавшее звено семейной цепи, в засохшую ветвь прежде гордого дерева. Одинокий дарил ему целый год, чтобы Барысби проникся до самой печенки не только виной своей, но и ответственностью за нее, которая должна была его принудить чуть ли не добровольно исчезнуть в тот самый день, когда он справит годовщину по Ханджери и отречется от родового старшинства, которое сын его, сам того не зная, унаследует теперь не от него, не от Барысби, а от покойного старика. Коротко говоря, Одинокий снабжал его этим годом, чтобы дать Барысби шанс на спасение его плутавшей в зависти и ненависти души. Только он не учел, сколько новой злобы всколыхнет в том его решение... Но об этом — позже...). Он знал, что времени у него в обрез и надо успеть до того, как доползут до крепости слухи про мельницу и пропавших вдруг чужаков, успеть до того, как мой отец сумеет связно сложить в уме их с Одиноким общие подозрения и рассказы навывавшихся в лавку аульчан, но главное — успеть прежде, чем сам он, мой отец, вернется домой и начнет распутывать клубок загадок, сопрягая вновь пущенные жернова с укрывшейся в его памяти гадюкой, что испугала в дождь его уставшую кобылу и часто с тех пор снилась ему по ночам в саманной пристройке с наброшенным на дверь замком.

Но Одинокий должен был теперь спешить еще и оттого, что прознал про мелкие монетки и зачавшую на них Рахимат, а потому в обретавшей жестокую правду картине грозным жаром явилось еще и отча-

яние, о котором вслух он не мог замолвить ни слова даже лавочнику — не то что моему отцу или беременной дурочке, которая, возмись он ей разьяснять, что с ней сделалось, все равно ничего бы не поняла, а оставшись в ауле, еще и вынудила бы собственного родителя пристрелить ее, будто дикую свинью на охоте, чтобы не плодилась на нашей земле своим позором.

Так что красть Одинокому приходилось уже не только единожды зараз и не только понарошку, но и по-настоящему, всерьез, и, дабы ее умыкнуть, он придумал вызвать поутру ее к Синей тропе, а для того ему уже ничего и изобретать не требовалось. И, полагаю, в наличии бы у него всегда сыскалась какая-нибудь пара монет, чтобы при виде их она вмиг забыла о всем том, что оставляет, уходя, за своей спиной (если она вообще что-либо когда об этом помнила, кроме ощущения постоянного и плотного уюта, только его-то она, поди, всегда с собой носила), однако он все же спустился к мельнице и повелел передать Барысби через отданного им на семь лет в рабство крутящимся жерновам сына, что ищет встречи. И когда тот пришел, он сказал ему: «Мне надобны деньги. Чем больше, тем лучше». И Барысби удивился настолько, что не сразу и ответил. «Будь ты проклят, — сказал он. — Пропади ты пропадом, а я — вместе с тобой, если не отдал им все до последнего». И Одинокий сказал: «Тогда отдай мне свое». А Барысби всплеснул руками, сплюнул и пальцем указал на мельницу: «Свое, говоришь? Все свое я им в прислужники отрядил. Какого дьявола ты еще от меня хочешь?» — «Совсем немногого. Много денег у тебя ведь отродясь не бывало. Может, коли не пожадничаешь, со временем

это тебе и зачтется...» А Барысби глядел на него и пытался понять, к чему клонит. Потом сел на корточки и начал размышлять. А когда изморился, снова сказал: «Нет. Нет у меня ничего». И Одинокий усмехнулся: «Выходит, я не ошибся. Стало быть, скарედность все ж таки громче в тебе говорит, чем кровь Ханджери. И даже громче, чем ненависть». А тот вскинул глаза и заработал желваками. А потом поднялся, развернулся на пятках и к дому пошел. И Одинокий подумал: «Теперь уж даст. Да и когда еще у него возможность появится меня купить!»

И в самом деле, поздним вечером в дверь его постучались, и, выйдя на порог, он разглядел в темноте прямую спину, мерно удалявшуюся прочь, а на ступеньке обнаружил тощий, как кожа, кошель. Он взял его в руки и негромко сказал: «Может, тебе и зачтется». Спина услышала его и чуть качнулась, оступившись, а потом скрылась во мгле, и Одинокий подумал: теперь Барысби и ненавидеть-то меня будет проще. А мне будет проще в этом ему помогать.

Так что поутру он взнуздал жеребца, скатал в трубу картину, собрал все деньги, что ночевали в доме, и выбрался к Синей тропе. «Коня я к камню там привязал, а сам вернулся, — рассказывал он мне много лет спустя. — Ее у реки выследил, а потом оставалось только вон из аула шагать, посвистывать себе тихонько и незаметно монетками сыпать. Плелась за мной все равно что овца за бараном». А уже на Тропе он снова развернул трубу и накинул картину изнанкой ей на плечи, и почти сразу, не давая ей времени разглядеть странную одежду и испугаться, посадил на коня и прыгнул в седло. «Она решила, что я хочу того же, что бельгийцы, — говорил он мне с горькой усмешкой. — А потому,

видать, на целый день пути молчаньем запаслась и только иногда косилась в недоумении взглядом, мбл, когда же я потребую свое за те монетки, что сжимала горячая ее, довольная ладонь. Глупое, наивное создание... Получеловек — полуживотное. И, точно как животное, боялась сумерек, так что мне ее связать пришлось, когда на большую дорогу выбрались, а в рот овечьей шкуры с бурки напихать. Саму ее тряпьем да попоной завернул, чтоб со встречных повозок за мертвый сверток принять можно было. Эдакий толстый, бестолковый сверток, в котором жил сперва под моими руками сдавленный крик, потом тишина, а после и вовсе блаженный, доверчивый покой, и я вдруг понял, что ее так успокоило, и даже комок к горлу подплыл, а на сердце от тоски тяжелая шишка вздулась. И ночью при свете костра глаза ее сказали мне то же самое. Глупое, жалкое создание!..» — «Она подумала...» — начал было я, но Одинокий перебил: «Да. Вот именно. Решила, что я жених ее. Ты читал когда-нибудь ласку в глазах буйволицы?.. А перед сном она рассыпала перед собой монетки и начала их делить — одну по одной, одну по одной, а когда поделила, придвинула ко мне жидкую искрящуюся кучку, мол, теперь ведь у нас все общее... И знаешь, такой стыд меня разобрал, словно кто-то за нами наблюдал, ну хоть бы та жизнь, что в ней поселилась, и со стыда и злости я опять ее скрутил, туго перетянув бечевками, и даже про кляп не забыл».

Так мне рассказывал Одинокий, и я чувствовал, что путешествие то для него превратилось в истинную пытку, ведь справляться ему приходилось не просто с женщиной или животным, а с женщиной и животным разом, да еще с той жизнью, что была

зачата в их общей глухой утробе, да еще с грузом собственного замысла, который даже для него, для Одинокого, был куда как сложен расчетами и нет-нет, а, думаю, отзывался в душе беспокойством за возможность его осуществления. Приходилось справляться ему и с сознанием совершённого воровства, выполненного покамест лишь наполовину, да так к тому же достоверно и тщательно, что похищенное им существо поверило в его корыстность и посчитало себя без пяти минут невестой щедрого жениха, пустившего ее к себе по следу целого ручья золоченых монет. Короче, приходилось справляться с тем прошлым, что отворилось ростками на нашей земле без его ведома и прямого участия, но в чем-то большом и важном — по его вине, по вине его одиночества, показавшего нашим, что это такое — неуменье проигрывать, и отравившего их завистью к своей неприличной, бесцельной удачливости, рядом с которой каждый из них — а не только мой дед или отец, много лет поставлявшие мешки в его бездонный амбар, — ощущал себя батраком, приставленным к плугу его везения.

И вот теперь он ехал в крепость, перекинув через круп своего каурого жеребца похищенное у аула тело беременной женщины, зачавшей от нашей общей беды и, стало быть, от его вины тоже, и наверняка вспоминал о том, как вот так же почти когда-то, давным-давно, воры одной с ним крови увозили из наших мест тело его безумного дяди, привязав его постромками к воловьей спине и стараясь не глядеть на мечущиеся по узлам руки. И при всем различии с происходящим ныне в том давнем бегстве отыскивал он и зерно дурной похожести:

воровство, дорога, душная попона, два тела, отлученных от разума, одно — зачавшее от чужой подлости, другое — взошедшее жирным страхом после обрушившейся сели, толстое, толстое и прожорливое, как та взбесившаяся стихия, что погубила его, Одинокого, отца и мать. Он спешил в крепость и вспоминал тех, от кого навсегда открестился, спугнув незаряженным ружьем их посланца и прокляв свою с ними похожесть перед могилами предков, полагая, что то лишь сходство ликов, но не натур иль судеб, а сейчас вдруг выходило, что он — пусть невольно и ненамеренно, но — повторяет их давний исход, даже если повторяет его не полностью и, в сущности, повторяет «наоборот». И, думаю, размышляя об этом, внушал он себе, что больше тут все же различия, что тут скорее зеркальность противоположности, нежели тень так и не расчлененной им на звенья цепи, намертво сковавшей его током крови с преступной родней.

Как бы там ни было, а настроение у него оказалось не из лучших, когда он, благополучно миновав переход и переждав несколько часов у стен крепости, въехал ночью в ее каменные пределы и пустил жеребца по скользкой темной улочке в поисках нужного дома, в котором никто из аульчан никогда до того не бывал и о котором сам он знал лишь понаслышке. Поплутав по мостовой, он увидел мутный фонарь над порогом, спешился и прислушался, вдыхая непорочными ноздрями запах уюта и греха. Попона, свесившись краями с седла, мирно спала на хребте жеребца. Улица была почти пустынна. Где-то вдали стекали в ночь голоса, но за дверьми было тихо. Он постучал. Потом постучал снова, уже решительней. Послышались легкие,

бойкие шаги. Они приблизились, остановились, что-то тихонько звякнуло, и он увидел, как в проснувшейся двери распахнулось круглым глазом смотровое отверстие. Он отступил под фонарь и подождал, пока ответят. Юный девичий голос сказал: «Нет, братец. Ваших не берем». Тогда он запустил руку в бешмет, достал деньги и протянул ладонь так, чтобы на нее падал свет. За дверью помолчали, потом он услышал вздох, невнятное бормотание и то, как где-то дальше в доме щелкнул замок. «Сейчас отопру ворота, коня оставь во дворе», — распорядился голос, и отверстие снова захлопнулось. Он повиновался и очутился в темном и чистом дворике, где плескалось под слабым ветром развешанное белье. Привязав жеребца к коновязи, он снял с него попону и двинулся в раскрытую боковую дверь. «Вот, — сказал он, опуская ношу на пол и переводя дух. — Теперь позови хозяйку».

Сказал и стал смотреть на красную портьеру, за которой исчезла девушка, и слушал грустный перебор гитары, певшей тоску посреди бодрствующего во грехе дома. Портьера дрогнула парчой, и он увидел хмурое лицо хозяйки. «Чего тебе?» — грубо спросила она — изможденная женщина, уставшая обслуживать порок. Рахимат проснулась и выпросталась из-под пыльной попоны, забежала глазами по сеням. Хозяйка скрестила руки на груди и долго не сводила взгляда с ее улыбки. На лбу ее двумя точками обозначилась суровая морщина. «Я дам тебе денег, — сказал Одинокый. — Я добуду столько, сколько ты назовешь».

Женщина щелкнула пальцами, и рядом с ней выросла та девчонка, что впустила их в дом. Она виновато теребила передник. «Управься с ними, да

поскорей, — приказала хозяйка. — Вышвырни отсюда и этого сморчка, и дурочку его, коли не хочешь, чтоб я вышвырнула тебя». — «Нет, — сказал Одинокый. — Я уйду, только она останется. Она беременна». Они посмотрели друг другу в глаза. Где-то стонала гитара. Рахимат поднялась с пола и двинулась к яркой портъере. «Не лапай», — крикнула женщина и наотмашь ударила ее по лицу. Рахимат упала на колени и завывала, растирая ладонью щеку. Гитара, всхлипнув испуганно струнами, стихла. «Она останется здесь, — повторил Одинокый. — Не то я спалю тебе дом. Я спалю тебя, твой дом и всех твоих шлюх впридачу. Я ведь сказал, что она беременна...» Хозяйка в ярости шагнула к нему, но так и не дошла. «Ах ты, поганец, — процедила она сквозь зубы. — Грязный ублюдок». — «Ты боишься, — сказал Одинокый. — Оттого и ругаешься. Это правильно, что боишься. Может, лучше заключим сделку?» — «Пошел вон!» — закричала женщина.

Одинокый нагнулся, помог Рахимат встать, потом вместе с ней обогнул хозяйку и откинул портьеру. «Пусть служанка умоет ее и даст ей поесть, — сказал он. — А мы тем временем потолкуем». — «Мерзавец, — сказала хозяйка. — Ну и мерзавец же ты». Она сделала знак, и служанка увела упирающуюся Рахимат из сеней. «Так-то лучше, — сказал Одинокый. — Успокойся. Злости в тебе все равно недостаточно».

Он пропустил ее вперед, и они вошли в большую гостиную, освещенную единственной лампой под красным абажуром с бахромой. У дальней стены сидела на диване девушка. Завидев их, она

отложила в сторону гитару и поднялась, чтобы уйти. Потом вернулась и захватила инструмент с собой.

Когда они остались наедине, он сел в кресло и попросил: «Выслушай меня, а там решишь, как быть». Он ведь умел рассказывать.

Только и хозяйка умела слушать, а потому поначалу ничего у него не выходило: она не верила. И тогда он сказал: «Ладно. Твоя взяла. Я соврал». И она сказала: «Сопляк. Ты и женщины-то еще не имел. Сопляк». А он покраснел и сказал: «Какая тебе разница, от меня или от кого другого? Платить-то я буду». А она подалась вперед, сжигая его зрачками, и повела у него перед носом пальцем: «Не-ет... Здесь платят за иное. Здесь покупают блуд. Да ведь ты и блудить-то еще не выучился...» И теперь он сделался пунцовым, словно вся краска с портьеры и абажура излилась светом на его лицо. Он чувствовал, как топчется на месте сердце. В соседней комнате тихо, как родник, вновь заиграла гитара. Он слышал музыку, и ему казалось, что музыка страдает вместе с ним. Он сказал: «Если ты не приютишь ее, ей не жить... Хочешь, я нарисую тебя? Я могу. Я нарисую тебя доброй».

Она рассмеялась. Смех у нее был неожиданно молодой и искренний, и на какое-то мгновение он и впрямь подумал, что сумел бы красками и кистью отыскать на чистом холсте ее доброту. Но тут она внезапно смолкла и больно сдавила худыми пальцами его руку: «Доброй, говоришь? Я уж и знать забыла, что это такое! Последний раз я доброй была, когда ты в люльке в тряпье лежал да молоко сосал. Помню, приютила одного в душе своей из доброты, а через месяц — другой он мне чуть голову кочергой не снес, и пока я, добренькая, кровью своей захле-

бывалась, все мои копейки скудные уволок, что я столько лет под мужицким храпом добывала. И знаешь, как я потом от доброты своей лечилась? Едва оправилась, решила отомстить. Только паршивца того встретить мне так и не довелось, но с полгода спустя ко мне на улице пес прибился. Такой же печальный да жалкий. Я и его приютила, а как немного отъелся и начал хвостом вилять, мне радуясь, я ему — полную мисочку со жратвой, и пока он лакал — доверчивый, лохматый, глупый такой пес, — все смотрела, как он смерть свою торопится до капельки слизнуть. Весь мышьяк, что для другого берегла, ему скормила... Да ты играй, чего перестала? — обернулась она к стене, а когда гитара послушно отозвалась, продолжила: — Вот тебе и сказ про мою доброту. Что стушевался? Бери да малюй! Только потом мне не забудь показать...» А Одинокий качнул головой: «Потом ты плакала. Я могу нарисовать, как ты плакала... Ты ведь плакала? А после схоронила его собственными руками где-нибудь во дворе, под цветами. А может, цветы ты так и не посадила, хоть тебе и хотелось. Наверно, ты побоялась их посадить. Ты побоялась цветов, как своей доброты. Или того, что ее не хватит, чтобы победить одолевшую тебя злобу. Или того, что не хватит на них тебя самой, того, что сердце замучит... Если хочешь, я нарисую... Но ведь ты не захочешь».

Одинокий замолчал, а она смотрела и смотрела на него — так, словно дышала глазами. Потом она встала и прошла мимо него по комнате. «Принеси таз с водой и обмой ему руки» — приказала она через стенку. Игравшая на гитаре девушка явилась спустя минуту. Через плечо у нее было перекинута вафельное полотенце. Она села на место хозяйки,

намылила себе ладони и принялась тереть ими кисти Одинокого. До сих пор друг на друга они так и не взглянули, но он чувствовал, что эти руки готовы помочь ему, готовы настолько, что стыдятся самих себя.

«Не молчи,— сказала хозяйка.— Ты ведь все слышала. Ну? Что ты об этом думаешь?» Девушка быстро пожала плечами и только ниже склонила голову. «Эх ты,— сказала хозяйка и спустя немного опять повторила: — Эх ты». Она подошла к столу, запустила пальцы в таз и вытащила из воды его руку. «Совсем мальчишка,— произнесла она, внимательно изучая его ладонь.— Даже не верится... Постели ему наверху, в угловой». Резко отброшенная ею рука упала в воду и расплескала ей на платье грязные капли, но женщина не остановилась. Она поспешно уходила из комнаты, чтобы скрыть от них свое лицо. «Дурочку пока уложишь у себя, остальное завтра решим»,— кинула она, не оглядываясь, вместо прощания. Девушка не сказала ни слова — ни ей, ни ему. Она поднявшись и передвинула стул поближе к Одинокому, потом растелила у себя на коленях полотенце и приняла в него его руки.

Он прикрыл глаза и слушал пальцами, как забывает себя прежнего, как вспоминает в сладостных потемках какую-то сокровенную тайну, вырастал из собственной плоти и словно на ощупь постигая свое единство с временем, подарившим ему эту минуту. Потом она коснулась его щеки, и он понял, что девушка смотрит теперь на него, но сам не поднял век, наслаждаясь трепетной своей незрячестью. Потом она потянула его за рукав, и он последовал за ней в сумрачный коридор, стороживший тусклой

газовой лампой с беленой стены чей-то приглушенный смех и громкие вздохи. Лестница была не освещена, и девушка обернулась, чтобы снова взять его за руку.

Они одолели пролет, скрипя ступеньками, и очутились перед длинным рядом дверей, окрашенных черной краской. У последней девушка остановилась, сняла с шеи ключ и вошла, жестом пригласив его вслед за собой. «Только не зажигай свечи, — сказал он. — И не говори, как тебя зовут». Она не спорила. Спокойно отбросила покрывало с кровати, взбила подушки и разделась — одним движением, он услышал только, как прошелестело по ее коже упавшее к ногам платье. Он снял с головы шапку и стал искать в темноте, куда бы ее положить. «Не торопись, — сказала девушка, коснувшись прохладными пальцами его пояса. — Я сделаю сама». Он лег на кровать и закрыл предплечьем вспотевший лоб. И думал о том, как много в нем силы. И о том, как легко она укрощается ее нежностью. Теперь он знал, что она красива. В том не было сомнений. Ее кожа пахла рекой, только что это за река, он никак не мог угадать, пока не обнял ее гибкие волны и не зарылся лицом в ее волосы. И только тогда он понял, что имя этой реки — вот оно, рядом, уже на его губах, и что имя это — обман, небыль, крик, боль и память, слитые воедино их жаркой борьбой. И когда он, дрожащий и распинаемый наслаждением, застонал в муке обретения себя нового, из глотки его жалобно вырвалось горестное слово: «Ла-а-ань...»

Потом они лежали рядом и ласкали друг друга, находя благодарный уют в близости едва знакомого, но родного на эту ночь существа. «Ты хороший, —

говорила девушка. — Я знаю. Ты хороший». А он молчал и гладил ее кожу, стараясь не думать про то, что это все-таки не любовь, нет, это просто похоже. «Скажи что-нибудь, — попросила она. — Все, что хочешь». А он подумал и произнес: «Ты красива. Как лань». — «Как кто?» — удивилась она. Он обнял ее и нахмурился: «Так, вырвалось... Ты красива». И, чтобы не дать ей сказать, принялся ее целовать, подчиняя это гибкое, гордое тело вновь вспыхнувшему в нем желанию.

А потом они вместе встречали утро и, по мере того, как овладевал пространством рассвет, все отдалялись, отдалялись, отстранялись и уставали друг от друга. Свет покорял темноту и покой. «Пора», — сказала девушка и выбралась из постели. Он глядел на ее белое тело, и белое тело со стороны казалось ему плотным и холодным. «Как иней поутру, — подумал он и отвернулся. — Нет, конечно, это не любовь. И даже не похоже».

Они оделись и долго, путаясь в словах и в свете, ждали, когда их призовет хозяйка. Он пил из тонкой синей чашки золотистый чай и размышлял о том, что девушка и впрямь красива, но только не той красотой, которую он мог бы изобразить на холсте. «Я не знаю даже, как тебя зовут», — вдруг сказала она. Он оторвал взгляд от чашки и ответил: «Я тоже». — «Но ведь ты и не хочешь», — возразила девушка. «Да, — сказал он. — Не хочу». Она нервно закусил губу, горько усмехнулась и сказала: «Выходит, ты больше не придешь?» — «Не знаю, — ответил он. — Где мой конь? Ему задали корм?» — «Я буду беречь ее, — сказала девушка, не обращая внимания на вопрос. — Мне стало жаль ее вчера». — «Рахимат, — сказал он. — Ра-хи-мат». — «Хо-

зьяка не возьмет с тебя денег. Ни за нее, ни за меня... Ни за то сено, что скормили твоему жеребцу. Ты ей понравился». — «Нельзя, чтобы ее увидели. Пусть прячется в доме. Лучше забудь ее имя». — «Рахимат? Хорошо, я забуду. У нее правда будет ребенок? Счастливая». — «Может быть, — сказал он. — Она не знает, что такое позор. Наверно, счастливая. Только ведь и счастливые погибают». — «Я поняла, — сказала девушка. — Никто не должен знать, что она здесь». Голос хозяйки прервал их разговор. Одинокый отставил чашку и спустился вниз.

«Ты возмужал, — сказала женщина, когда он вошел в гостиную, и улыбнулась. — Присядь». Она указала на кресло. Он огляделся. Комната сильно изменилась с минувшей ночи. Теперь она казалась блеклой и уставшей, как само утро в этом доме. «Хочешь с ней попрощаться?» — спросила хозяйка. «Нет, — ответил он. — Она уж и не помнит, поди, с кем сюда приехала». — «Перебирает бусы на моем столике, — сказала женщина. — Вот уже два часа. И совсем не утомилась». — «Да, — сказал он. — Она выносливая». — «Смешно, — сказала хозяйка, и на глазах ее выступила влага. — Никогда б не поверила, что способна на это». — «Я рад, — сказал он. — В самом деле, я рад, что ты на это способна. И очень голоден». — «И у тебя слипаются глаза... Куда-нибудь спешишь?» — «Нет, — сказал он. — Пока нет. Я могу уйти и позже. Будет лучше, если я уйду позже». — «Поедешь домой?» — «Не сразу, — ответил он. — Сперва мне надобно обмануть одного человека». — «Ого! Успел нажать здесь врага? — спросила она. — Лихо!» — «Скорее друга, — поправил он. — Я должен обмануть своего друга». —

«Что ж, — сказала женщина. — К этому и впрямь стоит подготовиться... Сейчас принесут завтрак, я распоряжусь». — «Спасибо, — поблагодарил он. — А потом я посплю, ладно? Просто посплю» Хозяйка улыбнулась, наклонилась и взъерошила ему волосы. «Ну конечно, — сказала она. — Ты ведь гость. Гость, а не клиент».

Она ушла. Через несколько минут появилась прислужница и поставила перед ним поднос с едой. Он намазал хлеб маслом, полил его сверху прозрачным медом и жадно съел. Потом плеснул молока в стакан и с удовольствием пил его, ощущая, как просится в желудок сытое тепло. Наевшись, он направился по коридору к лестнице и поднялся в ту комнату, где всю ночь до того купался в нежной темноте и повторял запретное имя. Он постучал, но никто не отозвался. Тогда он распахнул дверь, убедился, что в комнате пусто, и, не раздеваясь, плюхнулся на прибранную кровать.

Было уже далеко за полночь, когда его разбудила хозяйка. Перед тем, как с ним попрощаться, она спросила: «Когда тебя ждать? Нам ждать тебя?» Он подумал и сказал: «Вам?.. Да. Ждите. Возьми это». Он сунул ей в ладонь тощий кошель с монетами. Хозяйка отдернула руки за спину и зло встрепенулась: «Ты посмел!.. Свои жалкие гроши!.. Глупец!» — «Нет, — сказал он. — Не глупец. По крайней мере, уже не настолько глуп, чтобы покупать твою доброту. И знаю, что она не меняется на медяки и не продается. Но деньги возьми. Они ее. Ее, а не твои. А потом станут деньгами ее ребенка». Она нехотя взяла кошелек, и он решительно двинулся к выходу, но вдруг услышал: «Пожалуй, тебе лучше уйти с черного хода, как ты и вошел. Я права?» Он кивнул.

«Служанка тебя проводит, — сказала хозяйка. — Прощай, гость...» Они улыбнулись друг другу, и он подумал: может статься, я ее нарисую. Наверно, я нарисую ее старой и изморенной, а во взгляде ее будет жить светлый и чистый луч. Но теперь мне нужно расстаться вот с этой картиной. Все зависит от того, как я с ней расстанусь. Может, другой уже и не будет.

Он ступил во двор, оседлал жеребца, выбрался с ним через задний двор к дубовой калитке в боковом мощеном заборе, подождал, пока служанка отойдет от ворот, и выехал на небольшую грязноватую улочку. Оттуда он направился к дому лавочника...

С тех пор, как он украл Рахимат, прошло три дня. К вечеру первого из них Гаппо, растревоженный ее отсутствием, которое он ощутил сперва разве что по беспокойному чувству голода, потом — по пустому казанку, вот уже целые сутки как отмытому от последних запахов последнего обеда, что в нем варился, потом — по гулкой, умной тишине, скрывавшей от него какую-то беду, потом — по страху оттого, что вдруг нарушился обычный ход вещей, поругано непререкаемое правило обряда, соблюдаемого ими обоими никак не меньше двух десятков лет и, может быть, единственного, не считая еженедельного обряда стирки, что позволяло ему дважды в день — на завтрак и на ужин — чувствовать себя настоящим отцом, а ее — настоящей дочерью, — растревоженный дикой, непостижимой мыслью о том, что Рахимат все нет (нет с самого утра, внезапно понял он, с того мгновения, как она, убравшись по дому, отправилась глядеть на речку), Гаппо, запыхавшись и преодолев подъем, ворвался на нихас и рухнул на каменную скамью, где сидели

уже мой дед, Агуз и слепой Сослан. «Рахимат, — захрипел Гаппо горлом и выпучил глаза. — Ее нет!...»

За поиски принялись сразу. Тут выяснилось, что поутру и вправду видели ее у реки, а вот куда она делась после — не знал никто. На всякий случай обшарили весь берег. Из-за наступившей темноты решили перенести назавтра поход юношей в горы, куда Рахимат любила взбираться, чтобы поделиться с ними своей неразговорчивой и неуклюжей радостью. Однако и следующий день не принес результатов, и тогда дед мой, возвращаясь вечером с нихаса, пробормотал, обращаясь к идущему рядом Дахцыко: «Про нее даже не скажешь: отмучилась. Отмучилась — это не про нее». — «Да, пожалуй, — сказал Дахцыко. — Наверно, смерть для нее — это лишь продолжение воды, за которой она следила. Она любила за ней следить, вот вода ее и позвала...» — «А для Гаппо? — они помолчали, потом дед произнес: — Бедный Гаппо». — «Да, — отозвался Дыхцыко. — Про него так сказать можно. Как-никак он ей отцом был».

В общем, все наши в глубине души к тому времени уж и не сомневались, что она мертва, и только для приличия делали вид, что верят в поиски. Промеж собой же больше говорили не о ней, а о Гаппо, который в считанные сутки изменился настолько, что уже вряд ли кто, увидав впервые, окрестил бы его Сухоруким: сухорукость его сделалась враз словно бы незаметной и даже совсем какой-то неважной. Куда важнее и примечательнее был теперь его взгляд — жутко выпученные серые глаза, раз и навсегда, казалось, удивленные тем, кому еще, кроме него самого, могла понадобиться жизнь создания,

по недоброй прихоти судьбы нареченного его дочерью и тридцать лет вынуждавшего его, отца, с этим мириться. Неужто жизнь ее понадобилась Богу? Гаппо был слишком стар, чтобы принять это без удивления: не в такого Бога он веровал, не таким он Его представлял.

Много говорили и о Сослане, а дед мой и вовсе сердился: «Совсем сдурел, — жаловался он моему дяде. — Все твердит и твердит о какой-то спрятанной крови, что она бедой, мол, к нам воротится. Ничего не понять. Людей бы постыдился... Тьфу!» — плевался он, обижаясь на слепца не так за путанные прорицания, как за его молодость: был тот моложе дела лет на двадцать как пить дать, это вот нашего старика и злило больше всего: разве смеет вчерашний мальчишка провидеть да предсказывать, когда сам, словно гриб, в бельмах и даже годами еще в пророки не вышел! Да только Сослан упорно стоял на своем: «Спрятанная кровь бедой вызревает, — вещал он на нихасе, многозначительно подняв кверху палец и будто прислушиваясь к собственной слепоте («Знаешь, — признался как-то мне дядя много-много лет спустя, — когда мы глядели на него в такие минуты, нам чудилось, что вроде и не слеп он вовсе, что вроде бы просто зрачки внутрь себя обернул...»). — Великую боль примет в себя от нее земля наша и от боли той дрожать и колотиться кусками будет... Попомните мои слова!» А дед мой бесился от ярости и первое время все говорил: «Это у него от полнолуния. Оно из раненых мозгов весь гной высасывает. Видать, дочь свою вспомнил, вот рану и разбередил, а мы теперь сиди и слушай его бредни...»

Конечно, сердился не только он. Серчали на Со-

слана и другие старики: кто его знает, рассуждали они наедине со своими сомнениями, что́ там он видит в своей темноте... Смущало их не на шутку и то, что прежде он, Сослан, дара ясновидца не обнаруживал и не посягал на их будущее страшными словами, а потому судить о достоверности его предсказаний они не могли вовсе: опытом еще не сподобились.

Короче говоря, исчезновение Рахимат стало событием, превзошедшим по значению само себя теми последствиями, что оно повлекло. Едва прослышав про случившееся и тут же решив про себя, что дурочку Гаппо река прибрала, аульчане, искренне ему сочувствуя, вместе с тем и думать не думали, что нагрянувшая в дом калеки-вдовца беда столь сильно отразится на их собственном существовании и заставит их вдруг ощутить неприятное, рыхлое чувство тревоги за свой завтрашний день, тем более что необъяснимым образом изменились, казалось, самые основы их будничной жизни: изменился нихас, на котором по-прежнему собирались будто бы те же люди в то же время для тех же разговоров, что и раньше. Однако по меньшей мере двое из них — Гаппо и Сослан — воспринимались теперь остальными словно неизвестно откуда взявшиеся непрошенные чужаки, первый из которых, обалдев от пропажи слабоумной грудастой дочери — о ком за тридцать лет он так и не понял, любит ее, ненавидит или просто стыдится, — пучил на них рыбы глаза, о которые всякий раз спотыкались их слова, стопоря любую беседу; а второй, ослепнув пару лет назад от того, что лицом к лицу столкнулся с гибелью той, что тоже была ему дочкой и о которой не только сам он, но и другие знали, что он ее боготворит и лелеет

— да так, что сердцу ее стало тесно в его любви и оно устремилось ввысь, к самому небу, но и тогда, когда она сорвалась с утеса у него на глазах, он лишь ослеп, освятив свое горе благородным страданием, — ослеп, но не лишился достоинства разума, как с ним, полагали промеж себя наши, случилось сейчас, когда пропала из аула великовозрастная глупышка, о которой он, Сослан, до того никогда по собственной воле не вспоминал и не заговаривал, а тут — связал с ней вдруг свою заговорившую внезапно темноту, постигшую (верно, нет ли — о том нашим оставалось лишь гадать) сквозь глубь повернутых в себя зрачков угрозу нашему будущему.

Да, нихас теперь уж был не тот, хотя и прежде случалось ему видеть всякое: горе и смерть, подлость и счастье, глупость и покой. Но никогда уже отныне не быть ему безусловно священным и гордым пристанищем мудрого, терпимого согласия, прибежищем последней надежды для слабых или жертвенным камнем, на который сильные возложат плоды своей щедрости. Никогда ему не стать уже прежним залогом общности — и даже залогом общих ошибок, за которые и расплачиваться всем нужно беспрекословно и сообща. Никогда уже ему не быть легкомысленным и смешным, не кормить веселым сердцем памяти о юной беззаботности, не совершать отчаянных проказ и не гореть азартом, а после — никогда уже за это не стыдиться перед древней своей степенностью и преклонными годами тех, кто сюда, на него, допущен. Никогда более ему уже не избавиться от тоски за свершившийся раскол и от предчувствия, что за раскол этот еще предстоит

им держать суровый ответ. И не избавиться нихасу от влажной тени напороченной здесь беды.

«Когда я следил в те дни за твоим дедом, — рассказывал мне дядя, посильно заполняя воспоминаниями образовавшийся пропуск в восемь лет, что отсутствовал в ауле мой отец, — когда я глядел за тем, как он понуро сидит на нихасе, постарев на целую лишнюю старость, доставшуюся почему-то ему — вместо рассорившегося с возрастом Гаппо; когда я наблюдал за твоим дедом и его бесполезным, все равно что бурые морщины на челе, несогласием со своим уделом, с тягостными, вымученными речами, что там велись, с огромным солнцем, пятном нависшим над головой и кислой желтизной дразнящим ему глаза, с самим воздухом, что соединил их на нихасе некогда славным обычаем, а теперь вот угнетал и распирал им недомолвками грудь, — когда я глядел на него, — повторял дядя, — у меня было такое чувство, будто «спрятанная кровь», о которой распинался Сослан, укрыта теми же щербатыми камнями, на которых они там сидят... Знаешь, — говаривал дядя, — они были похожи на людей, потерявших что-то очень важное, какой-то сокровенный запах... Да, по-моему это и был запах. Лучше всего назвать его запахом вечности. Ты понимаешь, о чем я говорю?» И, пожалуй, я его понимал. А он объяснял дальше: «Наверно, можно и точнее растолковать, да ведь я в таких делах не мастак. Думаю только, что было это для них настоящей мукой — сидеть под небом и не слышать затылком его синего плотного взгляда. Будто нихас был теперь осквернен — но как, когда и чем, никто из них не ведал». — «Погоди, — встревал я. — Погоди, ты забыл об Одинокое...» — «Нет, — отве-

чал дядя. — Никого я не забыл. Он, конечно, тоже там был. И знал, конечно, больше кого другого. Да только было ему оттого не легче. Он ведь не мог не заметить пучеглазья Гаппо. И не мог не слышать пророчества Сослава... Тут-то надобно тебе особо рассказать о том, как он их слушал... Он их не слушал, он им внимал! И относился к ним куда серьезнее, чем можно было от него ожидать, а потому дед твой злился горячее даже, чем вслух о том говорил. Как-никак, а он, пожалуй, лучше всех остальных помнил, что Одинокий удачей меченный, а значит, против него идти — все равно что лбом верстак чесать. Но, сдается мне, было здесь и кое-что еще, сбивавшее старика с толку: не само лишь внимание Одинокого к бредовым речам Сослана, а и то, как это внимание отражалось на его, Одинокого, облике». — «И как же? — спрашивал я. — Как это оно на нем отражалось?» — «Хм, — пожимал плечами дядя. — Черт его знает... Но то, что отражалось, — точно. Просто я объяснить не умею... Хотя... — сказал он как-то раз, впервые сделав попытку открыть словами не только мне, но и себе суть мерцающего перед глазами со времен его молодости образа: — Почему-то сейчас на языке у меня вертится «оскудел». Это об Одиноком. Вот именно, так оно на нем и отражалось. Точно. Он будто бы скудел, постепенно, но неуклонно терял силу в наших глазах. К нему даже и относиться стали иначе. Самую малость, но — иначе. Нет-нет, конечно, его по-прежнему не любили, только не любили уже больше как человека, а не уродливое чудище, выросшее когда-то ценой воровства из обычного сопливого мальчишки и на долгие годы нарушившее наш мир и покой». — «Чудище, — сказал я. — Ага.

Стало быть, чудище отошало и очеловечилось». — «Похоже, что да, — ответил дядя. — Не забывай, однако, что я, к примеру, лишь сейчас это понял. За других же вовсе не поручусь». И тогда я спросил: «А было ли оно и вправду уродом, то чудище?» — «Э-э, — неодобрительно взглянул он на меня, словно я оказался глупее, чем он думал. — Это и по сей день никому не известно. И уж не знаю, будет ли известно когда потом...»

На том наша беседа и закончилась, а я размышлял: зачем Одинокому понадобилось верить в предсказание? Я долго не находил ответа. Я думал над этим так упорно, что натер на мозгах мозоль, я чувствовал, как она растет, набухая, под черепом и нудно, противно свербит. А потом ее прорвало, и я вдруг понял: он ждал расплаты.

Одинокий ожидал расплаты. Сперва он сделался свободным, потом свобода его покорила, превратила в своего раба, приказала ему вмешаться в нашу жизнь и спорить с уготованной аулу судьбой, потом он надорвался от свободы, превратившейся для него постепенно в какую-то дурную, невольную, порочную необходимость, и едва уже сносил ее охоту во времени, за временем, но чаще — на само время и против него. Он просто чувствовал, что должен быть конец, и уже успел натворить на пару со своей свободой столько, что конец этот вполне мог оказаться расплатой. И потом, он ведь больше других имел оснований догадываться, что это такое — «спрятанная кровь», и даже знал, где она может быть спрятана, — если, конечно, о смысле этих слов он догадывался верно. Только наверняка-то он покуда не знал, о какой все же крови идет речь: о той, пролития которой пытался он избежать (и здесь бы-

ло два ответа: Рахимат и Барысби), о той, что уже пролилась (ответов здесь было тоже два: Сослановой дочери и помощника лавочника, а почему и их кровь «спрятанная» — так это потому, что истину о ней он так до сих пор никому полностью и не открыл), или о той, что еще прольется (тут сосчитать возможные решения не в состоянии был никто). А может, предсказание было еще хитрее и указывало разом на кровь уже пролитую и еще нет, спрятанную в земле и на земле, назначенную на будущее и забытую в прошлом. А может, было оно хитрее и коварнее настолько, что имело в виду кого-то одного, ну хоть его самого? Ибо что, в сущности, означает «спрятанная кровь»? Спасенную жизнь или отсроченную месть? А может, отсроченную месть за чью-то спасенную жизнь? Или, может, это только спасенная отсрочкой месть?

Как бы то ни было, а в Сослановых словах заинтересовал его привкус грядущей расплаты. Да и дядя мой, опять же, не случайно тогда про утраченные запахи упомянул: говорил-то он обо всех скопом, включая Одинокого! Выходит, и тот его растерял — запах вечности. Только, думаю, в отличие от остальных, его обоняние было куда острее, потому-то в странных пророчествах Сослана оно и учуяло смысл, и смысл этот свело к предстоящей расплате за его, Одинокого, деяния. Ну а что такое настоящая расплата, как не посланье из вечности? Стало быть, если он и утратил ее запах, то по крайней мере умел слушать брошенное ею в суету мудрое эхо, и эхо это его насторожило. «Оскудел», пояснил мне дядя. Теперь-то я понимал, что «оскудел» он своей уверенностью, своей незаботой о том, что может и проиграть. Да

и как иначе, если отныне он жил со знаменьем, посланным ему отвернувшейся от нихаса вечностью, которая настойчивым и тревожным эхом грозила предъявить ему счет!.. Он осознал вдруг, что ему брошен вызов, и решил этот вызов принять, невзирая на силу, опыт и искушенность противника. В общем-то, размышлял я, то был единственный способ сразиться с вечностью и судьбой. Все другое было попросту бегством. А на бегство он был не способен больше еще, нежели на поражение.

И потому сейчас, украв Рахимат, отвезя ее в крепость, спрятав от смерти в публичном доме, где только и можно было ее оградить от глаз аульчан, ни у кого из которых не хватит ни денег, ни смелости, чтобы проникнуть в стены таинственного здания, обслуживающего грех, откуда сам он только что вернулся, впервые познав там женщину и вкусив из густой ночи пряной ее красоты, а потом, обманув друга, крал вторично за неполные трое суток, выехал на рассвете из крепости и сунул ворованное добро в первый попавшийся по дороге можжевельный куст, чтобы через год, когда враг его друга уйдет из аула (и уйдет живым, позволив моему отцу не стать убийцей), у его друга нашлось доказательство его неворовства, а у истории — доказательство ее искренности; сейчас, когда Одинокый, сплетя узлом разноцветные нити чужих жизней, возвратился домой, взошел на нихас и услышал пророчество, сначала он воспринял его как свидетельство важности спасаемой им истории и испытал своего рода гордость за то, что пророчество обещало ему в отместку за содеянное страдания да худой

конец. Но тут же вспоминал, что говорило оно устами слепого Сослана о нашей земле и ожидающей ее страшной участи, и ему делалось крепко не по себе. Наверно, он утешал свою совесть тем, что и пророчества не полностью сбываются или что частенько неверно понимаются внимающими им простыми смертными.

Так ли, иначе ли, а к могилам по ночам он стал ходить чаще прежнего. «Искал в них тишины для сердца,— говорил мне дядя.— На сердце у него сильно беспокойно было. Даже мне заметно стало, хоть я на такие вещи тогда еще особого внимания не обращал. В то время другое всех нас занимало, говорить — и то стыдно...» Да, подумал я, припоминая: клопы.

Они напали внезапно, заполонив весь аул и превратив его в один большой и душный клоповник. По утрам наши просыпались от шороха раздавленной спинами бурой шелухи, а на постели у каждого алыми разводами подсыхала липкая карта очередной ночи, испившей их крови из искусанных тел. Клопов изводили дымом, сжигали матрицы и циновки, обкуривали стены и углы, но все было тщетно. Днями напролет женщины выпаривали над огнем постиранное белье, а их мужья, лениво поводя саднящими лопатками, хмуро следили за бледными, зевающими детьми. А когда опять наступала ночь, под черной пятой ее вновь угодливо растекалась теплой гадостью живая, копошащаяся подстилка. Она лопалась под шагами мелкими, жадными пузырьками и мгновенно обрастала сотнями новых подвижных узелков...

Так продолжалось с месяц. И только в доме у Одинокого их не было. «Мы узнали об этом от тетки

Дахцыко, которая его выходила,— рассказывал дядя.— Поначалу, когда увидели, как он у моста лежит, старики лишь презрительно сплюнули, порешив, что он снова араку хлестать взялся. Велели молодым в хадзар его отнести и дать проспаться. Тут-то, на ощупь, и поняли, что ничуть он не пьян, а в лихорадке горит. Тогда и послали за дряхлой тетушкой Дахцыко. Лет ей было чуть меньше тысячи, а памяти осталось ровно с кукиш, зато в болезнях толк знала больше кого другого. Стоило ей подойти к изголовью страдающего, пошептаться с полчаса неразборчивой скороговоркой с его хворью, как она, удовлетворенно кивнув, открывала вылинявшие в желтизну глаза и наказывала подручным поднести ей то-то и то-то, а потом, прогнав всех из комнаты, самолично варила снадобье.

Но иногда, бывало, Анисса — так ее звали — застывала перед больным с обиженной гримасой и не произносила ни слова, с отвращением вдыхая витавший по помещению дух уже поселившейся в нем и только скрытничавшей покуда смерти, чтобы после, брезгливо поведя головой и тряхнув ладонями, будто скидывая паутину, безмолвно уйти, сердито горбясь и шаркая ногами. Она ни разу не ошиблась, а потому к ее услугам прибегали далеко не всегда и совсем неохотно — из боязни вместо заговоров навлечь приговор и дожидаться его осуществления — когда дни, когда недели, а когда и месяцы — в тесноте опутавшей дом невидимой, но прочной паутины.

К Одинокому же кликнули ее сразу (оттого ли, что некому было опасаться ее возможного красноречивого молчания или просто по той причине, что

больше к нему на помощь и звать-то было некого, — судить не берусь). И, может, спасли ему тем самым жизнь, о которой не очень-то и пеклись. А когда Анисса приструнила его лихорадку и он оправился, исчезли вдруг и все клопы из нашего аула. Такие вот чудеса.

А потом, едва мы пришли в себя и вновь обрели способность оглядываться, я увидел со двора, как Одинокый сидит на своем пороге, стиснув под мышками скрещенные руки и опустив голову чуть ли не до самых колен. Сидит и смотрит куда-то вперед. А со стороны видно, что ничего он там не различает, кроме дали дальней да окутавшего ее тумана. Видно мне, что туман ему глаза разъедает, и заметно еще, что ему вроде как зябко, хоть день стоит ясный и молодой. И помню, показалось мне, что никогда еще он так вот, скрючившись, не сидел и не смотрел с тревогой в ясный день», — рассказывал дядя, а я думал: выходит, в тот ясный день он узнал о гибели лавочника. В тот безмятежный для аула день он размышлял над тем, что делать дальше. А потом решил бороться и поехал в крепость, чтобы разведать дату суда. Там он задержался на целую неделю, пытаясь установить, где покойный лавочник схоронил краденый мешок с утварью. Только женщина с синими глазами наотрез отказалась ему помогать, и каждый вечер после встречи с ней он отправлялся в дом, где прятал вторую кровь. Он напивался до свирепого гула в ушах, выбирал себе девушку (каждый раз — новую) и покупал ее на всю ночь, чтобы пережить с ней холод темноты. Ту, с которой был впервые, он не заказывал больше никогда. Я думаю, что так оно и было.

Думаю, что когда он снова постучал в дверь под

красным фонарем и увидел хозяйку, а она улыбнулась ему, сказав: «Входи, гость», он ответил: «Нет. Не гость. Только деньги будут завтра». А она поглубже заглянула в его широкие зрачки и спросила: «Что, тебе так плохо? Сейчас я пошлю за...» — «Нет! — вскричал он. — Ее не надо. Дай мне другую. Я подожду, пока освободится кто другая, а ее — не надо, не зови. Ее я не смогу купить». — «А это обязательно? — снова спросила хозяйка. — Тебе обязательно покупать?» — «Да, — сказал он. — Но деньги будут завтра...»

А на следующий день, проснувшись к обеду с раскалывающейся головой и потребовав рюмку водки, он опять поехал в больницу к обгоревшей любовнице лавочника, но сегодня его к ней даже не пустили. Оттуда он направился в воинскую часть, вызвал «кого из главных» и, почти не торгуясь, уступил ему своего жеребца. Потом пешком пошел в трактир и выпил там столько водки, сколько было необходимо для того, чтобы приблизился вечер и можно было обратно идти в публичный дом. Воротившись туда, он вытащил из-за пазухи мятые ассигнации, разделил их на две неравные половины, бóльшую из которых протянул хозяйке, и поинтересовался: «Пощупай и скажи, сколько здесь ночей?» Она взглянула на деньги и угрюмо спросила: «Где твой конь?» Он отмахнулся пьяной рукой и сказал: «Служит царю и отечеству... Да ну его!.. Так сколько там всего ночей?» — «Мало, — сказала она. — Другие тоже отдай». Он удивился, но возражать не стал, протянул ей вторую пачку и чуть раздраженно спросил: «Ну?» — «Хватит на неделю, — ответила женщина. — Лишь бы тебя на неделю хватило». —

«Не бойся,— ухмыльнулся он.— Если что, сдачу кланчить не буду».

А когда егохватило еще на один вечер, хозяйка пригласила его на завтрак и сказала, пристально глядя ему в глаза: «За эти два дня ты ни разу не справился о Рахимат. Почему?» Он как-то сразу сник и, помолчав, ответил: «Сам не знаю... Она... выросла?» Голос был низкий и робкий, словно сплюснутый виной. «Конечно,— сказала хозяйка.— Она беременна. А у беременных растет живот. Иногда это происходит очень быстро. Особенно в таких заведениях, как наше. Ты ведь потому ее сюда и привел. Считал, что здесь ей ничего не грозит, здесь, мол, бережно отнесутся к той, кому суждено стать матерью. Я права?» Он кивнул. «А теперь ты не желаешь ее видеть. Почему? — настаивала хозяйка.— Тебе что же, стыдно? Стыдно за нее или за себя? Я хочу знать». — «За себя,— сказал он.— И за нее. Пожалуй, что за обоих». — «Вот оно что,— сказала женщина.— Тебе стыдно взглянуть ей в лицо, потому что глаза ее остались невинны, а твои — нет. Потому что она грешила даже не ведая о том, а ты грессишь сознательно, хоть и на пьяную голову. Тебе стыдно покупать на ночь девчонок, но получать их бесплатно тебе еще стыднее, и вот за это-то тебе стыднее всего прочего — что вынужден выбирать из двух стыдов меньший, лишь бы не остаться наедине с собой в чужом городе... Где твой друг? Ответь, не молчи. Разве ты не устал от молчания? Ты молчишь о Рахимат, молчишь о себе, молчишь об обманутом друге... Так что с ним?»

Он обхватил руками голову и сидел перед ней, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Наконец он произнес: «Я упрятал его в острог. Иначе

нельзя было. Иначе бы он убил человека. А если бы не убил, никогда бы потом себе того не простил. Теперь он в тюрьме, только больше ни о чем не выпрашивай. Пожалуйста. Я не готов. А Рахимат я увижу. Ты покажешь мне ее в последний день. Ладно?» — «Хорошо,— согласилась она.— Сейчас поешь и отдохни». — «Сначала я уйду,— возразил Одинокый.— Мне нужно по делам».

Он ходил к любовнице лавочника в больницу каждое утро, и каждое утро заканчивалось ничем. Но теперь ему и выпить-то было не на что, а на душе было так погано, что ноги сами несли его к берегу реки, где он стоял, часами глядя на бешеную воду и размышляя о том, как было бы это славно и просто — сдаться и уйти, шагнув в поток. Однажды среди бела дня он подрался с ядреным торговцем, катившим тележку мимо его забывшейся и очарованной бурной рекой тишины и матерно обругавшим его за то, что не услышал окрика и не посторонился. Одинокый накинудся на него с такой дикой злобой, что тот не сразу вспомнил свою силу и какое-то мгновение с раскрытым ртом и повисшими руками сносил от него побои, пока не разъярился сам. Кулаки у торговца были тяжелые и крутые, как чугунные болванки, что валялись на заднем дворе завода, куда Одинокый забрел как-то раз, выбираясь из крепостного тупика. Торговец пыхтел, бил размахисто и плотно, сокрушая его на землю и с выставленными кулаками ожидая, когда Одинокый снова встанет на ноги. А когда тот не смог подняться с пыльной еще несколько минут назад, а теперь грязной и влажной земли, торговец, покосившись глазом в образовавшуюся вокруг и довольную зрелищем толпу, скатал вниз рукава на потной рубахе, взялся за тележку и

сказал смущенным баском: «А ну, посторонись, бо-сатва... Дай проехать сильному человеку. А паре-нек-то — ничего, крепкий упрямец. Жалко будет, если помрет...»

Но он, конечно, не умер. Когда двое рабочих поднесли его в сумерках к крыльцу, хозяйка сунула им по пятаку, приказала служанке умыть его и уложить в постель, а потом подошла к кровати сама и озадаченно наблюдала за блуждающей во сне по его губам чистой, счастливой улыбкой. Я думаю, было так. А потом он пришел в себя, и она, наверно, сказала: «Ты был похож на выздоравливающего ребенка. В лице твоём не было боли. Оно разбито в кровь и очень опухло, но пока ты лежал без сознания, в нём боли не было». И он ответил: «Это оттого, что я плыл по реке. Мне чудилось, меня несет река, а я распластался на ее волнах и лечу посреди брызг и прохлады в красную теплую ночь... Скажи, сейчас уже утро?» — «Да,— ответила женщина.— Только не начинай его с плохого. Не впускай в себя боль». — «Я постараюсь,— сказал он. Потом добавил: — Помнишь, когда-то я предложил тебе писать с тебя портрет, а ты не захотела? Сегодня я рад, что так обернулось. Моя мазня приносит лишь беду». — «Жаль,— сказала женщина.— А я надеялась передумать». — «Прости,— сказал Одинокий.— Я не хотел тебя расстроить». — «Ты расстроишь меня еще больше, если позволишь боли измываться над своим лицом. Я гляжу в него, и с каждой минутой все меньше верю, что ночью оно было похоже на лицо ребенка». — «Выздоровливающего ребенка,— поправил он.— Знаешь, мне было чуть больше десяти, когда меня перестали называть мальчишкой, а на моем затылке появился пучок

седых волос. Я очень удивился, когда в первую нашу встречу ты обозвала меня сопляком». — «С тех пор ты сильно вырос, — она погладила его по голове сухой и быстрой рукой. — Я уже никогда не назову тебя сопляком». — «Мне надо идти, — сказал он. — И нужно одеться». — «Ты не сможешь». — «Помоги мне встать, — сказал он и подтянулся на локтях. — Мне нельзя терять целый день. Надо обязательно попробовать...» — «Что? — спросила она. — Что ты хочешь попробовать?» — «Да помоги же мне встать, — сказал он, скрипя зубами. Лоб его и виски покрылись бисером пота. — Пожалуйста!» Она плотно сжала губы, выпрямилась и оглядела его во весь рост. Потом подхватила его сзади за плечи и помогла ему сесть, одеться, натянуть мягкие сапоги и подняться на ноги. «Я справлюсь, — сказал он. Голова кружилась, но он знал, что это пустяки. Он справится. — Я справлюсь». — «Что ж, — сказала женщина, — справляйся. А когда опять будешь валяться в грязи и к тебе подойдут хорошие люди, лучше побыстрее вспомни, где я живу».

Он вышел за порог и заковылял к больнице. Пока он медленно двигался по улице, встречные прохожие сторонились и с любопытством оглядывались на него. Он пробирался к цели сквозь мерцающую пелену яркого света, твердя себе одни и те же слова: «Если меня к ней допустят, я скажу, что он к ней придет. Я ей пообещаю, что приведу его сам. Я скрою перед ней свою жалость и свою безразличность и обменяю свое притворство на мешок ворованной утвари. Она знает, где он лежит. По глазам ее было видно. Синь в глазах не хотела мне врать, врал только рот, а глаза признались, что ей известно».

Мне кажется, что если бы в тот день ему удалось ее навестить, он бы вынудил ее рассказать все. Ну, а коли ему этого сделать не удалось, значит, до больничной палаты он так и не добрался. Наверно, он и до больницы-то не дошел. Что-то ему помешало. Только не собственное тело: уж с ним бы он совладал, подчинив его страдания упорству духа да стону уязвленной совести. Было тут нечто иное, внезапное и ошеломляющее, как откровение, мимо которого он равнодушно проходил раньше, а теперь вдруг споткнулся о него и остановился, по-трясенный увиденным. Я думаю даже, что он увидел по пути что-то очень привычное, лениво-простое, на что не обращал внимания еще вчера, а тут вот не смог... Я думаю... Мне кажется... По правде говоря, я настолько привык себе это представлять, что почти уверен (тем более что знаю, по какой улице он поднимался к больнице, и здесь у меня все сходится): он усидел, как скоблит на свежем воздухе грек-колбасник огромным ножом копченое мясо. Я представляю себе, как Одинокий ломает шаг и замирает, оперевшись плечом в забор расположенной по соседству общественной бани, и глядит, не отворачиваясь, на то, как из-под крошек черной накипи вытравливается на свет буроватая мякоть, обнажая погибшую плоть. Должно быть, его начинает мутить, и он думает: я как тот нож. Как колбасник. А потом сквозь тошноту вспоминает, что от молнии на сочиненной им картине занялся пожаром дом лавочника. Огонь перекинулся на людей, сожрал хозяина и искалечил женщину. Я не хочу быть колбасником, думает он. Я не стану скоблить... Его тошнит, и он осторожно разворачивается на месте,

не отпуская стены. А потом я вижу, как он бредет обратно в дом терпимости.

«Какой сегодня день?» — спрашивает он у открывшей ему прислуги. Она отвечает, и Одинокый рассуждает про себя: вот и хорошо. Выходит, завтра — последний. «Послушай,— говорит он, обращаясь к служанке,— не согласилась бы ты мне малость удружить? Что-то я расхворался. А надобно сходить в крепостную больницу и передать одному человеку, что если вдруг он передумает, весточку можно послать мне сюда, к вам, но только до завтрашнего вечера. Ну как?» Она пожимает плечами, фыркает, потом кивает и протягивает ладонь за монетой. «После,— говорит он.— Я сейчас на мели». Девушка не верит, презрительно кривит губы и небрежно бросает: «Будь по-твоему. Да только нехорошо это — медяки зажимать...»

Так я себе представляю. Я знаю продолжение истории и ее конец, а потому смело восстанавливаю замазанный молчанием узор, выводя его петли и линии по жесткой канве своего с ней сродства...

На сей раз хозяйка присылает к нему в комнату сразу двух своих работниц. «Велела сказать, что это за прошлую ночь,— объясняет одна, раздеваясь.— Ты прошлой ночью бездельничал, так что сегодня трудись за двоих». А он думает: она хочет, чтобы мне стало противно, хочет, чтоб я убрался в срок. Она боится, что я свихнусь, и не желает, чтобы это случилось у нее на глазах.

А наутро, когда он остался один и глядел в пустой потолок, шепча сквозь зубы: «Она добила своего. Мне гадко и противно. Я словно шерсти объелся — так мне гадко...» — слышался стук в дверь, и слабым голосом он отозвался: «Войдите!» На пороге

появилась Рахимат. Она прошла в проем неуклюже и боком, слегка задела животом косяк и тут же испуганно подхватила снизу свое большое чрево судорожными, бойкими в страхе руками. С минуту он смотрел на нее и не находил, что сказать, потом привстал на кровати, укутался одеялом и указал ей на стул. Она поняла и покорно села, разгладив под собой складки нового русского платья. На округлившемся лице ее теснилась правильной дугой знакомая улыбка. Одинокий сглотнул слюну и хрипло произнес: «Я вижу, с тобой все в порядке...» Она вздрогнула, смежила брови, но, переведя сказанное им — не столько слова, сколько звуки — на язык своего безумия, радостно закивала, полезла за ворот и вытащила оттуда сжатый в камешек кулачок. Потом расправила пальцы, и он увидел на изогнутой ладони перламутровую коробочку. «Что это?» — спросил он. Она встала, подошла к кровати, без всякого стеснения уселась на ее край и с гордым видом сняла с коробки маленькую крышку. На дне лежала вязаная куколка в крохотной колыбели. Довольная собой, Рахимат опять надела крышку и спрятала коробку у себя на груди. Потом сложила голову на свое плечо, блаженно опустила веки, начала поглаживать себя ладонями по животу и мурлыкать под нос немую песенку. Одинокий побледнел и зашевелился в кровати. Больше всего на свете он жалел сейчас о том, что не может подняться и убежать. Рахимат никак не замечала его смятения и продолжала подвывать, раскачиваясь на краю постели, словно прирученное животное. «Только теперь ее приручила беременность, — рассказывал мне Одинокий перед тем, как уйти от нас навсегда, и у губ его черной полосой вздрагивала горькая

складка. — Не монетки, не бусы, а набравший силы плод. Я не знал еще, кто ей растолковал, что она матерью станет, и кто снабдил ее дурацкой вязаной игрушкой. Но было это жестоко, думал я. Мне казалось, что это жестоко. Все равно что морочить курицу, заставляя ее взлететь к небесам, внушив ей, что она тоже птица... Потом, правда, выяснилось, что никто ей ничего не говорил. Что все это она сама — куколка, колыбель... Только коробку у хозяйки выпросила да получила разрешение пользоваться нитками. Выходит, нутро ей все объяснило. А коли так...» — «Коли так,— продолжил я за него, когда он запнулся,— коли так, рассуждал ты, нужно ли было все это затевать? Побег, крепость, публичный дом?.. Коли ей могло нутро объяснить, уж как-нибудь она бы и сама спастись сподобилась. К примеру, догадалась бы к тому же Сослану податься и припасть к ногам его, взывая, воя о пощаде. Он бы ее уберег...» — «Да,— сказал Одинокый. Потом исправился: — Нет...— потом замотал головой и сказал: — То есть насчет Сослана — верно все. Он бы ее уберег, ведь только он из нас понимал, что такое лишиться дочери. И никакой бы Гаппо не помешал ему защитить Рахимат, а уж тем паче плод ее. Только я не о том. Иное меня тогда занимало: отчего это нутро ее молчало, пока она в ауле жила? Спроси у матери своей, и она тебе скажет... Спроси, бывает ли такое, чтобы женщина под сердцем ребенка носила, а первым про то кто-то другой прознал? Вот я о чем. Что ж такое с землей нашей приключилось, если на ней мать саму себя не слышит? Если женщина не слышит, что она мать? Стало быть, земля наша к тому была готова, чтоб не спасти ее, а без пощады погубить? Но почему?...» —

«И почему же? — просил я его, когда молчание затянулось и можно было оглохнуть от тишины. — Теперь тебе известно?» Одинокий поднял на меня глаза, и в голове моей пронеслось: такой же взгляд бывает у мертвецов, когда им опускают пальцами веки. А он с этим живет. И, пожалуй, с этим взглядом умрет. Только кто ему закроет глаза? Мне не придется закрывать ему глаза. Меня не будет рядом... И он сказал: «Может, когда-нибудь я пойму это разумом. А сердцем понял давно. Тогда еще. Достаточно было о том подумать и спросить себя — почему? В жизни часто случается, что бывает довольно лишь сыскать подходящий вопрос, чтобы сердцем на него отозваться». — «Верно, — сказал я. — Так и есть. Со мной сейчас это самое и происходит». Он одобрительно кивнул и сказал: «Ты сын своего отца». И я понял, что это похвала.

Я переждал немного и спросил: «А потом ты поехал домой, верно? После свидания с Рахимат ты поехал домой. На чем?» Он свел на переносице брови, покраснел и раздраженно ответил: «Куда же еще! Домой я поехал в тот же день, ближе к вечеру...» — «Ты не сказал — на чем? Разве то был твой прежний жеребец?» — не унимался я. Он цокнул языком и плачами, дрогнул словно собирался развести руками, но ими он так и не развел. Потом сказал: «Ладно. Выходит, напрасно я упомянул твоего отца. Ты слишком на него похож, чтобы простить мне это». И я подумал: иной раз простить невинного бывает труднее, чем если бы он оказался виновен. Иной раз невинный виновнее самой вины. И даже сам в том не виноват. А когда губится человек, такая невинность бывает горше вины сотворившего смерть пришельца. По крайней мере,

когда погибает кто-то рядом с тобой, так оно и бывает...

«Значит, она тебе раздобыла другого, — сказал я вслух. — Хозяйка раздобыла тебе нового коня, отдав за него те деньги, что выручил ты от продажи жеребца. Пожалуй, новый конь был не слишком-то резв, ведь, продавая, ты не торговался...» — «Откуда ты знаешь? — спросил он. — Об этом никто...» — «Конечно, об этом никто не проведал, — перебил его я. — Хотя в ауле наверняка заметили, что конь под тобою дурнее прежнего, да только я и это не проверял. К чему проверять, если размышляешь о ком-то столько, что выучился видеть за его спиной. Я — выучился... Итак, ты вернулся оттуда на коне, которого тебе навязала хозяйка. Быть может, она тебе его одолжила — не важно: ты знал, она не примет его обратно. Но скорее всего она тебе его подарила, а от подарка не отказываются, и потому ты обещал ей взамен подарить что-то свое, ну, скажем, картину... Ага! Стало быть, сходится. А пообещав, сел в седло и отправился в путь, и через двое суток был дома, а еще через пару дней пошел к Барысби и сказал ему, что тот сядет в острог вместо отца. Прикупит на стороне мешок скобяной утвари, явится в день суда в крепость и покается в краже, которой не совершал. Ты сказал ему, что так оно, может, даже и правильнее, коли на поверку ты крал не для моего отца, а для него, для Барысби, и, наверное, ты отвел ему какой-то срок на размышления. И спустя этот срок он согласился. Еще б не согласиться, когда деваться некуда! И, сдается мне, боялся он не столько отца моего или мести его, сколько того, что ты расскажешь все людям. И даже нет, не людям, — сыну! Довольно было тебе

обмолвиться о его проказах родному сыну, и жизнь для Барысби была бы перечеркнута презрением собственной крови, одной суровой морщинкой посреди юного чела. А когда день суда приблизился и нужно было снаряжаться в поездку, Барысби пришел к тебе с мешком утвари, и вы отправились в крепость, а там вдруг узнали, что опоздали, что не смогли рассчитать — то, к примеру, что отец мой тоже горазд до тайны докапываться, в особенно ежели видел, кто крал, и знал, что кравший украсть мог разве что ради его, отцова, блага. Не рассчитали, что мой отец мог вас и не дожждаться, особенно если б внезапно услышал знакомый звук, признал в нем слово и попросил ему то слово растолковать. Вы с Барысби не рассчитали, что есть в природе такая коварная дрянь, как случай, и что дрянь эта страсть как не любит чьих-то хитрых расчетов. Вы не рассчитали и собственной сговорчивости, а потому принялись пререкаться и ссориться, не зная, что предпринять, ибо теперь моего отца судили уже не за какую-то там мелкую сомнительную кражу, а за нападение на охранника с угрозой для его жизни и за последовавший затем побег. Вы не рассчитали, что окажетесь в дураках, один — потому, что был обманут случайностью, второй — потому, что вынужден дураку подчиняться... Только я вот чего никак не могу понять: как это ты — ты! — оставался в дураках так долго и безропотно?..»

И вот теперь Одинокий все же развел руками, многозначительно прищелкнул языком, ткнул меня пальцем в грудь и усмехнулся с горечью: «Еще бы!.. Будь все по-твоему, я бы, пожалуй, тоже того не понял. Да только дело в том, что Барысби в тот день в крепости-то и не было...» Я остолбенел. А когда

поборол дыхание, не нашел ничего лучше, как переспросить: «Не было?!» — «Угу, — подтвердил Одинокый. — Ни его, ни меня...»

Потом мы глядели друг другу в глаза. Мы глядели и глядели. Мы глядели друг другу в глаза, пока у меня не пошла голова кругом. Тогда я опустил ее и сказал: «Не разберу я что-то, умник ты, каких свет не видывал, или обычный предатель, каких свет видал сколь угодно». — «Ни тот, ни другой, — ответил он. — Просто ты не дал мне досказать, поторопился. Запыхался от спешки, как борзая, что бежала сперва по следу, а потом от радости, что такая легкая да ловкая, сбилась с него и стала плутать». И я спросил: «Где же я сбился?» А Одинокый сказал: «Там, где о мешке заговорил. За три дня до суда Барысби и вправду ко мне заявился, но никакого мешка при нем не было. О пришел без мешка, и это, конечно, меня крепко насторожило, только я решил обождать и вопросов покуда не задавать. Поболтали о том, о сем — так, разные мелочи, — а после он мне и говорит (а лицо его помню, лоснится на сухом солнце осеннем, что грязный ноготь на пальце): «Слышал, говорит, о дочке Гаппо? О той, что дурочкой уродилась да так, видать, дурочкой и помрет? Да еще, может, и родить не успеет...» А я отвернулся от него, встал спиной к лоснящемуся лбу и делал вид, что стропила в сарае разглядываю. И он сказал: «Все порешили, что она в речке утопла. Вот чудак! А мне, представь, чего-то вдруг подумалось сегодня: почему бы ей вместо того, чтоб давиться, в крепостном притоне шлюхам по хозяйству не помогать, а заодно и ублюдка своего не вынашивать? Почему бы ей прежде не забрюхатить от какого-нибудь местного рисуна, а после не спрятаться с его помощью

от родительского праведного гнева? Очень даже умно для такой дурочки — сбежать в крепость и укрыться в публичном доме, где для нее, почитай, все свои, тоже за гроши ноги раздвигают, разве что не все брюхатятся и не все дурочки. Да оно, подумалось мне, может, для нее и к лучшему: больше заботиться будут и слезно жалеть. И еще мне подумалось, что покамест чудаков наших ни в чем разубеждать не стоит. Потому что они, чудаки, враз расстроятся, вспрыгнут резво на коней и поскачут ее жизни лишать, но раньше ведь могут и молодого нашкодившего папашу пристрелить, даже если он окажется папашей ненастоящим, да только кто с этим станет разбираться, когда обида им кровью мозги захлестнет! Вот я и решил помолчать и ни с кем, кроме тебя, не делиться покудова тем, что мне сегодня надумалось. Одобряешь? А то ж не родить ей никого, убогой. А по мне — так пусть себе рожает! Я теперь и в крепость не поеду, чтоб ее не напугать. А то, глядишь, еще выкидыш накличу... Нет, честно! Мне вот на сегодня кто-то очень советовал в крепость съездить, а я возьму и дома останусь. Кто ж это был? Да ты, поди, мне и советовал! Точно! Сейчас я вспомнил. Зачем-то тебе приспичило, чтоб мы туда вместе смотались. Но теперь уж не обессудь, передумал я. Иногда нужно из милосердия себя окорачивать, верно? И ты не езжай. Ну чего ты там, спрашивается, не видел? Сиди себе дома да поменьше про дружка своего вспоминай, того, что в остроге. Ну его к лешему! Пусть себе отдыхает на казенной русской похлебке. Тем более что до сих пор никто из наших и не знает, куда он запропастился. Ты-то старику его наврал, что он в Россию на заработки

подался, ну а я твое вранье исправно берегу, порой и сам в толк не возьму, зачем оно мне нужно! Отчего-то нам с тобой одни и те же тайны милы, хоть и ненавижу я тебя здорово. Да только тебя все у нас не любят, а оттого разумнее тебе в своем хадзаре горшки сторожить и долго-долго молчать, потому как от разговоров и происходят обычно все беды и гадости. Вот ты помни про то и молчи, а начнешь небылицы рассказывать, сдается мне, неприятно им будет в них верить, пусть небылицы те смогут честностью своей любую правду заставить зардеться. Но верить в них им будет все же ой как не по сердцу, так что предпочтут они поверить во что иное. Скажем, в мои измыслицы о Рахимат, в то, что мне о ней так странно сегодня надумалось. Ты вот сейчас головой поник, в землю уставился, а до того все крышу взглядом терзал. Выходит, трудно тебе. Трудно мне возразить. И крыть тебе больше нечем. Не станешь же ты сыну моему про динамит да бельгийцев распространяться, когда я козырем в кармане публичный дом держу. Не обменяешь ты мою честь на ее: я-то для тебя куда подлее. Подлость моя у тебя поперек горла стоит. А подлость — она такая капризная стерва, что едва от тоски да страху скулить начнет, и ей уже не терпится другого оплевать», — тут он умолк, сощурил глаза и процедил сквозь плотно стянутые губы с угрозой: «Я оплую тебя снизу доверху. Сам погибну, но и вас со свету сживу. Тебя и Рахимат вместе с ее ублюдком, если, конечно, она его к тому времени родить изловчится! И вот еще что: коли сунешься за аул без ведома моего и благого соизволения — кровью себя запятнаешь, а это, насколько я разгадал, единственное, чего ты всерьез боишься!..» И

тогда, говорил Одинокый, я не стерпел и ударил. Я ударил его со всего маху по лоснящемуся лбу, словно строптивного быка, а он пошатнулся, постоял немного, растопылив пальцы, и упал на спину к моим ногам. Тогда я склонился над ним, схватил за грудки, помог подняться и ударил снова. Когда он вставал, я бил его по лоснящемуся лицу, а он падал и лежал, отплевываясь кровью, потом находил глазами опору, и этой мутной опорой для глаз его был всегда я, так что вставать приходилось ему снова и снова — слишком много в нем было ненависти, а я помогал ему выпрямиться и метил кулаком в лоснящееся пятно, которое делалось постепенно все меньше и меньше, уступая место жирной крови, и потом я бил уже только в кровь, брызгавшую мне на одежду, я молотил кулаками по его болтавшейся на весу голове, купался в его жирной крови, но был беспомощен, как крик (я слышал крик из собственной глотки, слышал, как переходит он в тягучий рыдающий всхлип), а потом я почувствовал, как кровь заливает мое лицо и капает с подбородка на черкеску, капает и капает, капает с моего подбородка мне на черкеску, а во рту у меня сладко и кисло от выпитой крови, и в крови моя одежда, и мои ноющие от боли в костяшках пальцы тоже в крови, и вдруг я понимаю, что даже не заметил, когда это Барысби стукнул меня по лицу, ведь он ни разу не замахнулся, он просто вставал под удар и не дрался, и тут я понимаю, что это я сам, и с опустившимся сердцем сознаю, что это мой нос, что кровь капает жарким ручьем из моего носа без всякого удара, и тогда я опускаюсь рядом с ним на землю и тоже, как он, ложусь на спину, чтобы унять свою кровь и ощутить забитыми ею ноздрами звонкий воздух, в

котором только что витал бедой приторный запах убийства. Мы лежим на земле плечо к плечу, и я слышу, как он дышит — словно вздох его проходит огромное расстояние от стыда к торжеству. И Барысби говорит мне, едва ворочая языком и распухшими губами: «Теперь ты понял, что мне не страшно. Наконец-то я могу тебя не бояться... Я могу долго тебя не бояться. Столько, сколько пожелаю... Ты уже никогда меня не убьешь». Он засмеялся. Он смеялся очень искренне. Кровь перестала течь из моего носа, но голова гудела и ломилась от боли. Я лежал рядом с ним на земле и не узнавал себя. Мне было тошно. Я сказал: «Ты был на волосок от смерти. На какой-то тоненький волосок». — «Не-ет, — произнес он, потянув слово за дремлющий в горле стон. — Ничуть. Я же сказал, тебе это не по силам — запятнать себя кровью. Ты можешь ею только обляпаться». И я подумал, что он прав. Этот мерзавец был прав, — признался Одинокый. — Он был настолько прав, что мне полегчало, и оттого, что мне полегчало, вдруг сделалось еще тошнее. И тогда я сказал: «Ты такой подлец, что подлее тебя есть лишь один подлец, и зовут того подлеца твоим именем, а сын твой его почитает за родного отца». — «Брось, — сказал он. — Ты же знаешь, что теперь меня этим не проймешь. Лучше подсоби подняться и умыть лицо. Ты ведь больше не собираешься его бить?» — спросил он с издевкой. А я сказал: «Ты такой подлец, что посмел меня караулить. Ты подстерег наш побег, выследил нас до самой крепости, а потом шел за нами по пятам до самой двери...» — «До двери публичного дома, — вставил он. — Я хочу умыться. И мне холодно. Помоги-ка подняться...» — «Ты

ждал там до утра, как вшивый пес, а потом ждал подходящей минуты. Ты тщательно ее выбирал. И сдержался даже тогда, когда я предложил тебе поменяться с ним местами и принять вину на себя. Ты притворился, что целиком в моих руках, а сам подло выжидал подлой минуты, когда припрешь меня своей подлостью к стенке, подло взяв в закладки жизнь беременной дуручки, которая и забеременела-то от твоей и твоих приятелей подлости...» — «Чего ты распинаешься? — досадливо поморщился он. — Ну чего ты так распинаешься? О подлости своей я же тебе первым и сказал. Да ты мне сам выхода не оставил, как подличать! Так что кончай пустую болтовню и помоги встать на ноги. Мне холодно». — «Послушай-ка, — спросил я его, — неужто ты и впрямь способен рассказать про Рахимат?» Вместо ответа он просто поинтересовался: «Сам-то как думаешь?» — «Не знаю, — сказал я. — Не уверен». — «А мне уже этого достаточно — твоей неуверенности. Не станешь ты рисковать, когда не уверен... Подними меня наконец!» Я встал и протянул ему руку. Когда я поднял его и отвел в хадзар и вылил на него целый ушат воды, он присел на скамью, отдышался и сказал: «Хорошо!.. Теперь — хорошо. Мне впервые так хорошо с тех самых пор, как ты позволил себе сунуть нос в мои дела. Да только и он не выдержал. Осопливился твой нос! Видать, здорово я его прищемил, коли он так оскандалился! Кстати, сколько тебе лет? Семнадцать? Восемнадцать?» — «Зачем тебе?» — спрашиваю. «Затем, — говорит, — что отныне каждый последующий для тебя за пять будет считаться. Так что к тридцати годам дряхлее Агуза станешь». — «Иди домой, — сказал я. — Иди туда, где почитают тебя

за старшего. Туда, где почитали когда-то за старшего твоего отца. А звали его Ханджери. Ты не забыл, кто был тебе отцом?» — «Нет, — он помрачнел. — И не забыл, что значит его стыдиться по милости везучего гаденыша, когда гаденыш возвращается в аул не на одолженной отцовою кляче, а на кауrom жеребце, и полудохлую клячу ведет к нашему двору, и швыряет ей на хребет красную попону, за которую на любом базаре денег вдвое больше отвалит, чем за саму кобылу, разодетую теперь в красный бархат, словно завернутую вместо шкуры в насмешку, а мой отец берет ее под уздцы и на виду у всего честного народа тащит к себе домой... Я не забыл и этого». И тогда я подумал и сказал ему: «Настолько не забыл, что изобрел, как от общей мельницы да общих денег пустить в работу собственные жернова? Лихо! Выгодная у тебя память». — «А с тобой разве не так? — встрепнулся он, чуть не заскрежетав зубами. — Разве не ты умудрился из общего срама сотворить собственное достоинство, которое опостылело всем раньше еще, чем ты убил своего первого медведя и принес его шкуру в аул?.. Разве не ты из унижения целого рода, бывшего твоим, сплел костер в брошенном очаге? Не ты ли был тем мальчишкой, что заставил наших старцев, всех до единого, подняться с нихаса себе навстречу и признать в тебе ровню, возведя тебя тем самым в хозяева покинутого дома? Не ты ли вынудил их в черной зависти к тебе грузить подводы камнями, чтобы обменять их в крепости на общий позор?.. Запомни: не я был первый! И, наверно, не я последний... Мне просто меньше твоего везло». — «Больше, — сказал я. — Потому что ты подлец, а я с этим должен считаться.

Я ничего не могу поделать. Сегодня я вынужден слушаться подлеца, ибо ему повезло больше. Если бы повезло мне, мы бы уже ехали в крепость... Скажи мне, что ты чувствуешь, когда смотришь на своего сына? Что ты чувствуешь, когда выслеживаешь двух людей, пытающихся спасти еще неродившегося ребенка? Что чувствуешь, когда сторожишь ночь напролет у стен публичного дома?.. Или когда валяешься в крови под ногами у врага? Что ты чувствуешь, когда губишь безвиновного? Или когда идешь на могилу отца?..» Он и не задумался перед тем, как ответить. Он выпалил мне в лицо одно-единственное слово, и вид при этом был у него такой, будто оно потому только и существует, что обращено ко мне: «Ненависть!» И я сказал себе: ну конечно! На какой еще ответ ты рассчитывал?..

Одинокий замолчал и рассеянно глядел мимо меня в сторону гор, откуда наплывал на аул из-под облаков синий плеск прозрачного неба. По его глазам я понял, что он уйдет, не дожидаясь нового дня. Для него, подумал я, новый день взойдет с другого неба. Я должен был спешить. И я сказал: «В тот раз ты проиграл. Ты проиграл впервые в жизни за три дня до даты суда». — «Нет, — возразил он. — Раньше». А я подумал и кивнул: «Первый раз был, когда он вас выследил». И Одинокий ответил: «Не знаю. Может, раньше. А может, и позже. Сейчас уж не понять. Но в тот день просчитался даже Барысби. Знай он, что с отцом твоим все уже свершилось, — ни по что б не открылся так рано. И, конечно, не отменил бы нашу поездку в крепость, не отказал себе в удовольствии поглядеть, как издевается надо мной проклятый случай, приняв его сторону. А потом бы еще пригласил меня в публичный дом.

Только и ему было невдомек, что все уже кончилось». — «Ясно, — сказал я. — Невдомек было вам обоим, но в крепость ты так и не поехал. Теперь ты не мог даже взять вину на себя, потому что Барысби не желал видеть отца на свободе, а в заложниках он держал беременность Рахимат. Теперь ты не мог пойти и к тому, кто приходился внуком покойному Ханджери, чтобы рассказать ему правду о том, кто приходился Ханджери старшим сыном, рассказать всю правду о бельгийцах и мельнице и, может, о сидевшем в остроге собственном друге, и даже о сгоревшем лавочнике, и даже о Рахимат с ее монетками, и даже о притоне, где связала она из ниток крошечную куклу. Ты не мог рассказать ему ничего, поскольку знал об этом не ты один. И выходило, что правду легче открыть тогда, когда ты единственный, кто в нее посвящен, а значит, больше некому распутывать ее узлы, и потому никто не сможет свить из них новые петли. А после вы долго и утомительно для себя торчали безвылазно в нашем ауле, и каждый день Барысби ходил на нихас проверять, не уехал ли ты самовольно, и иногда ты нарочно, чтобы его позлить, не выходил из дому, и тогда он был вынужден засылать к тебе кого-то из мальчишек, дабы удостовериться в том, что дым от твоего очага клубится из огня, поддерживаемого твоими собственными руками, а не руками кого другого, кто решил оказать тебе странную эту услугу. Так вы и жили, мучаясь ролью, которую навязала вам ваша вражда, и всякий из вас был пленником, пленившим пленника, пленившего его самого, а оттого, мерещилось вам, в плену была не только правда, но и отец мой, и оба вы, считая месяцы, ждали, когда из плена зачавшей от чужаков утробы

вызволится небравший силы плод, и гадали, к чему это подведет ваши пленные судьбы. И досчитать вам осталось совсем уже малость, но тут и дополз до аула слух про то, что мой отец осужден разом за воровство, бегство из-под стражи и нападение на тюремщика. Слух утверждал, что теперь он далеко, очень далеко — от вас и ваших тайн, и, представляя себе тот дальний край, куда его отправили в тяжелых кандалах, вы видели только широкие и толстые снега, ибо на жуткое слово «Сибирь» ваше воображение не откликалось ничем иным, кроме голого толстого снега... В тот год и у нас в горах выпало его немало. Снег обложил нашу землю белой и гладкой зимой, черневшей лишь руслом реки да разбросанными тут-там мелкими, беспокойными пятнами из плитняка да ворот. Снега выпало столько, что солнце трудилось весь март и половину апреля, чтобы растопить его влажное тело и добраться теплом до земли. Я знаю про снег. Мне дядя рассказал. Снег гнил по холмам да оврагам до конца весны. Он еще гнил, когда ты оседлал своего коня и поехал по распутице в крепость...» — «Да,— сказал Одинокий.— Я пробирался туда пять дней и четыре ночи. А к вечеру последнего снова постучал в дверь под красным фонарем...»

К вечеру пятых суток он постучался в дверь под незажженным еще фонарем и сказал встревоженной хозяйке: «Я не ел ни вчера, ни сегодня. Если ты меня сейчас не накормишь, я съем колпак с твоей лампы и запью керосином из ее железного брюха».

Пока он умывался и ел, она следила за ним с напряженной улыбкой и несколько раз срывалась с места, уходила куда-то, но очень быстро возвращалась опять. Чтобы не спрашивать о главном, он

сказал: «Я привез, что обещал. Она в хурджине. Можешь взять». Хозяйка развязала тесемки и вытащила скрученное трубкой полотно, развернула его и разложила перед собой на столе, подперев края руками. Одинокый сказал: «Этот холст самый маленький из всех, что я писал. Надеюсь, он принесет меньше зла». Она глядела на картину сухими глазами, и он оценил про себя ее самообладание. «Может, она тебе и не понравится,— сказал он, по-прежнему не спрашивая о главном.— Сперва я думал нарисовать тебя старой и уставшей с чистым лучом в теплом взгляде. Потом решил изобразить молодой и несчастной. В конце концов ты раздвоилась на моем холсте молодой старостью и несчастьем в теплом взгляде. Но там живет и чистый луч. Конечно, тебе оно может и не понравиться...» — «Мне нравится,— сказала хозяйка.— Просто это очень больно. Спасибо тебе».

Он кивнул и свернул картину, отложил ее в сторону и посмотрел женщине прямо в лицо: «Где они?» — спросил он о главном и тут же ощутил, как у него заныла шея. Хозяйка вздернула подбородок, отчего сделалась еще прямее, улыбнулась дрожью в устах и привычным ему жестом похлопала его по руке. «Сейчас ты их увидишь», — просто сказала она, и Одинокый почувствовал, как к его груди накатила бурной волной громкая радость. Вот и слава Богу, подумал он. А то я уж было решил...

Женщина вышла из гостиной. Ее не было минут пять. Потом он услышал детский плач, привстал, хотел двинуться им навстречу, но замер с растелившимся пеленой под горлом гулким сердцем. Служанка отбросила портьеру, пропуская их вперед, и Одинокый снова увидел хозяйку. На обеих

руках ее лежало по белому пухлому свертку. Она приблизилась к нему и попросила: «Только взгляни на них!..» Он робко потянул пальцами за хрупкие кружева и обнажил им лица. «Та, что плачет,— девчонка,— сказала хозяйка.— А этот большей частью молчит да ухмыляется...» Одинокий смотрел на них и думал: они так малы, что их и детьми пока что не назовешь. Они так малы, что еще и не согласились стать детьми. А глаза у них такие, словно видят тебя насквозь. Словно они глядят на тебя из того мира, откуда недавно их выбросило ее криком на этот свет. «Девочка так надрывается, будто что-то у нее отобрали,— сказал он вслух.— А малышу, видать, легче. Такого трудно обидеть... Как она их окрестила?» Хозяйка не ответила. Одинокий поднял глаза. Женщина взгляда не отвела, но все же не ответила. «Погоди,— сказал он, и в горле у него пересохло.— Где Рахимат?» Хозяйка обернулась к служанке, и та приняла от нее детей, быстро вышла из гостиной. «Она не успела,— сказала хозяйка.— Ее убили роды. Она не успела их окрестить. Окрестишь ты сам. Я ждала тебя».

Она достала из шкафа со стеклянными дверцами темную бутылку и поставила перед ним вместе с парой пузатых рюмок. «Нет — сказал он.— Не хочу». Он знал, что сейчас не поможет. Он был слишком трезв, чтобы опьянеть от бутылки спиртного. Он был настолько трезв, что долго ни о чем не мог подумать и лишь отмечал про себя какие-то дешевые, неважные мелочи: крохотную точку на скатерти (наверное, кто-то из посетителей, прикуривая папиросу, выстрелил в стол обломившейся спичечной головкой), пушистый островок пыли на бронзовом крупе лошади с настольных ча-

сов (прислуга не доглядела), синие, воздушные сумерки в присмиревшем окне (словно время, зевая, скользило мимо его беды, словно времени она давно уже наскучила), подточенный походкой каблук на хозяйкиных башмаках (ступает криво, хоть и крепко, еще и носок выворачивает), резной зеленый листик на обочине ковра (дарили цветы. Но запах уже выветрился), чей-то сдавленный, на себя обозленный кашель с верхнего этажа (боится, что не сможет сегодня работать. Хозяйки боится), просторный взлет паутиновой нити у форточки под потолком (сквозняк. Распахнута дверь на лестницу), плавный, шелковый перелив света в сочную тень на платье у женщины (вечерний наряд, тщательно подобранный, чтобы угодить чужому блюду), мокрый и холодный язычок пламени в лампе (лизет лениво прозрачную льдинку стекла)...

Мелочи заслонили от него ее лицо, но оно никуда не исчезло. Оно стояло за их фальшивой, неплотной оболочкой упрямой белизной и ждало, когда Одинокый справится со своей растерянной трезвостью и заговорит. Наконец он, перестав мерить комнату голодными шагами, остановился, отер рукавом губы и сказал: «Кто из них?» А хозяйка, уловив, о чем он, ответила: «Мальчонка. Первой девочка родилась. Он второй. Мучил ее больше двух часов. А потом появился, и она умерла. Она была такая бледная, словно лишилась всей крови. И уже не улыбалась. Сделалась совсем другой. Она была похожа на святую. Или просто на женщину. Или на мать...» И он сказал: «На *свою* мать. А по телу ее густой струей лилось теплое молоко. Я знаю. Я уже слышал однажды... Только не думал никогда, что такое повторяется. А вы стояли у изголовья и

стирали с ее тугой груди сшитыми загодя пеленками бесполезные белые ручейки. Тело ее начинало уже коченеть, а они все не унимались, и девочка, родившаяся первой, голосила навзрыд о своей уничтоженной матери, не успевшей даже ее накормить, а в это время мальчишка... Что делал в это время мальчишка?» — спросил он у хозяйки. «Улыбался,— сказала она.— Лежал себе в ногах у мертвой матери и улыбался. Ты когда-нибудь видел ухмыляющегося новорожденного?..» — «Выходит,— сказал он, запнулся, схватил ее в волнении за руки и повторил:— Выходит, он и есть истинный наследник! Ты только подумай! Унаследовать от нее не сам лишь грех невольного убийства, но и улыбку! Ну и ну!» Он снова забегал по комнате, в возбуждении продолжая бормотать непонятные для нее и страшные слова: «Выкарабкаться из чрева, выцедив прежде из него всю кровь и расправившись с собственной матерью, и, пока смерть лепит из нее святую мученицу и разглаживает ей от улыбки лицо, перенять еще и этот дикий, глупый, вечный оскал! Ты только подумай!» — вскричал он опять. Глаза его лихорадочно блестели. Когда он вновь посягнул на ее руки, хозяйка отдернула их и в раздражении перебила: «Что ты несешь? Что за грех убийства? Ты говоришь так, будто Рахимат кого-то убивала...» Он быстро закивал головой: «В том-то и штука! Он пошел по ее следам. Разница в том лишь, что мать Рахимат почилла на другой день, а он свою доконал тут же, не вкусив даже от ее налитой жизнью груди. Нет, ты не понимаешь! И ничего не знаешь про спрятанную кровь. А он... Едва родившись и едва убив, поторопился перенять ухмылку!» — «Не надо

так,— закричала в испуге хозяйка.— Ты с ума сошел! Ведь это дети!..»

Одинокий осекся, сощурился, словно вникал в смысл услышанного, потом схватился за виски и стоял, переступая с носка на пятку. Кожа на его лице горела, как ошпаренная кипятком. Потом он встряхнул головой и сказал: «Прости. Я не хотел такого оборота. Сам не знаю, что это со мной. Меня чего-то занесло. Конечно, так нельзя. Конечно, это лишь младенец. А младенец — младенец и есть. Даже когда угробил собственную мать... Причем здесь он, если он только младенец!» — «Ты опять...» — укорила его хозяйка. Он сокрушенно развернул к ней ладони и повторил: «Прости. Больше не буду». Потом в третий раз забегал по гостиной, оставиваясь — резко и неожиданно, как зверь посреди клетки — лишь затем, чтобы ударить кулаком в подставленную руку. Спустя минуту он внезапно предложил: «Мы назовем его Рахимом!.. Ну как тебе?» Она подумала и спросила: «Отец его был мусульманин?» — «Нет,— ответил Одинокий.— Но христианином он не был тоже. Он был безбожник. Отец тут вообще ни при чем. Мы окрестим его в честь матери». Хозяйка замаялась, но, поразмыслив, согласилась: «Ладно. Хоть мне и не по вкусу это имя, но...» — «Ему оно подходит»,— закончил тот за нее. «А как мы назовем девочку?»— спросила она.— «В чью честь окрестим ее?» — «Пока не знаю,— сказал он.— Девочка может и подождать... Впрочем...— он поколебался, но все-таки произнес:— Если пожелаешь, мы назовем ее Ланой». Женщина озадаченно изогнула губы, нахмурилась, потерла пальцем переносицу, потом сказала: «Это что же за Лана такая? От Светланы, что ли?» — «Вряд ли,— ответил он.—

Скорее, от утеса... Да это и не важно. Если хочешь, предложи свое». — «Рахим и Лана, — повторила хозяйка. — Чудно́ как-то. Да ведь с ними все чудно́! Лана и Рахим... Я согласна!»

На том они и порешили. А когда он наконец снова уселся в кресло, откинулся на спинку и прикрыл наполовину веки, она стала рассказывать ему про то, как хоронили Рахимат и выхаживали близнецов. Погребли ее здесь же, на заднем дворе, чтобы не привлекать внимания. Чуть только занялся рассвет, завернутое в свежие простыни тело хозяйкины девушки выволокли с черного хода и опустили в неглубокую яму, вырытую ими за ночь в промежутках между работой («Неужто и в тот вечер!..» — спросил Одинокый, и она сердито посмотрела ему в глаза: «А ты как хотел? Ты хотел, чтобы мы закрылись впервые за шестнадцать лет в погожее воскресенье, и при этом никто не поинтересовался, что там у нас стряслось? Не задавай глупых вопросов!»). Сверху ее забросали всеми цветами, что только сыскались в то утро в целом доме, потом засыпали землей и обгладили дерном. Холмик вышел небольшой и аккуратный, все равно что бугорок тихой памяти, сказала она. Но креста мы так и не поставили, сказала она. И он сказал: «Да. Конечно. Но бугорок памяти — это уже немало. Особенно для нее. Особенно в вашем дворе...»

Кормилицу для детей нашли по соседству, Цену та запросила умеренную, так что хозяйка не торговалась. Вечером она отсылала служанку на нужную улицу с тележкой для белья, где под ворохом ночных рубашек, пододеяльников и простыней лежали две корзинки с близнецами. Кормилица работала прачкой и обстирывала притон так давно, что ей

можно было довериться, тем более заплатив, помимо молока, еще и за молчание.

Ближе к обеду, когда просыпались девушки, служанка катила тележку обратно в публичный дом, где с детьми от души забавлялись те, кто зарабатывал на жизнь своей молодостью и нематеринством. Они здорово успели к ним привязаться, говорила хозяйка. «Ты сам посмотришь, они становятся похожи на...» Женщина искала сравнения. «На крестьянок, на смех или на дневной свет,— выручил ее Одинокый.— На чистый свет из окна».— «Может, и так,— сказала хозяйка.— Они словно забывают себя, ночь и то, ради чего они здесь оказались. Только вот что неприятно: пару раз одна из них крепко, до одури, напилась. Вены себе даже резала. Ты ее знаешь».— «Да,— сказал Одинокый.— Только не хочу знать ее имени...»

Днем, пока младенцы находились в притоне, кормили их капелькой меда да парным молоком. Мальчишка ел охотнее и больше и довольно ухмылялся. «Рахим,— сказал Одинокый.— Рахим и Лана...» — «Те деньги, что ты на них оставил,— я берегу их,— сказала хозяйка.— Пока нам хватает моих». А Одинокый сказал: «Похоже, им повезло больше, чем их матери. У той кормилицы не было. У нее была дряхлая бабка, сухорукий отец и угрюмая буйволица...» — «Мне кажется,— сказала тихим голосом хозяйка,— теперь она для тебя значит больше, чем раньше. Пока она была жива, ты редко о ней спрашивал. Пока она жила, ты словно старался о ней и не вспоминать...» — «Пока она была жива,— ответил Одинокый,— мне нужно было беречь ее тайну. Теперь мне нужно беречь еще и ее смерть».— «Что ты хочешь этим сказать?» — «Только то, что

ты права: теперь Рахимат для меня и впрямь значит больше. Разве так не бывает с мертвыми?» Хозяйка подумала и сказала: «Наверно, бывает. Если к тому же мало кто замечал их жизнь». — «Ее жизнь мало кто замечал. По-настоящему ее заметили, лишь когда она исчезла. Они и не поняли, почему так случилось. Да я и сам тебе того не объясню». Хозяйка и не настаивала.

На следующее утро он уехал. Ночь он провел в той же комнате, что и в первый раз, с той девушкой, что резала себе недавно вены и вот уже несколько месяцев никак не могла уговорить его услышать ее имя. А наутро он уехал — спозаранку и таясь от хозяйки, чтобы не отвечать на вопрос, который та приберегла для него на сегодня. Он увидел вчера этот вопрос в ее глазах, но не хотел, чтоб тот был задан. Слишком многое сперва ему нужно было обдумать. То, к примеру, как быть ему дальше с уговором, заключенным с Барысби, и можно ли его уже расторгнуть? И если да, то что это изменит? Он чувствовал себя как человек, долгое время просидевший на неудобной скамье с завязанными руками и заткнутым ртом, с которого только что сорвали путы и позволили говорить, но руки его онемели, язык распух от молчания и сделался непослушен, а затекшие ноги разучились ходить. Теперь у него было несколько дней пути, чтобы все тщательно взвесить и не ошибиться, когда он въедет в аул и привезет в него новую тайну. Стоило ли ей делиться? Ведь Барысби уже не держал в заложниках ни жизни Рахимат, ни ее роковой беременности. А стало быть, опять обязан был бояться его, Одинокого, мести и должен был безропотно следовать любым его приказам. Я могу заставить

его убратъся с нашей земли, размышляя Одинокій, ведя коня по скользкой и грязной дороге. Я скажу ему просто, что ее больше нет, и он поймет, что проиграл: теперь ему никак не доказать ни наше бегство, ни публичный дом. Хозяйка умна и не позволит правде открыться. Она-то знает, что это дурная, нехорошая правда. А я уже врал столько, что совру и сейчас. Но даже если Гаппо вдруг поверит ему, Барысби ничего не добьется: в младенцев не стреляют. Куда чаще стреляют в тех, кто приносит плохие вести. Должно быть, Барысби это знает. Выходит, он проиграл мне вчистую. Но что от этого выиграл я? Только то, что могу ценой гибели несчастной глупышки, обретшей разом и материнство, и смерть, и право на маленький холмик тихой о себе памяти, вынудить несчастного подлеца уйти с нашей несчастной земли, чтобы не делать несчастным своего сына? И если я пойду на это, не узаконю ли тем самым правильность заплаченной цены? Если я на это пойду, чем же я тогда буду отличаться от того, кого изгоняю? Лишь тем, что победил его ценой чьей-то гибели, чьего-то неразоблаченного позора и чьего-то двойного сиротства? Видать, это слишком мало, чтобы от него отличаться, и слишком много, чтоб на него походить...

Одинокій ехал и думал о том, что же это такое — различие, если оно так сильно смахивает на сходство? Он вспомнил, как почти год назад, сразу после дождя, в котором погребены были под камнепадом скала, мельница, конь, повозка и человек, брошенный в наши края предательством синих, как пропасть, глаз, пошел он ночью к могилам своих родных, чтобы помолчать вместе с ними о загадке добавившихся к ним в тот день смертей. Как слы-

шал спиной холод наставленного в нее сквозь крошечную тьму близкого, незримого ружья, и как ружье не сводило с него угрюмого, круглого глаза, как оно размышляло, потело в чьих-то неверных руках и не хотело стрелять, хоть ему никто не мешал, а сам он, Одинокий, еще и обернулся к нему лицом и пригрозил, что в рассвет возьмет против него свое собственное, но ружье и тут стерпело, проглотив обиду, и так и не выстрелило, потеряв в ту ночь навсегда право на его убийство, но, пожалуй, приобрело взамен нечто другое и тоже очень важное, потому что спустя несколько месяцев уже он сам, Одинокий, пытался забить до смерти того, кто это ружье держал и знал с тех самых пор, что такое не суметь убить человека, а теперь вот, обливаясь кровью, но упрямо вставая под кулаки, показывал Одинокому, каково это — не прикончить врага, когда он того заслуживает да еще и помогает тебе себя прикончить...

Пока он ехал на коне по липкой распутице в родной аул, все глубже забираясь в горы и отдаляясь от крепости, в нем зрело решение, искренне его изумлявшее, но с каждым днем все более убеждавшее его в собственной верности.

Гораздо труднее, чем с Барысби, было разобраться с близнецами. Точнее, с тем, стоит ли снабжать их родителями, и если да — то какими? О том, чтоб поведать о них всю правду аульчанам, не могло быть и речи. И не потому, что им грозили позор и проклятия: Рахимат своей смертью как будто избавила их от неизбежных иначе плевков и презрения, тут ее смерть оказалась сильнее ее греха. Но и ей не под силу заставить земляков Рахимат

смириться уже не с их, младенцев, существованием, а с их постоянным соседством, как не под силу ей было хоть когда-нибудь умолить наших стариков, мужчин и даже жен их признать в близнецах своих, принять их как своих и как своим же прямо посмотреть в глаза да вдобавок спрятать во взгляде страшное слово «ублюдок». Этого не смог бы сам Гаппо.

Но был все же и у нас один человек, который сумел бы простить им невольную вину их появления на свет, не освященного ни браком, ни любовью, ни даже страстью тех, кто их зачал на мелкие блестящие монетки. То был Сослан. О нем-то и размышлял сейчас Одинокый, пытаясь понять для себя, насколько благим будет грех, который он надумал совершить, или до какой степени греховным окажется благо, которым одарит его поступок внезапно помудревшего слепца. Да, он простит им любую правду, рассуждал Одинокый. Но при этом обречет и их, и себя на бесчисленные беды, исходящие от тех, кто никогда им правды не простит. Только и это его не остановит. А коли он в состоянии простить им любую правду, значит, он простит им и ее отсутствие...

На утро пятых суток Одинокый въехал в наше ущелье. Он стреножил коня перед Синей тропой и спешил. Поднялся на валун и посмотрел сверху на еще сонный аул. Потом он перестал на него смотреть, отвернулся и прислонился к валуну спиной. Он стоял так до тех пор, пока солнце не пробило злым и ярким лучом мохнатое облако и не вонзилось грубым светом в щербатый камень. Тогда он схватился за луку седла, запрыгнул на коня и опять обернул его мордой к опостылевшей обоим дороге...

Когда он снова, мокрый, грязный и худой,

очутился на пороге дома терпимости, первое, что он услышал, был голос хозяйки, обращенный к глядевшей в глазок служанке: «Если это он, погоди отворять. Если это он, передай ему, чтоб убирался к дьяволу!» Глазок закрылся, и служанка за дверью крикнула: «Чумазый, словно в преисподней котлы таскал. Не сразу и распознаешь». Потом он услышал, как рассыпаются прочь ее шаги, и все стихло. Одиноким с досадой подумал: «Вот чего я не учел. Я не учел ее гордости и упрямства. Она была упрямой девкой, и это ей надоело. Была упрямой хозяйкой девок, и это ей надоело тоже. Теперь она упрямо хочет быть матерью...» Он замолотил кулаками в дверь, но дверь ничем не отозвалась. Тогда он подошел к коню, повел его за угол к черному ходу, привязал вожжами за ручку двери, а сам вернулся на прежнее место и сел на ступеньки. «Я тоже упрямый,— сказал он негромко, зная, что его слышат.— И у меня упрямый конь. А у тебя упрямые клиенты. Но коли тебе и этого мало, так ведь упрямее всех детский голод. Когда-нибудь им очень захочется вновь повидать свою кормилицу. Если, конечно, ты не успела поселить корову в одном из номеров...»

Он сидел на порожке и тихо посвистывал. Время шло не быстро, но охотно, так что совсем скоро стали надвигаться сумерки. Когда стемнело, он почти уже задремал и чуть было не рухнул в проем открывшейся двери. «Я все равно их тебе не отдам,— сказала хозяйка.— Лучше я изрежу твою картину и вышвырну тебя вон». — «Ты уже пробовала как-то,— напомнил он.— Только не больно оно у тебя получилось»: — «На сей раз тебе лучше быть осторожней», — предупредила она. «Хорошо,— миролюбиво сказал он.— Я буду очень осторожен, а

ты за это пообещаешь мне глоток воды». Сейчас она не выдержит и рассмеется, подумал он. Она не выдержала и рассмеялась, потом поманила служанку пальцем и распорядилась. Они остались наедине, но не знали, с чего начать разговор. Одинокий напился, наполнил вторично стакан водой, опустошил его на добрую половину и сказал: «Ты так уверена, что справишься? Или что справятся они? Они когда-нибудь подрастут...» — «Ничего,— сказала она.— Я постараюсь быть им доброй матерью. Ты сам рисовал меня доброй...» А он сказал: «Если ты ею станешь, будут они счастливы, когда поймут, кто их мать? Рано или поздно, но им об этом обязательно расскажут. Разве они простят ей, что она им была матерью? Или то, что они ее полюбили?» — «Ты полагаешь, сумасшедшая мать — это лучше? Лучше, чем содержательница притона? Или чем бывшая шлюха?» — спросила она, воинственно подперев руками тощие бока. «Нет,— ответил он тихо.— Я просто нашел им отца». Она подошла к нему вплотную, положила руки ему на плечи и заглянула в лицо: «Ты ведь не имеешь в виду себя, верно? Значит, ты отыскал кого-то другого. Этот другой — он им отец настоящий?» — «Почти,— ответил Одинокий и подумал: точнее не скажешь. Если кто и может им быть отцом, так только он. Другого отца им вовек не найти.— Когда-то у него уже была дочь. Отцом он ей был замечательным. Я сам видел». Хозяйка опустила руки и тронула пальцами прядь волос у себя на виске. Губы ее чуть дрожали. Одинокий подумал: вот-вот она зарыдает. Но я все равно не знаю, чем ей помочь. «Пожалуйста,— сказала она.— Я тебя никогда о чем не просила. Но сейчас — пожалуйста!..» Одинокий снова глотнул

воды. Вкус у нее был как у пыли на его одежде. Женщина плакала. Слезы обильно струились по ее лицу и падали ей на грудь, но она их словно не замечала. Одинокiй сказал: «Ты чего-то не договариваешь. А я никак понять не могу...» Но она не дала ему закончить: «Помнишь, я рассказывала тебе про негодяя, угостившего меня кочергой по голове? Ну так коли нет другого выхода, придется растолковать, отчего это вдруг ему вздумалось мне череп раскроить... И не перебивай! Сам меня вынудил».

Она отошла к окну, задернула плотные шторы, но лампы не зажгла. Теперь он видел лишь угловатый очерк на рисунке стены да тусклую размытость лица. По ровному глухому голосу он догадался, что от слез она уже оправилась.

Хозяйка сказала: «В общем-то, он и мерзавцем-то не был. Просто был единственным, кто говорил мне про любовь. Он умел говорить о ней часто и жарко. Получалось немного вычурно, но все же красиво. Ему нравилось о ней говорить, хоть того и не требовалось, чтобы переспать с какой-то уличной девкой. Он приходил ко мне всегда под утро, в одно и то же время. Обычно от него сильно пахло вином и маленькими папиросками. От многих мужчин сильно пахло вином и папиросами, но только ему удавалось пахнуть ими приятно... Еще он никогда не смеялся, не дрался и не кричал. И не сквернословил, будто матерщины отродясь не слышал. Богатым он не был, однако же платил всегда исправно и скромно, застенчиво эдак даже, оставлял деньги на краешке стола, положив на них сверху цветок из своей петлицы. Он носил белые сорочки и белый цветочек в петлице, а уходя, неизменно клал

его сверху на ассигнации, будто извиняясь за то, что платит. О себе он рассказывал, обо мне не спрашивал, а говорил лишь о любви да красоте. А когда прознал, что я беременна, побледнел, как извести, встал с кровати, оделся молча и стоял передо мной такой торжественный и прямой, словно к портному в витрину собрался. А я все твердила ему, что ничего, мол, от него не желаю, что совсем даже ничем он мне не обязан, и незачем, мол, ему так стоять и уста в линейку сжимать, будто он честью своей, все одно что собственной тростью, давится. А он возьми вдруг мне и скажи: «Я вас люблю, я вас любил и любить буду, а посему негоже мне перед своею совестью и сердцем отрекаться. Вместо того испрашиваю трепетно соизволения на наш совместный брак!» Вот оно как из него выхлестнулось! Представляешь? Я же слово в слово запомнила, на всю жизнь запечатлела, значит, в душе своей ту минуту волшебную, сладостный, как говорится, миг, когда он на одно колено предо мной припал и голову безропотно склонил, а я ее к себе прижала и гладила, гладила, ласкала ладонью, а от счастья такого мне скулить и кусаться хотелось, словно дворняге бездомной от внезапно подаренной сытости... А потом он поднялся, отвесил поклон (а на щеках уже две красные точки играли, как у чахоточного), ручку поцеловал и говорит: а теперь, мол, не обессудьте, но должен ненадолго отлучиться. Кинулась я было его обнимать на прощание, а он повернулся и стремительно в дверь вышел, потом застучал каблуками по лестнице (я тогда спаленку на верхнем этаже в гостинице снимала). А по улице — я из окна глядела — мчался, как угорелый. Ну я и подумал тогда же: видать, больше уж нам с ним не

встретиться. Видать, обманул меня барин, хоть я его, Бог свидетель, ничуть к тому не принуждала... Весь день проплакала, из комнаты никуда и не вышла, а как стемнело, от слез своих пролитых и заснула. Крепко спала, широко — будто на чистой поляне под солнцем, его, как вошел, даже не учуяла. Пробудилась тогда лишь, когда он лицом своим бледным уже надо мною стоял. В первый миг он мне как чужой показался, что-то было такое во взгляде его, будто подменили, будто болью зрачки подпалили или весь день их на страхе настаивали... Но потом все было как прежде, только во сто крат лучше еще, просторнее что ли — не знаю... И опять он о любви своей говорил и был так нежен, словно руками песню пел. И слезы мои счастливые, как росу с ягод, губами собирал и все мне на ухо шептал слова сладкие. Много их у него было, утонуть можно. К ночи я и утонула — в сон обвалилась, как в громадный колодец. Я падала и падала в него, а он никак не мог насытиться моим падением, и дно все не подступало, и оттого что я падала в бездонный прохладный колодец, было мне хорошо, как в полете...» — «А в груди твоей,— подумал Одинокый,— терзался теснотой восторг — дикий, необузданный, голодный зверь твоей радости...» — «А затем,— продолжала женщина,— стало вдруг тихо и жутко. От тишины я глаза открывала. Он как раз замахивался... Потом во мне разорвался свет. Грозный, бушующий плеск света. Я помню, как он насквозь пронзил мое тело, чтобы дальше уже не было ничего, кроме покоя, мрака и боли. Потом боль куда-то исчезла, и остались только мрак и покой. Потом я утомилась лежать в них и снова открывала глаза, но случилось это позднее. Гораздо позднее.

Уже после того, как я потеряла все: и его, и дитя. Вот как оно вышло! Хотел убить меня, а убил своего ребенка. И деньги все мои стащил, чтоб, значит, на кого иного подумали. Потом, наверно, они ему руки жгли, так что, думаю, швырнул он их где-нибудь в речку или в печи уничтожил. А после сбежал из крепости, боясь, что я его следователю выдам. Но этого я даже тогда не могла. Не то на уме у меня было...» — «Дальше я знаю,— сказал Одинокый.— Ты мне дальше уже рассказывала. И про мышьяк, и про пса...» — «Обожди,— сказала хозяйка.— Я не про то... По правде, не для того я его повсюду искала, чтоб мышьяком отравить. Главное тут другое было — хотя б разок на него поглядеть, в глаза ему заглянуть, чтоб муку там прочитать да раскаянье... Ты не поверишь,— сказала она, помолчав и улыбнувшись,— но у меня к нему до сей поры жалость не до конца истощилась. Живет во мне к нему последней капелькой жалость и сердце мне бередит. И ненависть живет, хоть для нее, казалось бы, тоже срок вышел, как для любви или мести. И обида на него жива, на гнусную его слабость, из-за которой все и стряслось. Ну что б ему не быть хоть чуточку сильнее!»

Да, подумал Одинокый. В том и штука. Тогда бы он не пах приятно вином. Будь он сильнее — ни по что б не влюбился в уличную девку, да и ей бы голову не вскружил. Будь он самую малость сильнее — и не пришлось бы ему бледнеть, падать на колени, делать предложение и убегать от собственных слов, чтобы на следующий день вернуться и растаять от сочувствия к ней и любви, лепетать нежные глупости и гореть глазами, а потом наблюдать за ее сном и до последнего мгновения так и не зная,

убьет он ее или нет, а затем, почувствовать, что просыпается, огреть ее со страху кочергой по талии, собрать ее гроши и снова истерически бежать, но уже — от свершившегося преступления своей слабости и залившей пол крови, а по сути — так от себя самого; бежать и знать при этом — первым же шагом знать! — что обречен на вечное, нескончаемое бегство от собственного прошлого, лихорадочную погоню за собственным настоящим и полную невозможность вырваться из его бешеного круговорота в будущее, которое наступит для него теперь уже только со смертью или смертельной усталостью — тут разницы нет, главное — это лишиться ночных кошмаров, это для него и есть смерть, потому как жизнь его еще с тех давних пор меряется короткими, как перебежки, отрезками пути от одного кошмара к другому... Будь он чуточку сильнее, думал Одинокий, я никогда бы не узнал этой женщины. А она бы никогда не стала матерью... «Я отдам тебе Рахима, — сказал он, — но девочку возьму с собой. Девочка поедет к отцу. Так будет лучше».

Наступила тишина. Они дышали ею и никак не могли надышаться. Женщина застонала и бросилась к нему на грудь. Она сжимала его в объятиях цепкими пальцами и неровно вздрагивала. «Наверно, это самое большое... — шептала она. — Это больше всего... и даже больше прошлого...» — «Оно закончилось, — ответил Одинокий. — Теперь его нет для тебя. В этот миг для тебя его нет». — «Да, — шептала хозяйка. — Его нет и не будет. Этого больше него!» — «И больше картины, — сказал Одинокий. — Теперь она лжет, потому что в ней оно еще говорит — твое прошлое». — «Нет, не лжет, — возразила она. — Просто она сделалась меньше. Она

немного съежилась перед тем, что больше нее». — «Перед счастьем? — спросил Одинокый, и женщина кивнула. — Тогда она сделалась маленькой, как слеза. Обещай мне, что то была твоя последняя слеза». — «Нет, — сказала хозяйка. — Просто теперь все слезы будут другими...»

Утром она вынесла из своей спальни две корзинки и поставила их перед ним на столе. «Повозка уже ждет, — сказала она. — Мы уложили в нее все необходимое. Можем прощаться». Он отрицательно покачал головой: «Я двинусь без повозки. Пусть вытащат из нее молоко и пеленки. Остальное не нужно». — «Но почему?» — спросила она удивленно. «Иначе нельзя, — ответил он. — К тому же то не моя повозка. Со мной повозки не было». Она раздраженно хмыкнула: «Ах вот он о чем! Не хочет одалживаться! Не дури. Вернешь повозку как-нибудь потом». — «Не выйдет, — сказал Одинокый. — Никакого «потом» не будет. Они не должны больше видеться. А Рахим не должен знать, как он здесь оказался. Потому не должен знать ни меня, ни про меня. Ты же хочешь быть ему настоящей матерью?» — «Да, — сказала она. — И я ей буду. Но повозку возьми. Ты вернешь ее куда раньше, чем он поймет, что это ты». — «Не могу, — сказал Одинокый. — За мной будут следить. За мной теперь долго будут следить. Мы не имеем права рисковать».

Когда котомки подвязали к седлу и было все приготовлено, он склонился над корзинкой, где улыбался малыш, пристально поглядел в его черные, как смола, глазенки, коснулся губами узенького лба, пробормотал над ним молитву и обернулся к хозяйке: «Пусть будет тебе славным сыном. Замени ему горы и кровь. Ты сумеешь...» — «Спасибо, — сказа-

ла она. — Я заменю ему его прошлое, как он заменил мне мое. У нас получится». Она по-мужски протянула ему руку, и Одинокый крепко пожал ее. Потом поднял со стола корзинку с девочкой, но с места не двинулся. «А где?..» — он замялся и не договорил. Хозяйка пришла ему на помощь и ответила: «Она ждет тебя на заднем дворе. С Богом!»

Он вышел в прихожую, пересек проход, спустился по ступенькам с крыльца и обогнул дом. Девушка стояла рядом с конем, тронув седло, к которому были приторочены его хурджин и сума с крынкой молока внутри. Он подошел к коню и стал подвязывать к седлу корзинку. Она наблюдала, как он ловко и быстро орудует пальцами, поглощенный работой. «Много поклажи для одного коня», — сказала девушка, и он почувствовал, что желала она сказать совсем другое. Чтобы не дать ей этого сделать, он отозвался, бросив через плечо: «В самый раз. Ему — в самый раз. Ничего...» Сейчас он хотел уже только поскорее уехать. Слова ничего не исправят.

Спиной он слышал ее дыхание. Оно мешало сесть в седло и тронуть со двора. Девушка сказала: «Повернись. Не прячь глаза. Ты все время прячешь глаза... Вот так. Я собираюсь их запомнить». Он постоял немного под ее взглядом, потом отвернулся к забору и спросил: «Зачем тебе? Я больше не приеду». — «Я так и поняла, — сказала она. — Я ведь уже много чего о тебе понимаю...» Он вопросительно посмотрел на нее, и на мгновение их взгляды встретились. Одинокый не выдержал первым. Девушка сказала: «Я знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я напросилась поехать с тобой. Чтобы я взяла в ладони твое лицо и умоляла не покидать меня, а ты бы целую минуту боролся с

искушением, страдал и отводил глаза. А потом ты скажешь мне свое «нет!» и прыгнешь на коня. Я знаю, ты хочешь ускакать, а не уехать. Ты хочешь, как легче... И напоследок хочешь еще мое имя. Верно?» Он не ответил. Руки его играли с кнутом. Глаза следили за руками. «Дай,— приказала девушка, и он повиновался, протянув ей кнут.— Смотри-ка, весь влажный... Ага, теперь ты прячешь руки... А вот и закусил губу, чтобы сдержаться и не отвесить мне пощечину,— она рассмеялась, но по щекам ее уже скользили две полоски умытого в слезах света, кормившего утро прозрачной прохладой.— Только с собой ты меня ни за что не возьмешь. Даже если я вгрызусь ему в гриву. Все, что тебе нужно — это ускакать и уже на скаку услышать мое имя. Все, что тебе надобно — это получить мою любовь и унижение, даже ни о чем не попросив, и тут же раз и навсегда от них отказаться, хлестнув коня кнутом... Только все будет иначе... Полезай в седло!» Рыдая, она ткнула его в грудь, и он попятился назад спичой. Не успел он запрыгнуть на коня, как его шею ошпарило болью. Девушка швырнула ему кнут в лицо, раздернувшись на каблуках и побежала к дому. Из корзинки раздался детский плач. «Наверно, ты заслужил это,— подумал он, выезжая через ворота на узкую улочку.— Но даже если и нет — быть может, ей от этого будет легче...» Он осторожно пустил коня по мостовой. Убаюканный мерным шагом животного, ребенок в корзинке чуть успокоился и приутих. Когда они миновали последний поворот и выехали за стены крепости, из корзинки раздавалось только сонное хныканье...

Спустя шесть суток то же хныканье разбудило рано поутру жену слепого Сослана, хозяйку его кла-

довой и степенную подругу вещей тьмы его Фаризу) и заставило ее быстро, как от хлопка, распахнуть глаза. Она прислушалась, замерла, потом, как привыкла всегда поступать в таких случаях, пошарила у себя на груди и нащупала под сорочкой кожаный кармашек, который носила, не снимая, на мягком ремешке вот уже третий год. Прижав его к устам, она прошептала молитву, окунула внутрь пальцы и вытащила из кармашка перехваченный посередке ниткой золотистый локон волос. Поцеловав и его, она вторично произнесла молитву, но плач не унимался. Вместо этого он стал еще настойчивее. Дом спал. Рядом с нею на женской половине хадзара лежали на циновках жены Сослановых братьев и их четыре невестки с детьми. Фариза не решилась их будить. Она откинула перегородившее комнату покрывало и посмотрела на входную дверь. Сквозь щели серой дымкой пробивался рассвет. Из рассвета, сразу из-под двери, поднимался упрямой жалобой голос. Фариза встала с кровати и как была, босая, медленно пошла на голос, выставив руки вперед. Наткнувшись на дверь, она прильнула к ней ухом и слушала, как плач, запнувшись икотой, обнюхивает ее приблизившееся тепло, потом начинается робкое, нетерпеливое нытье, прерванное сразу же полутужиной (это ребенок набирает в легкие воздуха, чтобы издать наконец возмущенный и торжествующий крик), потом она встречает порвавшимся сердцем звонкий, как молния, вопль и дергает дверь на себя. На пороге бьется голодной, глазастой жизнью плетеная корзинка. Фариза делает к ней быстрый шаг, корзинку оставляет на пороге, но жизнь забирает с собой. По-прежнему босая, она входит в комнату к мужу и говорит: «Проснись! Нам

послана богами дочь! Взгляни на нее». Она протягивает Сослану ребенка, кладет ему на колени и помогает руками отыскать лицо дочери. «Ты видишь, какая она славная? Наша девочка...» И он говорит, дрожа всем телом и прикрыв бельма веками: «Да!.. я вижу. Она очень красива. Она и не может быть другой...» — «Сослан,— говорит Фариза,— это тебе не снится! И это еще не смерть. Ведь твоим рукам не темно?» И он отвечает: «Нет. Они все видят... Они знают, что это не сон. Моим рукам светло!..»

Слух о подкинутом в дом слепца ребенку по аулу разлетелся мгновенно. «В тот день все было очень громко, как на празднике,— рассказывал дядя.— только у нас давно и на праздниках-то не бывало так громко. Женщины шныряли по улице, хлопоча по такому событию, а сорванцы их, предоставленные сами себе, носились по лужам и таскали у них с подносов лакомства. Мужчины собрались на нихасе, старательно шутили и посмеивались, размышляя между тем о том, чья же все-таки это работа: в прямое участие Бога тут мало кто верил (разве что Гаппо, но у него на то имелись особые причины: Господь, прибравший к себе его дочь, был способен на все), хоть вслух говорили обратное, воздавая хвалу Всевышнему и благодаря его за свершенное чудо. Не было лишь Сослана да Одинокого: первый был занят своим отцовством, а второго не видали в ауле уже с полмесяца или больше. Пожалуй, что и больше,— говорил дядя.— Дед твой тоже сперва его заподозрил и даже спросил, где это, мол, тот запропастился? А Барысби ответил: «Ты у кого спрашиваешь?» Дед порылся исподлобья взглядом в его глазах и сказал: «Да хоть бы и у тебя». Тогда мы

увидели, как Барысби покраснел, потом придвинулся к нему поближе и тихо-тихо сказал: «Может, где за спиной пристроился?..» А когда они вечером спустились с нихаса к дому слепого, чтобы сесть там за праздничный стол, дед твой отстал от других, зацепил Барысби за рукав и спросил: «За чьей спиной? За нашей или за Сослановой?» А тот ухмыльнулся и сказал: «Выходит, есть разница?..» На том беседа их и закончилась, но ни от кого в тот день не укрылось излишнее волнение Барысби. Понимаешь,— объяснял мне дядя,— он словно горячку подхватил да еще и всем ее показывал, а те, кто оказался рядом с ним за столом, так на него косились, будто заразиться боялись. А поздно вечером, прежде чем улечься спать, старик мне и говорит: «Коли не хочешь завтра бороться, можешь еще маленько прогуляться. Ночь сегодня теплее вчерашней. Погуляй еще чуток, коли охота. Гляди только, чтобы люди тебя не видели. Мало ли кто что подумает, когда тебя вдруг ночью на нашей улице заметит и голову начнет ломать: чего это, мол, он делает у дома Барысби в такой неловкий час? Потому гуляй-ка ты лучше неприметно да скромно. Ну и, понятно, внимательно гуляй. Особенно когда интересное увидишь. А не хочешь гулять — дело твое, кто ж возражать станет, если тебе бороться нейдет!..» Зевнул и спать отправился, а я накинул на себя его бурку, в черный башлык завернулся и за дверь шмыгнул, спустился к реке и берегом по течению прошел, потом поднялся к дороге и за камнем укрылся, как раз напротив его дома, улегся на брюхо и ждать принялся.

Дядя принялся ждать, когда ночь для него сделается интересной и поведет его бесшумно за своим гонцом мимо чужих снов. Кое-где горел еще свет,

помогая голосам обрести уют и смениться молчанием. Потом тишина соскоблила блеск с реки, и в ночи остались только гул сильной воды да бьющийся о берег шелест волн. Дядя плотнее закутался в дедовскую бурку и уперся в камень подбородком, считая во тьме ее призрачные, расплывчатые пятна. Потом ощутил, как у него перехватило дух, и напрягся. На пороге выросла тень, медленно выбралась за калитку и двинулась вдоль плетня в сторону нашего дома. Дядя встал на корточки и, пригнувшись, пошел за ней следом по берегу. Когда до наших ворот оставалось совсем немного, тень юркнула куда-то вбок и исчезла. Дядя перебежал улицу и стал снова ждать, прильнув к забору. Через несколько минут он увидел, что тень возвращается, перемахивает забор и прыгает наземь в каких-нибудь пяти шагах от него. Проводив ее взглядом, он повернулся и пошел домой, чтобы согреться в постели, погрузиться в теплый сон и проспять вперые за многие годы восход солнца.

К обеду он ступил во двор, потянулся, расправляя члены, направился к сидящему на покрытом кожей чурбане деду и сказал: «Завтра боронить будем или опять малость обождем? Сдается мне, сегодня вечерок еще пригожей будет. В самый раз для гулянья». А дед, не поворачивая головы, ему отвечает: «Зависит от того, что ты уже нагулял». Дядя пожимает плечами и говорит лукаво: «Да это и гуляньем-то не назовешь. Скорее выпаска». — «Ага. И кого ты там всю ночь пас?» — «Да так, — отвечает дядя. — Тень одного неудачника». А дед помолчал, пожевал бороду, а после спрашивает: «Выходит, она совсем по соседству паслась?» — «Ты-то почему знаешь?» — «По следам, — говорит дед. — Следы у со-

седского забора мне утром рассказали. Ты дрых еще, а я уж с ними беседовал. Они мне много чего про пастуха и тень ту открыли. То, к примеру, что пастушок поленился ее назад до загона проводить...» — «Так ведь...» — «Или про то, что паслась она впустую», — говорит дед. «Да, — отвечает дядя. — И даже заблеять ей там было не на кого. Только ежели ты поутру умеешь видеть то, чем ночь баловалась, зачем было меня в пастухи отряжать?» А дед с притворным удивлением вскидывает брови: «В пастухи? В па-сту-хи?.. Вот чудак! Я тебе всего-то и предложил, что перед сном проветриться». А дядя от издевки такой желваками заработал, носком землю покопал чуток, а после и спрашивает: «Выходит, завтра — бороться?» — «Угу, — отвечает дед и с серьезным видом наставительно отвечает: — Добрая погода не только для гулянок хороша. Она и в жарком труде — подмога...» — «Разве что следам помеха», — хмуро произносит дядя и идет вон со двора на нашу улочку, а там сворачивает и направляется к забору Одинокого, останавливается перед ним и внимательно вглядывается себе под ноги, но не находит даже пяточка сырой земли: все вымощено камнем. «Ну и мошенник! — думает он. — Старый, хитрый мошенник! Стало быть, пастух ему все ж таки требуется. Кому-то же нужно выведывать ночные тайны, а потом говорить «да» тому, кто не видел, не пас, не гулял на холоде, но еще прежде, чем лечь в постель, знал уже, что должно произойти по соседству с его мерным и покойным сном. Я просто сказал его знанию «да», и это удовольствие обошлось ему в еще одно удовольствие — от моего стыда...»

Вот и получалось, что деду моему и шагу из дому не пришлось ступить, чтобы проверить мысль, которая сложилась за день в мудрой его голове и уже на следующее утро полностью подтвердилось: Одинокий у себя так и не объявлялся, хотя больше ни Барысби, ни самому деду и подумать-то было не на кого. А значит, рассуждал старик, Барысби чего-то очень опасается, коли поглупел настолько, чтобы лезть посреди ночи к тому в хадзар. А посему Барысби уже мало догадки. Похоже, ему мало даже своей убежденности (по одной догадке в чужой дом не забираются, — тут убежденность нужна), коли ему позарез понадобились доказательства причастности Одинокого к возвращению Сослану его отцовства. Только Барысби, конечно, ничего не нашел, и теперь дед мой мог преспокойненько ждать, что через неделю — другую Одинокий вновь появится в ауле, но уже открыто и днем, войдет, наконец, в свой дом и прикинется, что ничего и слыхом не слыхивал о подкинутом ребенке, и пусть ему не все поверят, зато никто не посмеет и усомниться в правдивости его слов, по крайней мере — вслух, и даже Барысби, потому как не найдет никаких подтверждений, а одной убежденности тут явно недостаточно. Вот тогда-то, прикидывал дед, и можно будет за ними понаблюдать да постараться понять, чего так боится Барысби...

Одинокий и впрямь приехал через неделю. Увидев его с нихаса на нашей дороге, дед мой, должно быть, подумал: «Вот тебе и доказательство. Только таким доказательством не докажешь ничего, кроме своего желания доказать недоказуемое». Явись он раньше дней на шесть, и дед заколебался бы. Теперь он был уверен. По Барысби он видел, что

тот уверен тоже, и что от этого ему лишь мучительней. «А спустя еще пару дней,— говорил дядя,— дед твой глядел, как Одинокый идет к Барысби. Я первый заметил и крикнул: смотри! Старик посмотрел, покачал головой и сказал: значит, решил его не пугать. А может, запугать до смерти. И я сказал: а может, он решил показать, что еще не решил?.. И дед твой спросил: чего «решил — не решил»? А я сказал: не решил, мол, запугать до смерти или же не пугать вовсе. И дед твой подумал и сказал: да, мол, так тоже может быть...» И так оно и было.

Когда Барысби удалил из хадзара домашних и они остались наедине, гость сказал: «Меня не было месяц. За месяц кто-то успел побывать в моих стенах. Ты, случаем, не знаешь, кто бы это мог быть?» И Барысби сказал: «Откуда ж мне знать! Ты, небось, тоже не знаешь, кто подкинул Сослану ребенка?» И Одинокый ответил: «Ну, это ты у кого другого спроси! Меня здесь в это время вовсе не было. У людей спроси. Люди говорят, вроде все по Божьей воле образовалось». А Барысби сказал: «Верно. Так и говорят. Только и им неведомо, кто богов надумил». — «Конечно,— сказал Одинокый.— Не научились еще люди небо читать. Конечно». А Барысби тогда говорит: «Мне вот любопытно, как ты полагаешь, а не могли те боги воротами ошибиться? В темноте чего-то там напутать и не на тот порожек корзинку подложить, а? Скажем, по справедливости им бы нужно Гаппо дедом сделать, а они впотьмах Сослана благодетельствовали, а? Так что вместо нового деда в ауле новый папаша выискался да сослепу еще не разглядел, что то внучка, а не дочь, и притом совсем на него не похожая. Могло так быть или нет, как по-твоему?» — «Чушь,— сказал

Одинокий.— Гаппо не мог стать дедом. Дочь его в реке утопла. Неужто забыл? Спроси у людей». Барысби побагровел, выругался сквозь зубы и сказал: «Вот, значит, как!.. В реке, говоришь, утопла? А кто же тогда свое брюхо в шлюхином логове спасал? Чей тогда это ребенок родился, что ему вдруг приспичило в корзинке ночью с неба спрыгнуть и угодить прямиком к Сослану на порог? И куда тогда делся ублюдок Рахимат?.. Или она его взялась до осени в утробе вынашивать?» А Одинокий сидел за фынгом, как камень холодный, и ждал, пока тот кричать кончит, а потом опять говорит: «Не пойму я тебя что-то, Рахимат уже почти год как исчезла. Нет больше Рахимат. Рахимат умерла. Гаппо не может быть дедом. Мертвые потомства не дают. Рахимат мертва. Ее больше нет». И тут до Барысби дошло. Одинокий видел, как на шее у хозяина дождевым червем вздулась шишкастая жилка и, словно от укуса, начала опухать. Глаза его налились жаром и кровью, а нижняя губа обиженно отвисла. Потом оба услышали треск. Барысби отжал кулак и из него посыпались обломки раздавленного рога. «Ого! — сказал Одинокий.— Кабы я знал, что так расстроишься... Да ты, как погляжу, от расстройства и сочувствия только сильнее становишься. Жалко, сын твой не видел, как ты с рогом разделался. Ему бы понравилось. Наверно, он решил бы, что это вот и есть сила... Ладно, пойду-ка я к себе, а заодно поразмышляю, стоит ли его сейчас разубеждать». Он поднялся. Уже на пороге Барысби окликнул его и сказал: «На той неделе по отцу справляю годовщину. Ты бы...» — «Да-да, я помню. Конечно, приду,— перебил его Одинокий.— Я не забыл». — «Ну а... А потом? — спросил Барысби, с рудом вы-

давив из себя слова. Прозвучало это так, будто у него сгорел голос, и от голоса теперь остался лишь кислый пепел.— Что будет потом?» — «Еще не знаю»,— сказал Одинокий и по лицу Барысби увидел, что тот хочет ему поверить, хочет и боится. Что ж, подумал он, покамест мне от него большего и не надо. Пусть его боится и хочет верить...

В тот же день Одинокий услышал от стариков на нихасе, что девочку окрестили странным нездешним именем. «К кисти у нее планочка серебряная была подвязана,— объяснил Агуз.— А на планочке той с внутренней стороны буквы вырезаны. Фариза в них не лучше нашего разбирается, а вот Сослан — тот до сих пор помнит, как они выглядят. Пальцами по пластинке слово прочел да и решил, что именем ей будет». Одинокий облизнул сухие губы, поглубже нахлобучил шапку, достал из ножен кинжал и принялся чистить лезвием под ногтями. Наши следили за ним и почему-то знали, что порежется. Они следили и ждали, оттого и кровь на руке заметили раньше еще, чем тот ее отдернул. Он спрятал кинжал, пососал ранку и спросил: «И что же он там прочитал? Какое-такое слово?» — «Лана,— сказал мой дед.— Когда-нибудь слышал подобное?» — «Нет,— ответил Одинокий.— Такого не бывает... Как-как?» Агуз назвал его опять, а Одинокий между тем думал: про буквы она мне не говорила. Я про буквы ничего не знаю. Выходит, имя вернулось. Теперь оно будет с нею всю жизнь. Если так, значит, я угадал, и слово не было случайным. «Лана,— повторил он вслух и улыбнулся.— Могло быть и хуже. А так — ничего...» И тут же подумал: по крайней мере, в нем есть любовь. А теперь еще — тепло и домашний уют. «Теплое имя,— сказал он.— Хоть и

не наше. Да ведь у нас прежде и подкидышей не было...» Он прав, решили старики. Имя как имя. Лишь бы отцу нравилось. Коли суждено Сослану снова быть отцом, чего ж ему и имя пальцами по серебру не сочинить? В том, что он его действительно прочитал, они здорово сомневались: неужто их зрячие глаза глупее сослановых пальцев! Да ведь он ими отродясь буквы не щупал, даже когда видеть мог! А тут — на тебе! Вмиг вслепую читать выучился!.. «Сочинил — и ладно. Если оно ему так на язык легло — Бога ради, — ворчал мой дед. — Но зачем же народ измыслицами обижать?» Короче говоря, у нас решили, что имя девочки родилось не из выбитых по серебру хитрых ниточек, а из того блаженного волнения, что шепнуло Сосланову сердцу заветное слово. В общем, им это даже нравилось — обладать чем-то таким, чего не было не только у соседей по ущелью, но, пожалуй, и в целой Осетии, включая крепость и прошлое. Им это даже льстило — носить на устах короткое доброе слово, за которым не стояло ничего, кроме скромного чуда и запаха близкого счастья, обдававшего их легкой волной всякий раз, когда они проходили мимо дома постаревшего от радости слепца, ставшего в считанные дни каким-то грузным, гладким в лице и приятно-медлительным. «Как же тебе его описать? — кусал усы дядя и нетерпеливо пощелкивал пальцами. — Был он какой-то большой и неловкий... Нет, не то! Был он будто недавняя роженица, в каждом шаге своем и движении слушающая, как полнится молоком ее грудь. Он уже не был слепцом и не был пророком. Он был родителем, и мы видели, как изнутри его согревает ясный и долгий огонь. Мы видели его улыбку: такой не бывает ни у слепцов, ни

у тех, кто пугает будущим. Такая улыбка может быть лишь у того, кто пьет большими глотками настоящее и слышит в себе яркий свет...» Так говорил мне дядя. Я спрашивал его про деда, и он мне отвечал: «Не знаю. Следить за Одиноким он меня не посылал. Решил, наверно, что не будет ему пользы следить моими глазами за тем, что даже его старый разум не увидал еще хотя бы сквозь туман. А может, просто не больно хотелось ему в этом копаться: Барысби он никогда особо не доверял, а коли тот так в страхе забился при виде подкидыша да еще от одного только появления соседа нашего начинал заикаться и трепетать — было тут что-то нечисто. И даже слишком. А копаться в чьей-то грязи дед твой не спешил: ему и своих неприятностей с лихвой хватало. С той поры, как стало известно про твоего отца и про Сибирь, куда его сослали, старик заметно сдал. Иногда вдруг застывал, греясь на солнце, и только палка в руках мелко дрожала, а взгляд такой замороженный, словно сам в себе умер и уже коченеет зрачками. А то, бывало, вдруг места себе не находил, бегал, как петух, по двору и всех, кого ни попадя, задирали да ругался. Но чаще тихий был, маленький и складный, как воробей на ветке. Посмотришь на него — и зевать тянуло. Грустно было на него глядеть. Скучно становилось. То время я вообще не очень-то помню. Те годы,— говорил дядя,— мы жили словно посередке между тем, что было и что будет. Между воспоминаниями и предчувствием. Мы прожили те годы с застрявшим в горле зевком. Не знаю, что еще о них сказать, кроме того, что мы их прожили...» — «А когда вы их наконец прожили,— сказал я,— пришел мой отец... Но не вы с дедом увидели его первыми». Дядя кивнул,

отвел глаза и сказал: «Может, брату и не следовало так поступать. Он нарушил обычай. Иногда мне думается, что старик ему этого так и не простил». — «Тебе так кажется», — сказал я. «Да, — подтвердил он. — Возможно, я ошибаюсь. Но мне так кажется...»

Ни тогда, ни после отец так никому и не рассказывал, что произошло, когда они встретились. А то, что они уже повстречались, моему дяде стало известно вечером того же дня...

В сумерках отец внезапно вырос на нашем пороге, и бабка вскрикнула, приняв его тень за огромный кувшин. «Здравствуй, мама, — сказал он. — И не плачь». Но она уже голосила, бежала к нему с раскинутыми в стороны руками. Дед, встревоженный криком, спустился по лестнице в хадзар и встал посреди комнаты. Потом одним взглядом приказал дяде поднести ему скамейку, уселся на нее и, приосанившись, подобрал ноги, глухо произнес: «Пусти его, женщина. Отправляйся к себе. Тебя позовут, когда мы закончим». Бабка отпрянула от отца, утирая платком слезы, и покорно двинулась на женскую половину. («Проходя мимо твоего деда, — признавалась она мне, светлея глазами, — я попросила: дай ему подышать твоим домом. Там он потерял свои волосы. Он потерял там даже свой запах. Дай ему вновь обрести сперва запах... Но он только сурово взглянул на меня...») Старик сурово взглянул на нее, и она быстро пригнула голову, прикрыла рот платком и шмыгнула за перегородку. «Чем это ты так обмотался?» — спросил дед у отца, и тот ответил: «Шкуры, тряпки, глина... Я смазывал их глиной, чтобы не разваливались. Путь был длинный». И дед спросил: «Ты жалуешься?» — «Нет, — ответил отец. — Но путь был неблизкий». —

«Ты сам его выбрал,— гневно произнес старик.— А теперь похож на женщину. Толстую женщину».— «Это глина. Глина да грязь,— сказал отец.— И я не жалуюсь. Я вернулся...» Старик пошамкал ртом, поморгал, смахнул соринку с ресниц, потом сделал знак, и отец подошел, встав от него в двух шагах, дед разглядывал свои руки и готовился что-то спросить. Потом тщательно отыскал на полу точку, установил на нее свою палку и крепко оперся о нее, подавшись вперед: «Говорят, ты дел натворил? В преступники, говорят, пошел? На человека напал? Кого-то там ограбил? Род свой опозорил?.. Ну? Правду говорят иль врут? Отвечай!» Отец помолчал, посмотрел деду прямо в глаза и сказал: «Насчет грабежа — вранье. На человека — нападал, да только не со зла, а чтобы в ворах не ходить. Ну а из преступников я уже вернулся...» Старик покряхтел, стирая пот со лба и оправляя одежду, шмыгнул носом, высморкался, опять стер мокрый лоб, потом поднялся на ноги и сказал: «Вот и ладно, что вернулся. Здравствуй, сын!»

А во время ужина не удержался и спросил: «Ну а там, в Сибири, как? Тяжко, поди, приходилось?» Отец выпрямился, отодвинул тарелку, положил на стол отломленный кусок чурека и сказал: «Там холодно и жарко. Трудно и очень трудно. Там много людей и много нелюдей, а погибают и те, и другие. Но чаще те и другие выживают и остаются терпеть. Там нет друзей, но иногда тебе спасают жизнь, а иногда забивают до смерти. Мне тоже спасали жизнь, но вот до смерти так и не забили. Я повидал там всякое. Случалось, там было страшно, но бывало и весело. Однако чаще всего бывало просто тоскливо. От тоски там много бед. От тоски там все

беды. Если нет, так почти все. Остальные — от веселья. А хуже всего там время. Оно там больше, чем сама Сибирь. И я испил его все, до последней капли. Я сыт им по горло, так что давай про это больше не вспоминать».

Он и не вспоминал, пресекая любые расспросы или просто отмалчиваясь. Отец никогда не вспоминал про Сибирь, и я его тоже не распытывал — быть может, потому, что он носил ее в себе, в своей походке, осанке и глазах, в крупных руках, когда они лежали вниз ладонями у него на коленях или на нашем столе, когда всей тяжестью памяти отдыхали от всякой, даже самой пустяшной, работы, а я смотрел на них и думал, спеша, о том, что руки эти способны на многое. Порой мне казалось, что они способны на все. Наверно, с того дня, как он возвратился, поняли это и дед мой, и бабка, и дядя, с которым в ту ночь отец улегся спать в кунацкой. Было уже очень поздно и темно, когда что-то подсказало дяде, что брат не спит. Он привстал с постели, взгляделся во мглу и, разобрав по чуткой тишине, что отец ждет, внезапно спросил: «Завтра что делаешь?» Спросил — и сам удивился своему вопросу, потому как в доме уже был человек, решавший за всех, чем им завтра заняться, и человек этот спал на месте старшего в другой комнате. Но, видать, что-то было такое в поведении отца, что заставило дядю мучиться в кромешной тьме с добрый час (в обществе полунезнакомца, бывшего ему вдобавок еще и братом, но почти на восемь лет пропавшего из его взрослеющей жизни), прежде чем заговорить и задать столь глупый вопрос. И ответ ему был: «Иду с Барысби на охоту». Тут уже дядя мой просто подскочил от неожиданности и

прокричал потрясенным шепотом: «Как?!» А отец вздохнул в темноте и спросил: «У тебя есть ружье?» И дядя ответил, что есть у старика. «Своего, стало быть, у тебя нет,— заключил отец и сказал: — Займи у кого-нибудь. Только не у Одинокого». И дядя сказал: «Значит, ты с Барысби уже виделся? Значит, не по прямой сюда шел?» — «Да,— ответил отец.— с ним мы завтра вдвоем идем на охоту».

До самого утра дядя не сомкнул глаз. А едва светать начало, отправился к Гаппо за ружьем, рассуждая, вероятно, что если уж брату его этой охоты не избежать, пусть хоть ружье у него будет меткое. У Гаппо ружье было меткое. Но почему именно с Барысби, думал дядя, зачем ему Барысби понадобился — и то раньше еще, чем он переступил собственный порог?..

Отец его ждал у излучины. Он сидел на корточках и глядел на иней в траве. Утро было студеное, и изо рта у дяди от быстрой ходьбы белой мутью вырывался пар. Отец обернулся на его шаги, и дядя сказал: «Я принес». Тот кивнул и, не поднимаясь, протянул руку. Осмотрел ружье, проверил затвор и положил его к себе на колени. «Старику ни слова»,— приказал он и взглянул на дядю серым холодом. «Ага»,— послушался дядя и тоже присел с ним рядом на корточки. Отец сорвал травинку и двумя пальцами очистил с нее иней. Набравшись смелости, дядя спросил: «На кого охотиться будете?» Отец усмехнулся, потом покосился на брата и положил ему руку на плечо: «На одного зверя злого. Опасного зверя. Прошрое называется... иди домой». Он больно стиснул дядево плечо, и тот встал на ноги. «Ты бы...— сказал он.— Холодно тут... Может, он еще и не придет. Вдруг позабыл или еще чего?

Или решил, что пошутил ты, а?» — «Иди», — сказал отец и отвернулся, сунув в зубы стебелек травы. Дядя пошел назад в аул, а у бугра оглянулся, увидел, что отец смотрит не на него, а в лес, резко подался вправо и упал, перекатившись за бугор. Отдышавшись, он подполз к его верхушке и осторожно поднял голову. Не успел он толком отыскать глазами отца, как услышал выстрел и над ухом его прожужжала пуля. «Я же сказал тебе идти домой, — бесстрастно произнес отец. — Старших не уважаешь. Нехорошо». Он выстрелил второй раз, и пуля ткнулась в бугор с внешней стороны. У припавшего животом к бугру дяди чувство было такое же, как бывает, когда кто-то щелкнет пальцами по твоему одеялу. Он соскользнул с бугра и побежал вниз к тропе. По дороге в аул Барысби он так и не встретил.

Когда отец вернулся, уже смеркалось. Он посвистел с улицы, и дядя выскочил к нему, радостно улыбаясь тому, что тот жив. Отец отдал ему ружье и велел немедленно отнести его к Гаппо. Дядя повиновался, а когда снова вошел в дом, увидел, что дед с отцом уже успели повздорить. Старик недовольно бурчал под нос, но по виду его дядя догадался, что он скорее озадачен, чем сердит. «Погляди на него, — обратился дед к младшему сыну. — Сам себе хозяин! Что в голову взбредет, то и ноги несет! Охотник! Не охотник, а — тьфу! С пустыми руками пришел! Может, мне, коли он воротился, уже и помирать пора? Спроси ты у него! Может, он теперь здесь главный? Так пусть не таится. Пусть ко мне подойдет и скажет: отправляйся, старый, на покой. Хочешь — в постель, а хочешь — в могилу! Пусть мне в лицо скажет! Охотник с пустой сумой! Где

такое видано в нашем роду! Тьфу!» — ругался дед и брызгал слюной. Дядя бочком выбрался из хадзара и пошел в кунацкую. Отец лежал на циновке, сложив руки под голову, и о чем-то напряженно думал. Дядя затворил дверь, прислонился к ней спиной и сказал: «Теперь всю неделю будет дуться и не разговаривать. Но потом все равно отойдет. Да ты и сам знаешь...» — он помолчал. Отец лежал не двигаясь и почти не дыша. Дядя кашлянул, почесал ладонью о дверь и спросил: — Ну, как охота?» Отец отозвался сразу. «Никак,— сказал он.— Дерьмовая была охота. Закончилась раньше, чем началась. Дай мне теперь поспать». Он опустил веки, и дядя оставил его в комнате, тихо удалившись, хоть и знал, что тому сейчас ни по что не заснуть. Вечер был еще в самой силе, когда он снова вошел в хадзар. Старика он уже не застал. Во дворе он наткнулся на бабу, и та сказала ему, что дед отправился на нихас. «Так поздно?» — подивился дядя и распахнул калитку. От нашего забора сквозь сгущавшийся сумрак он не разглядел нихаса, на котором в тот день было необычно многолюдно, зато вдруг остро, нечаянно и безошибочно уловил ноздрями тревогу в чутких бесплотных губах вечернего воздуха. «Я держался за ручку калитки и собирался было войти обратно, чтобы перехватить чего-нибудь до ужина, и тут меня пробило дрожью, словно мою шею кольцом обвила змея,— вспоминал он.— Меня так ударило в дрожь, что даже калитка скрипнула. В дом войти я не успел, ибо тут-то я его и увидел...» В миг, когда мой отец валялся на жесткой циновке, затерянный в своих мыслях, и никак не мог заснуть, а дед мой, пытаясь не выдать волнения, сажился на скамью нихаса, ког-

да дядя готовился кланчить у бабки какую-нибудь закуску, а сама бабка споткнулась ни с того ни с сего, подвернув ногу у кладовой, и осела, охнув, на пол, в миг, когда по чьей-то невидимой воле раздвинулись сумерки (потом им будет казаться, что было еще светло. Или почти светло. Что темно сделалось сразу, в считанные секунды, уже после того, как),— Одинокий ступил на нашу улицу и потащил за отвязанный от ружья ремень завернутую в бурку ношу. Он протащил ее от поворота до самого дома Агуза, а старцы наши всё глядели и не двигались с места, и каждый из них вспоминал про то, как много лет назад вот так же на их глазах оборванный мальчишка волок за собой шкуру убитого медведя, уложив в нее свежие окорока и замотав себе лохмотьями срам. Им вспоминалось, как скользили по снегу его худые упрямые ноги и как он ни разу не упал, несмотря на раны, неверность в слабом шаге и невероятную усталость в бледном и грязном лице. Как дотащил он ее, эту усталость, до своего хадзара, так и не выпустив шкуры из рук, а потом разжег огонь в очаге, и в ровном длинном дыме, поднявшемся над его крышей, им почудился черный палец, зависший над аулом гордой угрозой. Они вспомнили это, потому что теперь все было похоже, но больше — потому, что на сей раз было все хуже, гораздо хуже, они почувствовали это сразу, едва увидели, едва припомнили и едва сравнили. Все было хуже, потому что теперь за справленный из ременной кожи поводок тянул он по улице уже не победу своего одиночества, а роковую неизбежность какой-то беды, приближение которой столько лет до того они слышали сердцем в самом его соседстве, не зная при

этом лишь срока, когда он ее принесет. И вот сейчас он — уже мужчина, рослый, крепкий мужчина с распоротой от натуги черкеской посреди широкой спины — нес ее мимо них по заиндевелой дороге сквозь расступившиеся осенние сумерки и спотыкался о собственную усталость, с которой не могла тягаться даже усталость убившего медведя и разделавшего его тушу мальчишки, а они смотрели, как он скверно, неровно идет к их хадзарам и ждет подмоги, и то у одного, то у другого из них перехватывало дух от мысли, что он, наконец, остановится и опустит ношу перед родными кому-то воротами, передав им закутанную в бурку и никем пока не опознанную беду. Под их испуганные взгляды и слоистую от пара из открытых глоток тишину он миновал дом Агуза, потом — дом Батырбека, потом еще шесть домов и добрался до нашего, но дядя, стоявший в калитке, не сделал и шага навстречу к нему — и к беде, которая разом, стоило тому протащить ее мимо нас, сделалась меньше еще на целый дом и ровно на столько же стала ужасней и больше для пяти оставшихся. Когда Одинокий одолел участок длиной в свой забор, а затем миновал еще три дома и подошел к воротам, хозяина которых никто не видел со вчерашнего вечера, тут они поняли, что дальше он не пойдет: дальше был дом Сослана.

Стало быть, Барысби, решили они и заспешили с нихаса вниз. Одинокий остановился, развязал тесемки на бурке, осторожно снял с его головы башлык, прикрывавший лицо, и позвал его сына, выкрикнув в провал ворот его имя. И вот тогда уже стало темно. Когда наши сгрудились в кучу, окружив Одинокого и Барысби, было уже так темно, что сперва они не разобрали, жив тот еще или мертв.

Бурку подхватили и, толкаясь лишними плечами, внесли в дом, где женщины затеяли уже свой громкий плач. Но и сквозь шум, пыхтенье и крики они услышали его слова: «Он дышит. Ранен в голову и сломана нога...» Но обернуться на голос опоздали: Одинокий упал и прильнул ничком к холодной земле.

Всего этого дядя мой уже не видел, а потому не знал еще, что Барысби жив. В то время как аульчане, нагнувшись над Одиноким и перевернув его на спину, разглядывали его чужое лицо (чужим для них оно было всегда, и вряд ли кто из них сумел бы складно описать его внешность, ведь они редко встречались с ним глаза в глаза, обыкновенно они следили за ним исподлобья. Но сейчас его лицо было чуждо им не только своей чрезмерной близостью и крупностью черт, а еще и своей полной незащищенностью перед их любопытством, открывавшим в нем разом и предельную муку, и беспредельный покой. Такие лица доводилось им встречать доселе разве что у тех, кто умирал от боли или недуга, меняя потный жар своих страданий на ласковую прохладу последнего потусторонья. Был то миг таинственного пограничья между жизнью и небытием, тогда как сейчас перед ними на голой земле белело лицо человека, павшего в бессознании от напряжения и усталости, как падает со вздохом на траву перетрудившаяся лошадь. Они глядели в это лицо и думали про то, что если вдруг оно проснется, отныне и навсегда в нем будет им мерещиться тень прислонившейся к смерти одинокой усталости. Если он оправится, думали они, ему придется носить свою смерть с собой, все равно как кровь свою или желудок. Быть может, он носил ее с собой и прежде, только мы о том не знали, размышляли аульчане, не

только мы о том не знали, размышляли аульчане, не решаясь расстегнуть на нем черкеску и послушать сердце, словно простое прикосновение к его плоти было надругательством над его обмороком, мýкой и покоем, над их свидетельством его падения и над воцарившимся между ними молчанием. Из дома Барысби раздавались приказы и крики, гремела и билась посуда, плескалась вода, но перед его воротами было тихо, будто несколько вставших в круг человек и поникшее посреди дороги тело образовали маленький островок времени, неподвластный общей суете и выросший из ее беспокойных волн. Через минуту Одинокий разомкнет веки, они помогут ему подняться, и островок рассыпется под их словами, но пока он лежит, все они принадлежат воспрянувшему из потока умному времени, а дядя ничего об этом не знает...), дядя вбегает в наш хадзар, не замечая охающую на полу у кладовой бабку, и спешит к моему отцу. Распахнув дверь кунацкой, он кричит ему в затылок: «Стало быть, вот как ты поохотился! Стало быть, для того и вернулся, чтоб его пристрелить!..» Отец рывком оборачивается, вскакивает с постели и хватает дядю за грудки: «Ты — о Барысби?? Барысби мертв?!» — «Ты убил его», — говорит дядя и снимает его пальцы со своей груди. Отец делает шаг вперед, со стоном утыкается лбом в стену и принимается качать головой. «Нет, — говорит он. — Не я. Я его так и не дождался. — «Врешь, — говорит дядя, и глаза его мутнеют от слез. — Пристрелил его, а теперь врешь. Только не вздумай врать старику. Или соври так, чтобы он поверил. Но лучше всего — уходи. Беги, пока не пришли за твоей кровью. А еще лучше...» — тут он прыгает сзади отцу на плечи, и они падают на пол,

вцепившись друг в друга и перекатываясь по комнате. Отец явно сильнее брата. Он уворачивается от лихорадочных ударов, а потом пару раз точно и стремительно выбрасывает кулак, и дядя разжимает объятия. Рот его разбит, из уголка губ стекает красная струйка, мешаясь у подбородка с соленой влагой слез. Дядя сидит на полу и повторяет: «Я тебя столько ждал! Я тебя ждал, а ты пришел и сразу стал стрелять. Теперь они убьют старика. По твоей милости они убьют нашего старика, чтобы было больнее. Мы тебя ждали!.. Вот ты и пришел. И начал стрелять...» — «Заткнись,— грубо обрывает отец.— Я не убивал. Он так и не появился. Потом я понял, что сидеть там дальше бессмысленно, и отправился в лес. Его я не убивал. Я бродил по лесу, чтобы не спускаться в аул до вечера. Мне нужно было дотерпеть до вечера. Я не хотел его убивать». Дядя рукавом стирает с губ кровь и говорит: «Когда я возвращал Гаппо ружье, в сумке было восемь патронов. Сегодня утром их была ровно дюжина. Две пули ты выпустил в меня. Где еще два патрона?» — «Не знаю,— отвечает отец.— Должно быть, высыпались, пока бродил». — «Ага,— говорит дядя.— Взяли вдруг и высыпались. Конечно...» — «Пошелка ты к дьяволу,— говорит отец. Потом спрашивает: — Кто его нашел?» И еще раньше, чем дядя откликнется, знает уже, каким будет ответ. «Одинокий»,— говорит дядя, а отец уже откидывает дверь и бежит вон из комнаты. Во дворе он перемахивает через забор и впервые за восемь лет входит в дом того, кто спровадил его в тюрьму, чтобы не допустить убийства, отложив его на эти восемь лет и спустя восемь лет совершив его са-

молично. Так думает мой отец, когда идет к хадзару Одинокого и без стука появляется на его пороге. Одинокий стоит к нему боком, припав к чаше с водой. Здесь почти темно и много теней. Они скользят по помещению по прихоти мерцающих в очаге углей. Отставив чашу и повесив ее на деревянный штырь над потным жбаном, Одинокий говорит: «Я искал тебя весь день. Боялся не успеть». Он предлагает отцу скамейку и вслед за ним усаживается сам. «Я думал, ты придешь еще прошлой ночью. Но вместо ночного гостя получил лишь пулю в дверь. Ну а ты решил сперва поохотиться...» Он начинает рассказывать, и отец слушает про то, как утром тот заглядывал к Барысби, да только его уже не застал, а домашние его знали слишком мало, они знали только, что хозяин отправился на охоту; о напарнике речи не было, наверно, они посчитали, что Барысби пошел в лес без напарника, коли ни слова не было сказано о моем отце, и тогда Одинокий, прихватив с собой ружье — обмененное им век назад у моего деда на семь восьмых с обмолота и вот уже целый век всякий год меняемое еще и на наше батрачество да доверху набитые мешки,— двинулся по их следу, еще надеясь, что успеет, что отыщет отца и сумеет уговорить, но надежда с каждым часом угасала, как угасал питавший ее дневной свет, а потом, покружив по лесу, он вышел к Турьей тропе и тут остановился, колеблясь, возвращаться ему или нет, однако все же почему-то послушался дувшего в спину голодного ветра и направился дальше, к вершине, куда не взбирался так давно, что теперь, при виде зияющей под ногами глубокой пропасти, у него сводило челюсти и трепетали коленки, но пропасть он одолел, он одолел пропасть и перевел дух,

а потом пошел еще дальше (но по сути — так ближе: обогнув по широкой дуге гору, он уже не уходил от аула, а двигался ему навстречу), и когда лес поредел, он этого почти не заметил, потому что свет поблек и сделался каким-то узким и сухим, словно потерял свою силу, пока пробирался сквозь густые деревья вместе с Одиноким к оврагу, а когда они достигли его, свет разом отсырел, и Одинокий ему позавидовал, потому что сам ужасно, до шороха в зубу, мучался жаждой, и тогда, чтобы ее утолить, он спустился в овраг и принялся ворошить гнилые листья, пытаясь отыскать ручей, только вместо ручья отыскал Барысби, тот валялся в овраге среди гнилых листьев и даже уже не стонал, вещи его тоже успели пропахнуть гнилью, а из-под плеча сочилась лужица с талой водой, и Одинокий понял, что тот лежит там уже давно, наверно, с самого полудня, с тех пор, как прозвучал выстрел; лицо Барысби было измазано кровью, и Одинокий умыл его, черпая воду прямо из лужи; потом он завернул его в бурку и потащил в аул по пологому спуску с западной стороны горы; до места, где склон, заканчиваясь, переходил в ровный, как лед, пятачок набережного яруса, он шел около часа (в любой другой день ему бы понадобилось на это столько времени, сколько требуется на то, чтобы сбежать по пригорку вниз, облюбовать толстое дерево, справить за ним малую нужду, а потом налегке прыгнуть с края склона на выпирающий из его отсеченного молнией бока каменный пласт яруса), а когда лес остался позади, оглянувшись, он увидел в десятке шагов от себя слюнявую морду шакала и запустил в нее камнем, но через минуту шакал появился опять, и тогда Одинокий сбросил с плеча ружье, тщательно

прицелился и мягко нажал на курок, а после того, как дым рассеялся, понял, что промахнулся: слишком устал, руки устали и тряслись; через сотню метров он остановился, дал им роздых и попробовал опять, но и тут его постигла неудача: как и в первый раз, пуля вонзилась в камень в нескольких шагах от цели, взбив фонтанчик пыли и вынудив шакала разве что вздрогнуть да вяло кинуться в сторону; потом он снова шел за ними по пятам, и даже когда Одинокий миновал прибрежную гальку и ступил на дощатый мост, животное упрямо последовало за ним, и Одинокому почудилось, что шакал тоже намеревается перейти бурный поток по деревянному настилу, и только услышав оскорбленный лай, он с облегчением подумал: вот и ладно, а потом обернулся и сказал вслух: «Поищи себе где-нибудь падаль, паршивый ты пес, не то кишки сведет с голодухи», сказал и рассмеялся, от смеха стало и впрямь веселей, и он снова взялся за ношу, чувствуя, как мгновенно вздулись вены в предплечьях и глухо заныли, приготовившись к новой боли; он двигался по самому берегу, река кидала брызги, и Одинокий замотал Барысби лицо башлыком; по мокрой гальке тянуть было проще, но несколько раз он оскальзывался и разбивал колени, потом, передохнув с минуту, медленно вставал в рост и принимался шагать дальше; еще через полчаса он вошел в аул, и теперь ему оставалось лишь одолеть притихшую улицу, и это вот было труднее всего, потому что они, говорит Одинокий, трусили, сидели и молчали, и никто из них не поспешил мне на помощь, они только глядели, и от волнения у них дрожали кадыки, и каждый из них молил небо о том, чтобы я не дошел до его ворот, а потом — чтобы я прошел мимо, а когда

я добрался до ваших, брат твой тоже молчал и стерег калитку руками, а тебя опять нигде не было, словно те восемь лет еще продолжались, а я шагал и думал о том, почему это всегда все так плохо заканчивается, даже если конец переносится судьбою на восемь лет вперед, я думал о том, говорит Одинокый, почему тебя нигде нет, ведь ты должен был наблюдать за нами хотя бы украдкой, как наблюдает кузнец за подкованным им конем или как угостивший следит за теми, кто угощается, но тебя нигде не было, и тогда я подумал: а может, то был не ты? а после подумал: но больше-то некому, а потом, говорит Одинокый, я дошел и позвал его сына, и тут мне сделалось в самом себе как-то гулко и тесно, а потом сразу — темно, очень темно и тепло, и даже думать теперь было не нужно, а когда я снова открыл глаза, они стояли надо мной и, похоже, по-прежнему не собирались ничего говорить, зато помогли мне подняться и отправили с миром домой, и я вошел к себе и стал пить воду, я пил и пил, чтобы затопить сухость внутри, а потом пил, смакуя каждую каплю, и уже почти напился, когда услышал шаги и понял, что это ты; ты пришел, чтобы закончить те восемь лет; ты пришел, говорит Одинокый, чтобы разобраться, как тебе поступать дальше и что тебе делать со мной, потому как от мести ты устал, ты жил ее эхом целых восемь лет, а потом еще целый день, не считая полуденного мгновенья, когда эхо воплотилось в выстрел, но тут же снова вернулось, став само собой, только теперь до самого вечера звучало оно громче и назойливей, так что тебе опостылело слушать его противный повторяющийся щелчок, и тогда ты, говорит Одинокый,

пришел сюда, чтобы сделать выбор, и я не буду тебе мешать...

Он замолкает и встает, идет в глубь комнаты и снимает со стены ружье, цена которого, размышляет Одинокый, стоит моему отцу лишь решиться, может враз подскочить еще на одну восьмую с каждого урожая, собранного нами с его земли. Передернув затвор, он проверяет патронник, заряжает ружье и кладет его, прислонив к столу, рядом с гостем. Потом он садится и смотрит на отца. Тот говорит: «Только я его не убил. Брат тоже считает, что его убил я, но это не так». — «Да, — говорит Одинокый. — Ты его ранил. Полоснул по щеке и порвал пулей ухо, но он жив. Он сорвался в овраг и сломал себе ногу, но это — пустяк. Он оправится. Ты не сумел его убить». У отца маленьким острым шаром плывет по желудку жаркий комок. Когда он вновь начинает говорить, у него стучат зубы: «Я даже в него не стрелял. Сегодня мы так и не встретились. Мы столковались с ним встретиться у излучины. Я просидел там все утро, но он не появился. Я пошел в лес, только уже и сам не знал, хочу его там встретить или...» — «Или боишься», — говорит Одинокый. А отец продолжает: «Вчера я знал, что хочу, а сегодня — нет. Я не знал уже с рассвета и так и не узнал, пока бродил по лесу. А когда возвратился домой, было поздно ломать над этим голову, и я уже хотел только перетерпеть ночь, чтобы наступило завтра и разъяснило мне, чего же хочу я теперь. Конечно, он струсил, но я не знал, достаточно мне этого или нет. Может, этого слишком мало. Но я не знал, как быть, даже если этого все же достаточно, потому что не знал, для чего оно достаточно, а для чего — нет. А потом брат

сказал, что он мертв, и обозвал меня убийцей. Он не желал мне верить, и мы подрались. Только он все равно не верил, а я уже думал о тебе. Я думал о том, что ты оплошал, что решился принять этот грех на себя и совершить то, против чего боролся столько лет. Я подумал, что ты сдался, и побежал сюда взглянуть на человека, который только что признал свое поражение и вдруг стал достоин одного лишь презрения... Только, похоже, ты тоже в него не стрелял. Похоже, мы оба в него не стреляли, хоть и ходили за ним по пятам с заряженными ружьями. А теперь мы сидим в твоём доме, и ты подсовываешь мне заряженное ружье, которое все еще пахнет порохом, и предлагаешь сделать выбор, словно я какой-то выживший из ума неудачник-убийца... Станный ты. Сказать по чести, я и сейчас не знаю, как к тебе отношусь. Только, слава Богу, ты недостоин презрения. Быть может, ты достоин ненависти или восхищения. А может, даже чьей-то жалости. Наверно, смерти ты достоин тоже. Но презрения — нет. Я не могу выбирать ружье. И не хочу тебя жалеть. Мне и верить-то тебе неохота, да нет другого выхода. Что мне охота, так это — домой». Одинокий отводит взгляд и следит за тенью у себя под ногами. Потом кивает и протягивает руку, только отец мой ее не замечает. Он толкает дверь, пробегает по ней ладонью и нащупывает круглое углубление. Поковыряв в нем пальцем, говорит: «Стало быть, прошлой ночью тебе от него послание вышло. Предупреждал тебя как бы...» — «Да,— говорит Одинокий.— Словно призывал в свидетели. Или на помощь. Или палил с отчаянья оттого, что даже меня уцелить не может». — «Или оттого,— встревает отец,— что не желает идти на охоту за прош-

лым». — «Может, и так. А скорее — от всего разом. Не просто тут разобрать...» Отец уходит. Он направляется к нам в хадзар. Дед уже ждет его, сидя на скамье и сурово насупив брови. Дядя стоит рядом с ним. У него приоткрыт распухший рот и воспалены глаза. Отец подходит к ним и, опередив старика, говорит железным голосом, чтобы предупредить все вопросы: «Я вот что... Послушайте внимательно то, что я сейчас скажу, ибо повторяю я это в последний раз: в Барысби я не стрелял. А коли кто из вас когда-нибудь в том усомнится, клянусь небом, я пойду и убью его, хоть мне оно уже и не особо хочется». Он резко разворачивается на пятках и выходит во двор, чтобы вдохнуть всей грудью черный, глубокий воздух вечера, в который для него закончились самые долгие в жизни его восемь лет...

А Одинокий в это время занят тем, что разводит огонь в очаге. Раздув угли и подложив хворосту, он сидит на корточках и смотрит в чистое, молодое пламя, пытаясь понять, что же все-таки сегодня произошло. Он размышляет над тем, чей же выстрел заставил Барысби потерять равновесие и рухнуть в овраг, если те двое, кто только и имел на это какие-либо причины, в него не стреляли. Он перебирает в уме каждого из аульчан, но не находит и подобия того, что можно назвать ответом, пусть это будет даже ответ неправильный. И тем не менее кто-то нажал на курок и продырявил Барысби правое ухо. Пуля задела щеку, распоров на скуле кожу, и вышла через правое ухо. Выходит, стреляли откуда-то снизу. Снизу был овраг. Значит, стреляли из самого оврага. Но почему в таком случае стрелявший поленился проверить, улучил он жертву или только полоснул ее по щеке, если жертва эта чуть не

призывала его к тому, чтоб проверить, скатившись ему прямо под ноги? Что-то здесь явно не увязывалось. Глядя на огонь, Одинокий думает: «Это все равно что подрезать собственные пальцы, чтобы натянуть на ногу тесные сапоги». Совершенно бессмысленно стрелять в человека, ждать, когда он свалится пред тобой в пожухлые листья, убедиться, что пущенная тобою пуля могла его разве что оглушить, а потом преспокойненько уйти восвояси, рассчитывая лишь на то, что никто его тут не найдет, а стало быть, и не узнает, кто в него стрелял. Для того, чтобы проделать все это, нужно быть безумцем. Или хитрым настолько, чтобы обхитрить самого себя... «А может, — вдруг думает он, — кому-то понадобилось подстроить все таким образом, чтобы за виновного был признан тот, у кого есть на выстрел причины?» Таких людей было двое: он и мой отец. Однако чтобы точно знать, у кого есть причины поквитаться с Барысби, опять же надо было оказаться одним из этой двойки, потому что кроме них да самого Барысби никто и по сей день ничего такого не подозревал. Получался замкнутый круг. Вернее, треугольник: Одинокий, отец и Барысби. И получалось, что кто-то врет. И получалось, что врет мой отец, ибо Одинокий говорил правду, а Барысби врать не мог, потому как не вымолвил еще ни слова. И получалось, что ничего не получается, так как отец мой тоже ему не соврал, ведь Одинокий был единственным, кому он мог поведать истину, не опасаясь при этом, что от него потребуют доказательств. И получалось, что не лгали все трое, и все же кто-то из них нажал на курок, а значит, он же и соврал, только ни мой отец, ни Одинокий, ни Барысби не врали, хоть кто-то из них и нажимал на

курок сегодня в полдень, несмотря на то, что все они не врали, а Барысби — так вообще не успел еще и рта раскрыть, чтобы соврать или сказать правду, но двое из троих не врали наверняка, пусть кто-то из этой тройки и спускал сегодня в полдень курок, а потом точно не врал или соврать пока не успел... И тут Одинокый вдруг понимает, а когда понимает, даже вскрикивает от неожиданности. Он вскакивает на ноги и начинает стремительно шагать по комнате, забыв о своей усталости. От возбуждения он хлопает себя по ляжкам и чертыхается, залепив в стену открытой ладонью. Теперь все видится ему таким простым и незатейливым, что он поражается, как не додумался до этого раньше. Теперь он знает, что все дело в страхе. В страхе человека, который не хуже двух других понимал, что должен раздаться выстрел, и ждал этого мгновения целых восемь лет, готовясь в снах своих к участи быть для того мгновения обязательной мишенью, и вот уже с прошлого вечера был вслух назначен, чтобы ею стать, едва всколыхнется в небе рассвет, и ночь напролет не смыкал глаз, а потом поднялся и пошел по ночи к воротам того, кто восемь лет молчал (словно бы надеялся, что все образуется само собой, хотя по меньшей мере семь лет и еще полгода мог в любой день погнать его с родной земли, но почему-то этого не делал, да еще и молчал весь сегодняшний вечер и, быть может, не знал еще даже, что завтра будет конец), и, просунув ружье сквозь щель в плетне, пальнул в его дверь, а потом побежал назад, улегся в постель и, опять не смыкая глаз, слушал, как трудится жизнь в его сердце, в паху, в желудке, в мозгах и гадал, где она завтра в нем пресечется и вытечет из него сладкой кровью. А с утра он умылся,

еще раз почистил ружье, повесил его на грудь, взял суму с порохом и десятком свинцовых отливок, оглядел украдкой свой двор и домашних и пошел мимо взорванной им когда-то и им же возведенной мельницы к лесу, выбрав самый дальний и слякотный путь до излучины. Конечно, он не хотел умирать или быть мишенью, но еще больше не хотел, чтобы в глазах его перед самой смертью месть прочитала страх. Он выбрал дальнюю тропу, чтобы по дороге потом извести из себя весь страх и предстать перед местью с ровным сердцем и твердыми руками. Наверно, он даже надеялся с ней побороться, а потому ружье свое зарядил у первого лесного дерева, и, наверно, оно показалось ему сразу весомей и значительнее, но руки еще дрожали, так что шел он не спеша — по самой дальней дороге — к излучине, он шел медленнее, чем двигалось утро, сворачиваясь у него над головой в серую дымку и уплывая навсегда — так он думал — с его последнего неба, покорившись прохладной бодрости ветра... Только потом он начал останавливаться. Чем ближе он подходил к излучине, тем чаще останавливался. Он опирался на деревья и вдыхал запах мокрой коры, успокаивая себя тем, что — ничего, мол, тот подождет, ничего, тот ждал гораздо дольше, а значит, может еще чуть-чуть потерпеть, какая-то лишняя минутка, ничего... Но лишние минутки оформлялись в час, а после продолжали складываться мелкой россыпью живого времени, дробясь перед его глазами осколками света, разбивающего острые прутья ветвей. Потом он сказал себе, что хочет напиться, и внушил, что у излучины он может не успеть. Наверно, он убедил себя в этом за сотню шагов до нее и потому свернул к тропе, ведущей

вверх по склону. Тут он даже заторопился, чуть ли не бегом одолевая подъем, говоря себе, что непременно вернется обратно, что тот подождет, ведь теперь ему ждать совсем-совсем немного, что это, мол, вовсе не трусость, ведь на трусость уже не осталось времени, что это просто жажда, и, наверно, от бойкой спешки руки его и впрямь перестали трястись, наверно, он наконец и вправду разбудил в себе достойную смерти решимость, и все, что было ему сейчас нужно,— это глоток студеной влаги да вкус родниковой воды. И когда он припал к источнику, вода была в самом деле такой вкусной, как он ее помнил, и он пил ее взахлеб, погрузив в родник лицо и наслаждаясь холодом. Потом он сел на камни и переждал — какое-то мгновенье! — пока жидкость растечется по телу и исчезнет тяжесть в груди. Сейчас я двинусь, думал он. Немного передохну и пойду. Я столько прошагал с утра, что у меня затекли ноги. Мне надо передохнуть самую малость. Лучше я малость передохну и наберусь сил. Тогда я быстрее достигну излучины. Лишь бы он никуда не ушел. Лишь бы он не решил, что я струсил. Я не струсил и сейчас пойду и докажу ему это. Вот только передохну чуток... Солнце уже почти зависло над самой его головой, и он думает о том, что скоро полдень. Когда он придет к излучине, как раз будет полдень. Но станет ли тот ждать до полудня? Может, и нет. Может, тот уже давно перестал его ждать. Может случиться и так, что я приду, а его уже нет. Коли он решил, что я струсил, его давно уж там нет. Дальше он запрещает себе думать и встает, готовясь к спуску по склону к излучине. Пожалуй, он даже делает несколько шагов, прежде чем снова остановиться и, поскольку страху в нем

действительно больше нет, отважно додумать ту мысль до конца, а потом сказать себе честно и смело: его там нет. Ты же знаешь, что его там нет, ведь ты должен был явиться туда ранним утром, а теперь уж близится полдень. Его нет, ибо он понял, что ты трусил. Ты трусил слишком долго, чтобы он поверил, будто у тебя хватит духу дойти до излучины хотя бы в полдень. Тогда зачем себя обманывать и спускаться туда, где тебя никто уж не ждет? Разве это не продолжение трусости? Он стоит в раздумье и смотрит на вечный изгиб тропы, по которой сегодня ему уже никак не добраться до встречи с оскорбленной обманом мстью. Потом сплевывает в траву и поворачивает назад, к хребту горы, хоть страху в нем больше нет и в помине. На развилке троп у Пустой скалы он избирает ту, что ползет, оскальзываясь, по крутому боку горы и петляет по ней легкой причудливой нитью. От страха он оправился полностью и потому неосознанно, но упрямо ищет опасности и выбирает тропу, по которой надеется обойти сегодняшний день и, не потеряв ощущения освободившегося от страха человека, безболезненно добрести до дня следующего, чтобы выстрел, пусть с опозданием на целые сутки, но — состоялся. Пока он не знает в точности, как ему нужно это уладить, но, похоже, уверен, что это ему удастся. Теперь он смел настолько, что позволяет себе даже некоторую небрежность, когда ему приходится огибать скалистую стену или прыгать через какой-нибудь узкий обрыв. По тропе шириной в две ладони он движется так стремительно, словно под ним мощеная улица, а не две ладони влажной каменистой породы. Все это очень смахивает на бег по острию ножа, в который он пускается только

оттого, что его смелость запоздала на несколько часов, так что для него это все же больше погоня, чем бег. Погоня за утраченным днем и своим достоинством. Как бы там ни было, а он здорово рискует, когда шагает лихо по узкой коварной тропе навстречу полудню и изо всех сил не боится сорваться в пропасть. Только он все равно обречен. Он обречен, потому что выстрелу суждено раздаться сегодня. Быть может, где-то в глубине души он понимает, что не в его власти предотвратить то, что готовилось временем целых восемь лет и твердо назначено на сегодня. Что тут мало опоздать на несколько часов, как мало для отсрочки обрести шальную смелость. Быть может, он это чувствует и даже крепко надеется встретить врага сейчас, в мгновение, когда бежит над пропастью и совсем не боится умереть. А потом пропасть оказывается позади, но с ним все еще так ничего и не произошло, и, наверное, от этого ему немного обидно: как иначе, если столько смелости растрчено им впустую! И тогда он упрямо идет дальше, преследуя тропу, словно чудовищную длинную змею, хвост которой он топчет с остервенением взбешенного ее размерами муравья, и от ярости у него начинается головокружение, а небрежность становится неряшливостью человека, опьяненного собственной смелостью, и тогда наступает расплата — какая-то коряга или комок земли, вставший у него на пути. Он спотыкается и машинально пытается найти опору в зажатом в руке и с самого рассвета заряженном на выстрел ружье, и оно отвечает ему взрывом и вспышкой огня, а он уже катится в гнилой от сырости овраг, думая, если еще не потерял соз-

нения, что месть оказалась насмешкой, жестокой и гнусной насмешкой над его позором и слабостью. А потом он лежит на дне оврага в талой воде, и тело его, которому не помогает уже отстранившийся разум, отчаянно трудится, приманивая к себе приносящую к его неподвижности смерть. Но сломанная нога, простреленное ухо да шишка на затылке — плохая для нее приманка, а потому вместо ощущения крылатого покоя, который снится ему, пока он считает, что умер, с пробуждением его ждет огромная, беспощадная волна унижения. Она хлынет на него сразу, едва он вновь услышит в себе проклятую жизнь. И вот тогда, размышляет Одинокый, может случиться всякое. Унижение захлестнет его душу и вытеснит из нее последнюю потребность в достоинстве. Тут-то и может случиться всякая подлость. Тут-то он и постарается отомстить за то, что не смог умереть. Да, думает Одинокый. У него не будет иного выхода. У него не будет иного выхода, потому что он Барысби и потому что жив. А когда у него станут допытываться, кто в него стрелял, он сможет выбирать между тем, кто, сидя у излучины, по солнцу наблюдал его трусость, и тем, кто не позволил ему умереть, подобрав его тело в овраге. Он будет выбирать между двумя ненавистями, тем более что теперь, когда выстрел уже прозвучал, он может не бояться наших разоблачений, ибо никакие разоблачения не изменят того, что выстрел прозвучал, и, стало быть, пришел черед произвести ответный. Теперь, когда прозвучал выстрел, никакое разоблачение не заставит его земляков презирать Барысби больше, чем если из ружья его не раздастся ответный выстрел. Скорее ему простят мельницу и подлость, чем нежеланье

мстить. Ему простят бельгийцев и динамит, лишь только он прикажет сыну взять ружье и назовет имя жертвы. Ему простят и русского, и мельницу, если его одураченный сын отправится с ружьем на охоту за собственной честью и по нерасторопности получит пулю в лоб. Теперь Барысби простят все, кроме бездействия или медлительности. Но очень возможно, размышляет Одинокый, они и не будут знать, что должны ему что-то прощать, если никто из двоих, на кого он может показать сыну пальцем, не проболтается. Ну а эти двое будут ждать, пока Барысби заговорит сам. У них тоже нет другого выхода. Им надо просто ждать. Теперь это для них все равно что обязательство перед всей той историей и собственной совестью. И заговорить для них сейчас так же невероятно, как добить лежащего или разделить с ним его унижение, пусть от него на долю их придется только крохотная крупичка стыда. Да и не для того они столько лет хранили молчание, чтобы сейчас поведать о тайне своей целому миру и позволить ему вторгнуться шумом в пределы тугим обручем взаимных долгов на годы сковавшей их судьбы общей истории, что определила смысл их существования, а стало быть, и сотворила их такими, какими они сделались лишь для того, чтобы поодиночке — и потому по-прежнему втроем — добраться до ее развязки и при этом, даже ради ее приближения, не поступиться цельностью загадочного триединства. Иными словами, рассказать значит предать — и историю, и самих себя, это значит не выдержать испытания и опошлить те восемь лет, что каждый из них (а не только тот, что был посажен в острог, а после сослан в Сибирь) провел в плену у своего молчания. Все, что нам

остается, размышляет Одинокий, это не мешать молчанию плести из его униженной подлости скорую развязку. Он понимает это не хуже моего, думает он о моем отце.

И думает правильно: всю ночь у отца не идут из головы два патрона, что высыпались у него из сумки где-то в лесу и прочно засели в мозгу у дяди. Плевать на то, что скажет Барысби. Плевать, поверят ли ему другие. Плохо лишь то, что кровный мой младший брат никогда не забудет мне пары случайно оброненных патронов, говорит он себе в напряженной тишине их мучительной близости, слушая осторожное дыхание с соседней койки и стиснув руку в кулак. Как бы то ни было, а сегодня я не стал убийцей, и это главное. Столько лет гадал, смогу ли не сделать себя убийцей, а сегодня я знаю, что мне это удалось. Я совладал, и это главное. Главное то, что он испугался человека, который смог бы его не убить. Теперь он станет выдумывать небылицы и, может быть, заставит аульчан заподозрить нас с Одиноким, только, сдается мне, он никогда уже не осилит сказать об этом прямо и вслух, как не осилит поднять ружье. А нас и без того подозревать будут, особенно коли прознают про мои два патрона и две пули Одинокого, не уцелевшие какого-то шакала, которого никто, кроме него, не видал и в которого никто потому не поверит, ведь по сю пору у них не истерлось из памяти, как метко он отстреливал зайцев, обменивая их на порох у нашего старика. От подозрений нас не спасет даже дырка в его двери. Для нее всего-то и надобны, что одна пуля или единственный патрон. Как и для пробитого уха. Они решат, что для двух выстрелов совсем не требуется двух разных стрелков. Они решат, что в дверь палил один из нас, чтоб удобнее было оправдываться, когда

нихас начнет выяснять, кому понадобилось покушаться на Барысби и отчего это так точно совпало с моим возвращением. Конечно, сперва они подумают на меня, только тут им будет слишком уж невдомек, какого дьявола мне нужно было на него охотиться, и тогда они дружно вспомнят об Одиноким: когда все непонятно, о ком же еще вспоминать, как не о нем. То, что именно он притащил Барысби в аул, их не смутит, ведь и на это у него мог быть в запасе хитрый расчет: к примеру, решат они, свалить вину на меня, если мое присутствие было чем-то ему невыгодно и чересчур докучало... Впрочем, нет, рассуждает отец сам с собой. Чушь. Чушь. Мне лезет в голову всякая чушь. Потому что они подумают на меня. Разве что Барысби вдруг укажет на Одиноким. Вот тогда они ему поверят безоговорочно. И вмиг изобретут сотню причин, по которым он мог это сделать. Тогда уж ему ничто не поможет. Даже если я встану перед нихасом и возьму вину на себя. Выходит, Одиноким рискует не меньше меня... Только у Барысби кишка тонка, чтобы сказать о чем-то громко и вслух. Все, на что он способен — это довольствоваться намеками. Ладно. Хватит об этом. Не это главное. Главное — я сегодня сумел не убить человека, говорит отец сам себе. Плохо только, что потерялись патроны. Паршиво, когда в самый неподходящий момент из сумки твоей вываливаются два дурацких патрона и про них помнит твой единокровный младший брат...

Так что с Одиноким, в общем-то, они рассуждают похоже, хоть мой отец и убежден, что даже с отчаяния Барысби уже не осмелится клеветать на кого-то из них, ведь еще прошлого дня он читал страх в его глазах, когда подстерег его у Синей тропы, где сидел, прислонившись спиной к валуну и наблюдая за новой

мельницей (для него она такая же новая, какой была для любого из наших в день, когда обзавелась жерновами, возвысившись на месте старой: он-то видит ее впервые). И я, конечно, не знаю, как они там повстречались, да только кроме Синей тропы им и повстречаться-то было негде, если их встреча осталась никем незамеченной, — то есть настолько, что вроде бы ее в действительности и вовсе-то не было, но уж коли она была, так, значит, у Синей тропы, за валуном. И, ясное дело, совсем уж мне неизвестно, откуда отец мой прознал, что Барысби там неизбежно появится, но если уговорились они об охоте, стало быть, Барысби у Синей тропы появился. Выходит, отец ждал не зря и, наверно, имел на то основания, причем такие веские, что о встрече той никому никогда не рассказывал — не только о встрече, но и о том, как она им готовилась, будто она не готовилась им вообще, а была чем-то само собой разумеющимся, словно привал для путника или мытье рук в роднике, из которого он хочет напиться. И, думаю, секрет тут заключался в том, что для отца встреча эта давным-давно сделалась необратимой реальностью, скажем, еще лет восемь назад, и если бы она вдруг по каким-то причинам не состоялась, он удивился бы этому больше, чем путник, идущей восемь лет подряд к далекой цели, — тому, что за страшное это время он не продвинулся к ней ни на шаг. Ибо она — цель, встреча — жила в его видениях все годы, что он к ней упорно шел, и день за днем терпеливо шлифовалась его воображением, покуда в конце концов он не выучил ее наизусть и с той поры уже только ждал мгновения, когда ему доведется воспроизвести наяву те несколько слов, движений и жестов, что повторял он в уме многие сотни дней, вечеров

и ночей и которые, едва Барысби возник перед ним, заняли у отца какую-нибудь минуту или того меньше: много ли надо, чтобы произнести в лицо перепуганному человеку пригоршню слов! Таких, например: «Вот ты и набрел на меня. И правильно сделал. Потому как завтра на рассвете мы идем с тобой на охоту. Захвати ружье и приходи к излучине...» Или просто: «Может, не все еще для тебя потеряно. Если ты по-прежнему добрый охотник, приходи на рассвете к излучине...» Или: «Сегодня уж для охоты поздно. Выходит, завтра пойдем. На рассвете мы отправимся в лес. Я буду ждать тебя у излучины. Возьми свое лучшее ружье...» Вот и все. Что-нибудь в этом роде. Мало слов и много смысла. И прочитанный в глазах врага жуткий страх. (Вот что было вчера. А сегодня, завершая труднейший в своей жизни день, отец мой думает: «Я постарел. Я не радуюсь своей победе. Я вернулся домой, а мне все так же нехорошо. Наверно, я постарел. И устал от себя. Наверно, старость — это когда устаешь от самого себя и чувствуешь безысходность. Безысходность от себя самого. И это — дурная старость. От нее я устал тоже...»

А дядя мой уже спит, распластавшись на циновке, и видит громкий, беспокойный сон. И старший брат его, забывший запах дома, завидует ему и смотрит в потолок, кинув за голову руки, способные на слишком многое, и даже на то, чтобы суметь не убить человека...

А в очаге у Одинокого жаром трещат угольки и норовят изгнать из стен въевшийся в камень холод. В этом хадзаре темно и зябко. Здесь движется разве что ночь, растекаясь по углам в тщетных поисках тепла и уюта. Здесь темно, зябко и движется разве что ночь...

А в доме Барысби до утра не гаснет лучина. Перед распростертым на постели изувеченным телом сидит пожилая печальная женщина и сторожит свою надежду, положив сухие ладони на чуть волнующее слабым дыханием одеяло. Лицо ее мужа кажется ей неродным, но не от ушибов и не от раны на щеке. Слишком уж оно покойно и равнодушно. В нем нет ни боли, ни страдания. Нет в нём ничего. Когда женщина пытается вспомнить настоящее его лицо, то, что перед ней, ей только мешает. Лучина горит, и пламя ползет по ней вниз, вытягивая тень, и та остывает на его коже острым черным пятном. Женщина тихо плачет и иногда шепчет сквозь слезы простую молитву. Она пытается вспомнить лицо человека, с кем прожила почти всю жизнь, зачав от него трех дочерей и единственного сына, но лицо от нее всякий раз ускользает, стоит ей взглянуть на того, кто лежит перед ней на свежей постели и подчиняется равнодушно нашествию черной тени. Женщина молится и плачет, укоряя себя за то, что в душе ее мало веры.

Сейчас, в этот поздний и утомительно долгий миг, печальная женщина перед распростертым телом оказывается мудрее всех...

Она оказывается мудрее всех, потому, что муж ее больше никогда не заговорит и не обретет своего лица, даже когда на нем зарастут рубцами раны, а на затылке рассосется огромная шишка. Он не умрет, но так уже и не вспомнит себя настоящего, как не узнает ни выходявшей его женщины, ни зачатых от нее детей. Он не вспомнит даже собственного имени, да только оно ему больше никогда и не понадобится, ведь он напрочь забудет язык, на котором говорил с рождения и на котором слушал свои

мысли. Он не умрет, но не поймет даже этого, а его взрослый сын еще не раз пожалеет, что не стал сиротой и не потерял своего отца, вместо которого судьба сохранила жизнь чужому бессловесному существу с равнодушными, как копыта, глазами, не менявшими выражения тогда даже, когда по скамейке, где он сидел, начинал вдруг струиться обильный бесстыжий ручеек. Он не умрет и сделается таким покорным, что его домашние, чьим рукам он будет подчиняться, станут прятать взгляды, чтобы не смотреть на то, как он часами недвижно стоит на дворе, куда его привели, и равно дышит, уставившись на плуг, плетень или пустое ведро. Он больше ни разу не поднимется на нихас, но не потому, что это трудно для его хромоты, а потому, что его не пустят даже на улицу, сам же он о том не попросит: все, в чем он отныне не будет нуждаться, это лишь миска похлебки да чурек с щепоткой соли дважды в день, когда младшая дочь скормит их ему по ложечке и по кусочку, раздраженно следя за медленной, работой крутых челюстей и думая: «Ему не вкусно и не противно. Даже зверю бывает вкусно или противно. Даже овце. А ему все одно. Коли пару дней его не кормить, небось он сожрет свои газыри или собственный палец. И опять ему не будет ни вкусно, ни противно...» А женщина с печальными ладонями, оказавшаяся мудрее всех, смирится раньше других и попросит своего единственного сына: «Представь себе, что это младенец. Станет легче, если ты представишь, что он всего лишь несмышленный младенец и что теперь уж быть ему младенцем до самой смерти. Утешай себя тем, что он спокоен. Твой отец наконец успокоился, а значит, ему хорошо. Не позволяй себе

обижать его даже мыслями. Просто терпи. Никто не требует от тебя уважения к нему или любви. Просто терпи и думай, что это младенец...» — «Ладно тебе, — ответит ей сын. — Гляди-ка, опять потекло. Иди, смени младенцу пеленки». И тогда она вlepит ему пощечину, потому что ей еще он больше сын, чем глава семейства. И, уходя за чистой сменой белья, она ему пригрозит: «Я прокляну тебя. Если ты хотя бы раз еще... Я тебя прокляну». А сын, залившись краской, думает: «Когда-нибудь я узнаю всю правду и прикончу того, кто в него стрелял. Дай только время, и я его прикончу за то, что он стрелял. За то, что не убил — тоже...»

Но старики на нихase упорно отмалчиваются в его присутствии, а мой отец и Одинокий предпочитают вовсе там не появляться. «Одинокий? Одинокий, — говорит мне дядя много лет спустя, — тот вообще и к могилам уже почти не ходил. Словно ему с ними и побеседовать теперь было не о чем. Чаще у себя в хадзаре отсиживался. Пил, наверно, не знаю. Меня-то он в гости не приглашал. Иногда его неделями не видали. Крепко, выходит, закладывал, коли людям на глаза неделями не показывался. Да только я утверждать не берусь, потому как и пьяным его в тот год не встречал. В тот год случилось много странностей...» Он называл это «странностями». То, что приключилось с Барысби, с Одиноким или с моим отцом, решившим внезапно жениться...

«Мне надо полмесяца и кобылу, — заявил он как-то нашему старику. — Через полмесяца приеду и скажу, куда тебе засылать сватов. Дай мне кобылу, черкеску, в которой женился на матери, и полмесяца сроку...» Дед согласился уже к вечеру, несмотря на

то, что был, в сущности, против задумки искать для сына невесту где-то на стороне. Однако, поразмыслив, возражать не рискнул, рассудив, по-видимому, что выгодней ему один раз кивнуть и меньше чем через год обзавестись внуком, нежели увещевать неизвестно сколько времени упряма, вбившего в голову не жениться ни на ком из аульчанок. Так что отец, получив благословение и поправ обычай, сам отправился в дорогу, которая должна была за две недели вывести его кобылу к дому той, кому суждено было приглянуться ему настолько, чтоб он определил ее в мои матери.

И через пять дней он ее увидал. Сперва он услышал смех и потянул за уздцы лошадь, потом развернулся в седле и заглянул за незнакомый плетень. Он подъехал к воротам и постучал в них кнутом. Поприветствовав хозяина, спешил и вошел в его дом. За обедом говорили мало, а хозяин внимательно изучал исподлобья его крупные руки. Отец почти не угощался и только шнырял зрачками за каждым раздавшимся шорохом. За пять дней он побывал во многих домах, но нигде прежде не слышал такого смеха. Теперь он хотел взглянуть на ту, что смеялась так, будто никогда не ведала скуки и боли. Спустя добрый час, в течение которого она даже не выглянула из-за женской половины, он сказал: «Ищу одного человека. Объехал уже два ущелья, но так его и не встретил. Сегодня мне почудилось, что я его услышал. Ради этого человека я объездил два ущелья, но услышал его только в твоём. Теперь мне надобно его увидеть. Позови свою дочь». Побелевший от гнева хозяин ответил не сразу. С минуту они сверлили друг друга глазами, а потом тот сказал: «Благодаря Бога, что ты мой гость. Да

помни, что не успеешь за порог выйти, как превратишься из гостя в мерзавца. А с мерзавцами такое дело, что любого из них и под зад пнуть можно». На что отец, придвинувши грудь к своим рукам и уперевшись в край стола, отвечает: «Уж не думаешь ли ты меня запугать? Или, может, оскорбить хочешь? Да ведь негоже оскорблять того, кто через месяц тебе зятем станет. Если, понятно, сам того пожелает. Но для этого ему надобно сперва на нее поглядеть. Позови свою дочь». Потом между ними колеблется рябью тесная тишина, и чем ее больше, тем труднее хозяину подобрать к ней слова. А будущий отец мой, не мигая, торопит его плотным взглядом, и что-то в том взгляде мешает хозяину с ним разругаться. Наконец, он сдается. Она выходит к ним с низко опущенной головой и похожа на трепет птицы, пойманной в силки. «Покажи мне лицо,— говорит отец,— и посмотри в мое...» Это продолжается не дольше секунды, потом она убегает, вспорхнув как ладный юный зверек, и исчезает за занавеской. Отец смахивает пот со лба и обращается к хозяину изменившимся голосом: «Давай-ка столкнемся. Мы столкнемся быстро, как два бедняка. Все, что у меня имеется, так это кинжал и черкеска. Да та кобыла, что стоит на твоём дворе. Есть и клочок земли — чуть больше, чем можно сунуть за пазуху. И вот эти руки, готовые к любой работе. Еще у меня есть младший брат и старый отец, никогда не знавший богатства. Есть полный дом всегда голодных ртов да полная вязанка дров на зиму. Их у нас всегда хватает. Но единственное, что есть у меня в избытке,— это прошлое. Его у меня столько, что пойду на все. Если понадобится, я ее украду. Я умыкну твою дочь, коли

придется. Лучше отдай ее за меня по-хорошему. Сейчас я уйду, а ты подумай. Через несколько дней зашлю к тебе сватов». На этом он замолкает, благодарит хозяина за гостеприимство и покидает его хадзар. А вернувшись в свой, говорит моему деду: «Я нашел...Ехать, мол, туда-то и туда-то. Обождем с десяток деньков и отправим сватов». А старик спрашивает, как, мол, ее зовут. И отец говорит, что она, мол, ему тоже понравится. «Как ее имя?— повторяет дед, а когда отец опять увиливает от ответа, вскипает: — Ты даже не поинтересовался именем!» — «Я опишу тебе ее,— защищается отец.— Она похожа на...» — «Плевать мне, на кого она похожа! — ревет старик.— Пусть она будет похожа хоть на крючок, хоть на кукурузный початок, хоть на желтый зуб, хоть на забор, хоть на печную трубу или пивной котел, пусть она будет похожа хоть на тебя самого — мне на это плевать! Коли нет у нее имени, я знаю, на кого она не похожа. А не похожа он пока лишь только на мою невестку...» — «Нет,— упорствует отец.— На твою невестку она похоже больше всего. Или я мало похож на твоего старшего сына...»

В общем, старику вновь приходится уступить. И через пару недель они снаряжают сватов, но, воротившись, те не привозят с собой ничего, кроме ее имени. И тут уже загорается азартом мой дед. Борода его возмущенно ходит ходуном под крепко стиснутыми зубами. Он идет к себе, а спустя минуту опять оказывается в комнате, где понуро стоят оба его сына. Он швыряет им под ноги сверток и говорит: «Скормите ему кинжал, а коли не примет — меняйте на себя! Тогда уж сами его слопаете. Жених проглотит лезвие, а подженишник — ножны! Убирайтесь! Даю вам сроку два дня».

И, конечно, в путь они трогаются сразу, невзирая на темноту и заморосивший мелкий дождик. А уже по дороге отец вдруг стреножит кобылу и, прыгнув с нее, приказывает брату ждать, а сам бежит во весь опор обратно в аул. Что-то забыл, размышляет дядя, но вот что — отец ему не раскрывает до самого приезда, когда они, спешившись утром у отвергнувших сватов ворот, входят в дом, где прячется за толстой занавеской отца околдовавший смех. Расположившись за столом и опрокинув три обязательных рога, они приступают к делу. Точнее, к нему приступает отец, а дядя только молчит да слушает, как брат его предлагает хозяину на время отвлечься от застолья, чтобы принять от них подарки. «От всего сердца», — объясняет отец, достает из свертка полпуда серебра дагестанской работы и внимательно следит за реакцией хозяина. Тот явно впечатлен, и глазам его больно от яркого блеска, но по внешней и гордой невозмутимости его оба гостя с тоской убеждаются, что ничего из их серебряной затеи не выйдет, потому как он даже за полпуда серебра не согласится обзавестись таким зятем, как будущий мой отец. «Добрый кинжал, — холодно произносит хозяин и отодвигает его подальше от себя, чтобы не поддаться соблазну. — Только у меня уже давно свой имеется, да и служит он мне исправно. Так исправно, что мне и обменивать его ни на что не захочется...» И дядя думает: всё. Теперь нам с братом остается поделить его на лезвие и ножны, смочить аракой и сунуть в глотки. Я выбираю ножны...

А отец вроде и не смущен ничуть. «Погоди, — говорит он и вытаскивает из башлыка что-то очень дяде знакомое, но невиданное им столько лет, что он

не сразу ее опознает, а опознав, вмиг соображает, куда бегал его старший брат прошлой ночью, бросив его под дождем. — У нас тут еще кое-что припасено. От такого подарка ты точно не откажешься». А тот, потеряв ее в руках, спрашивает: «Что за игрушка такая?» — «Нет, — поправляет отец. — Не игрушка — игра». И начинает показывать, а потом для пробы предлагает сыграть. И, конечно, первую хозяин выигрывает, и тогда тот, кто уже кинул ему затравку и тем самым, по сути, только что сделал широкий, уверенный шаг к своему отцовству, говорит: «Теперь сыграем на кинжал. Ведь выигрыш — это не подарок, правда?» И хозяин, поразмыслив и облизнув сухие губы, утвердительно кивает и делает ход, потянув из колоды новую карту. И, понятное дело, выигрывает опять. Но отчего-то взять кинжал вот так запросто, по одной лишь прихоти рисованной картинки, ему не позволяет тяжелая его крестьянская совесть, но взять серебряное сокровище ему ох как не терпится, и тогда он, решившись и на секунду словно опьянев от своей ответной щедрости, опускает руки под стол, снимает с себя собственный и кладет его на превратившийся в кон фынг заодно с металлическим ремешком и подвеской. «Вот это дело, — подбадривает отец. — Ну а я ставлю кобылу...» При этих словах у дяди моего чуть не лопаются перепонки в ушах. «А может...» — начинает было он, но стальная рука брата сжимает ему колено и запрещает закончить. Глаза у хозяина становятся жалкими, как у пса, которому показали жирную кость и еще не бросили ее на землю. Когда он тянется за картой, руки его трясутся так, словно он боится обжечься. Отец же с виду сохраняет спокойствие, разве что малость побледнел и немного

более не стал бы предварительно вешать ей на седло два кинжала в придачу к двум головам сыновей старого своего, несчастного отца. «Когда она к нам вышла, я ее не увидел,— рассказывал дядя мне.— Глядел прямо на нее и ничего не видел, кроме какой-то худющей уродины. Потом он снова начал их мешать, и я отвернулся и осторожно двинулся во двор, чтобы, едва услышав, вскочить ей на хребет и умчаться подальше от этого проклятого дома. И от потерявшего рассудок брата, глупейшими картинками меряющего цену своего тщеславия, цену полпудового кинжала (что за все пятнадцать лет так и не смог ни разу обменяться, хоть для того на его изготовление на выделку пошло когда-то все наше семейное серебро) и цену кобылы, которая и прежде-то была для нас бесценной, но, едва он поставил ее на кон, разом подорожала еще на жизни двух братьев, хотя уж за них-то,— говорил дядя,— в ту минуту сам я не дал бы и гроша, отыщись он вдруг в моем кармане, однако ж дорожил ими (в особенности одной из них) больше, чем всеми приличиями. Так что я знал, куда иду. А подойдя, погладил ее по крупу и на ухо слово шепнул, чтобы, значит, сено быстрее уминала, а хозяйская голытьба выстроилась вокруг, сложив на груди руки, и следила за каждым моим движением, будто я им вот-вот из-за шивороты луну покажу, ну а я следил сквозь мною же распахнутую дверь за тем, что происходит в доме. Я видел колоду посреди стола и оба их лица. О чем они переговаривались, с такого расстояния я не слышал, но только видел, что они о чем-то переговариваются вместо того, чтобы вытягивать карты. Потом им и это прискучило, и тогда они, набычив шеи, уперлись друг в друга взглядом, совсем забыв

о картах и времени, пока голытьба следила за мной и хмуρο требовала луну. Потом хозяин тяжело задышал, открыв рот и зачерпывая в легкие весь воздух, что был в помещении. Потом что-то произнес, и рот закрылся, а я ухватился за луку седла, и голытьба дружно сделала шаг вперед, теснее смыкая кольцо вокруг меня, кобылы и моего шивороты. И тогда твой отец — твой без году папаша и без шести недель ее жених — обернулся ко мне и отчетливо крикнул: «Все в порядке». А потом протянул ему руку, и у того еще хватило сил проводить нас до самых ворот, а там мы быстро, скомканно — комкал-то я в основном — попрощались, и я ударил ей пятками в бока. А когда мы выбрались из их ущелья и никто за нами так и не погнался, и никто нам в спины не бил из ружья, и никто не ждал нас в засаде, и даже никто нас уже не мог услышать, я остановил кобылу, сел на землю и уткнулся лицом в колени. Потом меня перестало трясти, и я спросил: «Чего ты смеешься? Неужто так это весело — трижды выиграть собственную кобылу и притом ни разу не устыдиться, что мог ее трижды проиграть?» Но он уже не смеялся, он отвратительно гоготал, он просто покатывался с хохоту. И глупая кобыла под ним тоже радостно растворяла пасть, а после и вовсе дико заржала и вставала на дыбы. Через минуту мне было не понять, кто из них ржет, а кто хохочет, тогда я подошел, расправил кнут и звонко, с оттягом, хлестнул ее по костлявому крупу — да так, что она пустилась в галоп, едва не свалив седока. Потом я снова сел на землю и ждал, пока он с ней совладеет. Они вернулись, и он сказал: «Во-первых, не трижды, а дважды. А во-вторых, не вздумай разболтать отцу». Я пропустил мимо ушей его «во-вто-

рых», а по поводу «во-первых» спросил: «Выходит, я был прав, и напоследок вы даже не тянули?» — «Ага, — ответил он. — За кого ты меня считаешь? Может, ты полагаешь, что я из тех, кто ставит на кон свою невесту?» И тут я снова начинаю злиться. Этот самодовольный наглец начинает меня бесить. «Не ее, — говорю. — Ты из тех, кто ставит на кон нашу единственную лошадь, а ее — ту, что ты зовешь невестой, — на кон поставил ее собственный невезучий родитель. Только я тебя спрашивал о другом. Я спрашивал, как тебе удалось?» — «Без труда, — отвечает он. — Неужели ты думаешь, что я столкнусь с тестем, способным ставить на кон свою дочь?» — «Вона как! — говорю. — Ну и ну! А на кого же тогда вы собирались играть, когда он ее позвал?» — «Все правильно, — кивает мне он. — Только в тот момент он еще не был мне тестем, я ему не был зятем, а она не была мне невестой. А уже в следующий мы опомнились и рассудили, что негоже это — будущей родне на родство свое играть в дурацкие картинки. Некрасиво». А я перевариваю сказанное, напрягая воспаленные мозги, встаю с земли, отряхиваю черкеску, подхожу к нему и карабкаюсь на кобылу. С версту мы едем в полном и мягком от дали молчании. Потом я усмехаюсь и говорю: «То есть все, что тебе требовалось, это заставить ее выйти к вам в хадзар и тут же его перед ней пристыдить». — «Угу», — мурлычет он за моей спиной. И спустя еще пару верст я ему говорю: «Черт бы тебя побрал! И ради этого ты дважды рисковал кобылой!..» — «Разве? — спрашивает он. — Что-то не припомню. С чего ты взял?» И сладко зевает мне в затылок. А когда солнце отползает за хребет, он уже надремглся и теперь сам затевает разговор: «Все дело в бедности.

Не будь он настоящим бедняком, мне пришлось бы ее похитить. А так — разошлись полюбовно. Сто́ит только настоящему бедняку посветить блеском в глаза да дать тот блеск малость пощупать пальцами — и из него можно веревки вить». — «Ага, — подтверждаю я. — Или петлю. На случай, если ему вздумается раньше вскрыть своих червей, чем ты вскрыешь пику». — «Опять ты за свое. Скучный ты человек, — говорит. — Кобыла-то по-прежнему наша». — «Да ты взгляни на нее! Пока вы на кону ее держали и тянули каждый к себе, она ж на целую задницу длиннее сделалась! Не лошадь, а ящерица на копытах. Доходяга, а не лошадь! Черт бы побрал вас обоих!.. Да разве ж можно эдакое позорище с плешивой гривой ставить на кон в серьезной игре!» — «Да брось ты, — ухмыляется он. — Кобыла как кобыла. И поумней ящерицы. А задница у нее всегда длиннее вечности была. И проиграть я ее никак не мог...» — «Вот как?» — ехидно интересуюсь я. «Ну ты вот честно скажи, можешь ты себе представить, что бы с нами было, коли б я не ту карту вытащил?» — «Нет, — отвечаю. — Могу лишь начало насочинять: два голодных шакала бегут по голодному лесу и кусают друг дружке хвосты, а один из них уже даже жениться не хочет...» — «Вот видишь, — говорит, — какие нелепости тебе в голову лезут! Про то и толкую, что слишком глупо бы все обернулось, коли б выиграл он, а не я. Так глупо в жизни не бывает. Стало быть, он и права такого не имел — выигрывать...» Наверно, ему кажется, что он произнес нечто очень глубокомысленное, и только сейчас я понимаю, что брат и вправду влюблен. У меня такое чувство, будто кто-то кого-то предал, будто сегодня за игральным столом вместо серебряного

кинжала по ошибке обменяли не кого-нибудь, а меня. У меня такое чувство, будто мы едем с ним в разные стороны. Зато, говорю я себе, у нас осталась кобыла. Наша старая кляча осталась при нас. И через месяц другой мы отпразднуем свадьбу. Зато в день его свадьбы я нацеплю себе на пояс полпуда отменного серебра...»

Так рассказывал дядя. И так оно отложилось у меня в памяти.

Свадьба состоялась месяца через полтора. А еще через десять родился я и первое, что услышал, появившись на свет, был ее смех. Всякий раз, вспоминая об этом, бабка всплескивала руками и радостно удивлялась: ведь это ж надо! Полсуток мучиться родами, чуть кровью не истечь, а после смеяться от счастья, когда еще слезы не высохли! Вовек не видала подобного...

Мать родила меня так, словно позволила себе забавную проказу, и проказа эта, между прочим, ей пришлась по душе, и следующие двенадцать лет она рожала чуть не каждую весну, подарив моему отцу в общей сложности трех сыновей и семь дочек.

Но со временем смех ее делался тише и короче, с возрастом он угасал, как угасает от ветра звезда в гладкой заводи. Наверно, все дело в том, что он — я об отце — слишком часто им отгораживался, полагая, что, отгородившись от других, он избавится и от мыслей о прошлом. Сдается мне, оттого он и порешил тогда жениться, чтобы отгородиться (оказалось — гладкой заводью с веселой звездочкой посреди) от русла жизни длиной в восемь лет, от всей истории с Барысби и невольного чувства вины за то, что был в нее замешан. Теперь он хотел одного — начать сначала, открыть свежий ключ в сухом, ка-

менистом дне тоски своей и не подпускать к его звонкой воде никого. В особенности — Одинокого.

Да, сейчас уже я могу сказать, что по отношению к нему отец мой поступил жестоко. Но упрекать его за это я не берусь.

Просто ему осточертело проигрывать. Сперва он лишь наблюдал, как терпит поражение за поражением мой дед, поддавшись соблазну заработать на детстве того, кто, в сущности, и мальчишкой-то не был. Потом наблюдал за теми, кто был тоже отравлен и забылся настолько, что кинулся набивать телеги речной галькой да булыжником и везти их на продажу в крепость, не подозревая, что прежде-то из них надо б высечь искру вдохновенного одиночества и осветить ею шершавый холст. Если учесть, что в промежутке между этими событиями и сразу вслед за ними он наблюдал затем, как малолетний сопляк тащит в дом тушу застреленного медведя или является в аул на поджаром жеребце, или несколько дней кряду перешагивает через миску с дерьмом, или как он чертит палочки на земле, чтобы легче было считать мешки, которые позже внесут в его амбар, — если все это учесть да прибавить сюда неумение его, уже юноши, умереть, даже когда он всю старался, да прибавить к тому его картины и чутье, обнаружившее отца, когда тот прятался в скалах; если еще и признаться, что роднее родства, чем с его одиночеством, отец никогда не имел, — то станет ясно, почему он так поступил. И тем не менее он бы простил ему всё — даже собственное заключение в тюрьму. Но вот то, что Одинокий, начав внезапно и неожиданно с казалось бы случайного промаха, за несколько лет успел проиграть столько, что под конец неделями и меся-

цами не выходил из своего пустого дома; то, что, по сути, все его начинания и хитрые затеи так ни к чему хорошему и не привели, а лишь усугубили беды, против которых были направлены; то, что, восемь лет подряд спасая жизнь их общему врагу, он спас-таки, но — только тело, забрав его из гнили мертвечиной смердящего оврага, и всех их тем самым обрек на душные муки стыда, — этого отец простить ему не мог. А потому он тоже устранился, как устранился в прошлом старый мудрый дед. Разница состояла лишь в том, что один не пожелал тягаться удачливостью с заведомым победителем, а второй, в кои-то веки испытав везенье и вовремя перевернув нужную карту, отказался от всяческих сношений с закоренелым пораженцем. И устранение отцово было еще и знаком отторжения — отведения от себя и своей семьи — той опасной и назойливой свободы, в которую он тоже, по милости Одинокого, был вовлечен, но — как тонкий стебелек, подхваченный ураганом и брошенный им в безмерность тайны гнетущего и молчаливого пространства, и вот теперь, воспользовавшись тем, что ураган иссяк, он выпал из него и постарался глубже впитаться в почву не иссохшими пока корнями, наливавшимися соком по мере того, как он плодил свое потомство, нещадно и второпях расходуя добытый им в чужом ущелье смех, а потом — и его эхо, которым он по-прежнему забывался короткими ночами, когда отгораживался от бывшего и его ликов и мечтал уже только отделаться от возникавших иногда из темноты живучих несговорчивых кошмаров.

В общем, отец почти достиг того, к чему стремился. По крайней мере, заставил себя не заглядывать за соседский забор, где томилось пору-

ганное неудачами, но все еще гордое одиночество, стоически продолжавшее терпеть людскую ненависть, опаску или нелюбовь, в которые постепенно, говорил мне дядя, вкрапливалось оскорбительное чувство брезгливости. «Как-то шарахался от него, как от чумного. Видать, слишком долго он ничего не делал. То есть не совершал ничего эдакого, что могло бы их поразить или, на худой конец, озадачить. Это раздражало. Как раздражало их по ночам вытье волка, которого он привел к себе в дом в середине зимы, узлом подвязав ему вместо ошейника край башлыка, намотанного им на раненую руку и уже насквозь пропитавшегося бурой кровью. Так они и шли по метели — человек, одолевший напавшего на него зверя, и бесившийся от запаха его крови униженный хищник, в остервенении лязгающий клыками и ловающий ими лишь снежную пустоту, не в силах дотянуться зубами до кулака, прижатого к его уху. А потом он посадил его на железную цепь во дворе и взялся приручивать...» Только приручивать — неверное слово. Скорее, он его покорял. Или дразнил. Или покорял да дразнил разом.

Обычно он даже его не кормил, а кидал ему в морду какую-то кость, не позаботившись при этом хотя бы о миске с грязной водой. Он мог не кормить его с неделю, а потом вдруг швырнуть ему огромный кус парного мяса, чтобы у волка от жадности, когда он все сожрет, разболелись слепившиеся с голодухи кишки. Он издевался над ним так, словно добивался получить из него настойку чистейшей, всепоглощающей, самозабвенной ненависти, а когда ему казалось, что зверь созрел, он снимал с него цепь, и волк бросался на него в дикой, задыхающейся от его

близости ярости, целясь мордой точно в шею, чтобы перегрызть горло и навсегда расправиться с обидчиком, который порешил не только не превращать его в послушного пса, но и вовсе не губить его волчьего духа, чтобы растравить его до последней вскипающей жилки в крутой, с горбинкой, груди, а после схватиться с ним и побороть в нем все волчье, врезаться пальцами в лохматую глотку и вынудить его жалко, по-собачьи, скулить, запросив о пощаде. А потом опять его не кормить, изводя своим запахом его чуткие ноздри больше, чем рассеянным по воздуху вкусом съеденного обеда. А потом опять дать ему обожраться, наблюдая, как голод сменяется в волчьем желудке страданием утолившейся жадности. Потом выждать еще сколько-то дней и снять с него цепь, ступив в очередную схватку с прыгучей бешеной ненавистью только затем, чтобы, рискуя жизнью, вновь сдавить пальцами ее клокочущую глотку и услышать, как она заскулит...

Все это вызывало у наших отвращение. И, думается мне, истинная причина его была не в том, что они видели (а видели они свирепую, противную возню двух обезумевших существ, в снегу, грязи или пыли выясняющих степень своего животного достоинства — именно что животного и только животного, ибо человек в нем на это время словно отмирал — быть может, для того, чтобы битва шла на равных, презрев все уловки и хитрость, презрев всё, кроме голой ненависти, или потому, что он подспудно, заранее знал: никакому человеку не дано столько раз подмять под себя зверя, из оскорбленного сердца которого рвется к шее врага бушующая злоба целой волчьей породы. А может, животное потому только в нем и просыпалось, чтобы отдохнул человек?...), а в том, что, несомненно,

чувствовали: он стал так слаб, что поддался искушению сцепиться с ненавистью в рукопашной. Как бы там ни было, а следившие за ним и волком аульчане ненавидели его, не любили или опасались теперь даже более рьяно, чем раньше, и если на нихасе к кому-то из двоих и испытывали сочувствие, то явно не к нему, не к Одинокому...

Вдобавок ко всему он перестал навещать могилы. Не совсем перестал, но — почти, как и говорил об этом дядя. Иными словами, ходил к ним столь же редко, сколь нечасто посещали погост те, кто его порицал. Они не искали ему оправданий, а потому не нашли и лучшего объяснения, чем то, что он одичал. О возможном смятении они и не задумывались, ведь им до сих пор было неизвестно, как много он потерял. Отец же в их разговоры не встречал, отец мой уже устранился. С жестокостью справедливости он спасал свое невмешательство и плодил детей, рассчитывая на целебную свежесть огороженной им гладкой заводи, способной, как он полагал, излечить его от недуга воспоминаний и бывшего порочного родства с отъявленным неудачником, которого наши все еще принимали за везучего юродивого, развлекаясь своей к нему неприязню и его на нее глухотой.

Шли годы, и она занимал их все меньше. А его самого все меньше занимал волк. С виду Одинокий вроде как успокоился. Звериные схватки случались реже и реже, а потом перешли в непостоянные, вялые и почти бесстрастные стычки. Волк здорово поумнел и, хотя не отказался от мести, решил, как видно, повременить, дожидаться подходящей минуты, когда у врага притупится бдительность, и вот тогда-то действовать наверняка. Дразнить его по

настоящему Одинокий уже ленился. Случалось, он исчезал из аула на несколько дней, только направлялся не в крепость: давно уже никто не замечал, чтобы он ехал верхом по Синей тропе. Зато его частенько видели переходящим мост и идущим в сторону лесистой горы, где, поговаривали, облюбовал он какую-то пещеру. Только, опять же, ни один из наших воочию в том не убедился, так что дальше домыслов в своих предположениях они не продвинулись. А впрочем, он ведь их уже не слишком-то интересовал.

Конечно, пока он отсутствовал, находились и такие, кто старался ему насолить. Например, отравить его волка, в ненависти которого он все еще нуждался, хотя и позволял ей дольше обычного сидеть на цепи. Но выяснилось, что и волк у него какой-то особенный. И в нем сидел какой-то прозорливый бес, благодаря нюху которого зверь ни разу не притронулся к подкинутому к его носу и влажному от яда хлебному мякишу. Ну а потом кто-то из них по возвращении Одинокого обнаружил поутру в своем курятнике с полдюжины закоченевших кверху лапками птиц, и тогда они разобрали, что мякиши обладают способностью досаждать тем, кто их лепил, и после уже не пробовали, тем более что весь тот день Одинокий провел на нихасе, словно задался целью всем и каждому показывать свою довольную ухмылку, а вечером они увидели, что волку перепало столько мяса, сколько утолило бы голод волчьей стаи, будь она хоть о ста головах. Тут они поняли, что допустили оплошность, предоставив Одинокому возможность действовать и отвечать на их неугомонность. И решили отомстить ему полнейшим равнодушием,

пусть только внешним, но строго соблюдаемым всеми и непременно подчеркиваемым нарочитой вежливостью к его неприкаянности. Это не было заговором. Просто как-то разом все осознали, что вести себя надо именно так; не назовешь же заговором первый день весенней пашины потому лишь, что на нее выходит весь аул, если перед тем каждый хозяин самолично глядел в небо и вдыхал запах земли! Вот и здесь все получилось тоже как бы само собой, и теперь — свершись даже чудо и пожелай он вдруг избавиться от своего одиночества — у него бы не вышло. Пожалуй, он чувствовал безысходность наступающего из будущего и глухого к его мукам времени, как чувствовал ее распинаямый на кресте, когда его руки ковали к доске стальными гвоздями. И чтобы выпеть из себя эту безысходность, он смастерил из сосновой ветки свирель. В закатные часы она звучала, как жалоба подраненного красной тьмой и затухающего света, истерзанного то ли каждодневной пыткой умирания, то ли предательством уползающего за горный кряж солнца. В его свирели не было мелодии: в ней не было рисунка, завершенности или хотя бы приемлемой для слуха округленности. В ней даже не было начала и конца, а — один лишь плеск непрерывного продолжения дурной длительности, скребущей по нервам слушателя наивной шепелявостью, что постоянно не дотягивала какого-то малюсенького, крошечного мига до ясного, гулкого, славного вскрика, давным-давно вызревающего в ее беспредельном унынии. Заслышав ее робкое вступление, предвещавшее всем нам долгое и незаслуженное, в общем-то, страдание (дабы его заслужить, надо бы для начала наделать столько грехов, чтобы тебе назначили пройти всю

преисподнюю, и только потом, говорил дядя, доказав, что тебе и ад нипочем, по собственной воле — ибо и на том свете нет такой жестокости, которая бы тебе это повелела — попросить Одинокого посвистеть на дудке), младший брат моего отца начинал сокрушаться: «Уж если мне кого и жалко больше своих ушей, так это Лохматого... Видать, теперь оно у них заместо драки: один воет, другой — дудит. Да и как тут не завывать, когда тот даже уже не душит, чтобы доказать тебе твою звериную слабость, а просто дудит в самую морду, словно плюет в твое бессилие! Бедный волчара! Небось, проклял себя за то, что не родился глухим...»

Так что когда Одинокий снаряжался на недельку в лес, поглядывали на него даже с некоторой благодарностью. И все твердили о какой-то пещере, хоть никто ее никогда не видал.

Я мечтал отыскать ее с самого детства, покоренный ее непривычной таинственностью и заранее сладко напуганный тем, что мне в ней предстоит найти. Иногда, набравшись смелости, я отправлялся за ним вслед, но успевал потерять его спину еще до полудня, а потом, сверяясь по сделанным моей рукой зарубкам, брел назад, к хмурому взгляду отца или встревоженному веселью матери. Я повторял свои попытки, несмотря на суровые предупреждения, и отказался от них лишь тогда, когда заблудился однажды настолько, что он вдруг вырос передо мной, выступив из-за дерева, и устало спросил: «Чего ты хочешь?» Застигнутый врасплох, я бросился наутек и бежал, разодрав одежду и исцарапав ветвями лицо, до самого дома. В тот раз даже не было взбучки. А потом, ближе к ночи, я услышал голоса: «Выходит, он с ним таки повстре-

чался...» — «Зато теперь все позади. Больше он за ним не пойдет». И я подумал: «Она права. Больше я за ним не пойду. Пропади он пропадом, как я от него бежал!»

В тот раз я убежал от него. Но не убежал от его вопроса. Не моя в том вина: трудно убежать от такого вопроса. Мало кому оно удавалось (на моей памяти — так только Барысби), хоть убегали очень многие. Но на какое-то время я и вправду перестал за ним следить да подглядывать. Исключая разве тот самый день в конце знойного лета, когда, привлеченный рыжеватым дымом, я вскарабкался на забор и увидел всю тройку — его, волка и разведенный между ними костер. Одинокий сидел ко мне спиной и подкладывал в огонь полоски пестрого искромсанного холста, сливая туда же краски из плосек, выдолбленных из мелко напиленных дров. От красок и поднималась в воздух едкая вонь. Потом он отер руки тряпкой, швырнул ее в костер, взял свирель и, приложив к губам, заиграл, глядя на пламя и задирая его выше к небу своей занудной бессловесной песнью. Волк лежал перед ним на земле, подняв голову, и не сводил с него серых откровенных глаз, но цепь, которой он был привязан, впервые оказалась ненатянутой. Вдруг Одинокий прервался и сказал: «Не прячься. Я не повернусь». Я остолбенел. Я помню, как у меня замерзли ноги и свело лопатки от страха. А он продолжал говорить, и я что-то слушал про сожженную картину, негодность лживых красок и вонючий дым, после которого должна остаться лишь горькая и жирная зола. Я что-то слушал, но ничего, ничего не понимал, потом скатился по забору и кинулся в сарай. Там я дрожал и плакал, стискивая от злобы бесполезные кулаки, и

ненавидел его всем бьющимся, как в лихорадке, сердцем. Я ненавидел его, потому что впервые в жизни почувствовал, что не смогу от него убежать.

Но теперь мне нужно было время, чтобы с этим смириться. Мне нужно было малость повзрослеть, чтобы рассказы о нем, начатые моим дедом всего-то как свидетельства причуд его памяти и продолженные затем отцом (сперва как доказательство того, что он от них отрекся, потом — как необходимость выговориться и отречься от них в самом деле, и уже позже, значительно позже — как слабая надежда на то, что отречься от них удастся хотя бы его сыну), изредка дополняемые меткими штрихами моего дяди, — составились для меня пусть в туманную, но — последовательность, которая требовала еще много труда от моего воображения, моего духа и текущей в моих жилах крови, прежде чем сложиться в действительную историю исхода с нашей земли того, кто опережал ее созревание так непростительно долго, что постепенно отучил себя к ней прислушиваться, потом отвык ей доверять и в результате безвозвратно на то созревание опоздал. Я не спешил. И, как выяснилось, поступал правильно, ибо, в отличие от других — тех, кто мне о нем рассказывал, — с устраненности начал, а не устраненностью завершил. А когда я подрос и окреп достаточно, чтобы опять в одиночку отправиться в лес, я шел уже не за его спиной, а за манившим меня запахом неминуемой встречи, которую предотвратить теперь не могло даже мрачное несогласье отца, остерегавшегося ее запретить лишь потому, что не желал хотя бы вслух произнесенным словом признать, что встреча эта вообще возможна. Да, я

продолжал искать пещеру, но прошел еще целый год, прежде чем Одинокий меня до нее допустил...

В тот год и умер дед, опрокинувшись посреди бела дня с покрытого кожей чурбана, на котором столько лет до того согревал на солнце беспокойную свою старость. Он умер внезапно, словно от свирепого толчка, угодившего ему прямо в грудь на глазах у моей бабушки, которой померещилось, будто он собирался вскочить и показать ей что-то очень важное, он даже выставил палец, говорила она, он выставил палец и хотел закричать, но тут его отшвырнуло назад, и он успел только раскидать пошире руки и исцарапать пальцами землю, а потом отбросил лицо на сторону и сам опустил веки, чтобы никто не увидел, как погаснет в его зрачках последний луч.

Мы хоронили его в дождь — и хорошо, что в дождь: в дождь меньше заметны слезы. А после похорон, повзрослев на целую смерть, какое-то время были немного другу другу чужими и стеснялись приютившейся в доме почти осязаемой пустоты, пока не привыкли к себе новым и заново. И, конечно, труднее всех приходилось отцу, теперь самолично решавшему, как нам жить да что делать, чтобы быстрее рассчитаться с долгами за свадьбу, одарившую его уже десятым ребенком, и быть готовыми влезть в новые (не мог же дядя ждать вечно, когда ему тоже позволят жениться!) И, наверно, легче других было матери, столь занятой бушующей вокруг нее детской жизнью, что даже обрушившаяся на дом смерть вряд ли задела ее всерьез. Горше всех пришлось бабушке. Но она выстояла и продержалась еще много лет, встретив рождение правнуков, собственную дряхлость и даже покорно перенесла вызван-

ную ею путаницу в наших именах. Ну а я — повзрослел. Я повзрослел на смерть, на пустоту и на лишний год...

Тогда-то он и показал мне пещеру.

В тот раз он прихватил в лес какой-то мешок. По слабому, но отчетливому в тишине дребезжанию, вторящему его шагам, я мог следовать за ним с закрытыми глазами. В том, что он меня слышит или чувствует хребтом, я уже не сомневался, но он не прятался, не исчезал и даже не оборачивался, словно опасался спугнуть, так что теперь я точно знал, что сегодня меня он к ней выведет. Мы шли часа три, сменив несколько троп, а потом и вовсе от них отказались. К месту, где она находилась (в сущности, то был небольшой курган с буйной растительностью снаружи и полый изнутри), совершенно не проникал свет. Курган был окружен высокими соснами с пышными кронами и купался в старой, прохладной тени. Подойдя к нему, Одинокий скинул с плеч мешок и принялся разгребать ветки и дерн. Потом отодвинул камень и влез. Отверстие, куда он вполз, величиной было с добрый котел. Я слышал, как он чиркнул огнивом и зажег факел. Потом он сказал: «Входи». Сказал и даже не выглянул. Вздвогнув и захлебнувшись воздухом в груди — целое мгновение я все никак не мог выдохнуть его обратно, — я пошел на голос, нагнулся и скользнул внутрь. Пещера была размером со среднюю комнату. К стенам были подвешены полки, на которых в беспорядке толпились какие-то деревянные головы, каменные изваяния или просто коряги, подобранные им где-то в лесу. Сам Одинокий стоял на земляном полу и глядел мне в глаза. Воткнутый в щель факел бился пламенем в почерневший от сажи потолок и рисовал мне незна-

комыми мазками его лицо. Сейчас он был похож на странную черную птицу в надежном гнезде, где укрылась она от позора своих слабых крыльев, так и не выучившихся летать. «Оглядись тут пока, не смущайся», — сказал он, встал боком и сделал шаг к стене.

Когда я все внимательно осмотрел, он уже возился в углу с той железкой, что принес в мешке. «Ну как? Все совсем иначе, да? Ты ожидал другого? — спросил Одинокый и поднял руку. — Вон того я сделал из кабаньей кости. А этого — из обгорелой доски. Тех пятерых слепил из воска. Здесь всякие есть. Какого выбираешь? В ком, по-твоему, его больше?» — «Кого — его? — не понял я, но уже через секунду мне показалось, что я догадываюсь, и тогда я подумал, что он спятил.

Одинокый приблизился ко мне и повернул к свету мое лицо. Изучив его, он не поверил и сказал: «Ты знаешь, о ком я. Сперва я искал его в людях. После замешивал красками. Потом вообще перестал искать, так он мне опротивел. Потом нашел вместо него эту пещеру и каменного человечка в ней. Того, что усмехается над нами там вон, в самом углу... И тут я снова засомневался, так что потом опять взялся за поиски. Я искал его в камне и дереве, искал в смоле и траве, в воде и даже в воске, я вырезал, лепил и тесал, я подбирал их с земли и со снега. Теперь ты видишь, как их много. Их стало слишком много, чтобы был один... Может, его и в самом деле нет. Как мыслишь?» Он говорил ровно и спокойно, как человек, уверенный, что его поймут, а поняв, не решатся врать или лукавить. Я уже почти не волновался. И отчего-то был убежден сейчас, что умом-то он совсем не повредился. «Не

знаю», — ответил я и подумал: птица не училась летать и не может простить себе этого, ведь коли она птица — должна уметь летать, а раз не умеет — стало быть, и не птица вовсе, хоть летать ей очень хочется (ей только разок бы взлететь!), тогда она вьет гнездо и забивается в него, чтобы наедине со своей болью размышлять о секрете полета... «Иногда мне чудилось, — продолжал Одинокый, — что я его открыл. Были такие минуты. Но потом все вдруг так оборачивалось, что хуже и не бывает. Выходит, понимал я, то был не он. То был его оборотень, изловчившийся обмануть меня моими же красками. А когда я наткнулся на эту пещеру и увидел, что она старше леса, старше аула нашего и даже древнее покрывшей ее земли, я подумал, что если и есть какая-то разгадка, так она в ней и человечке, смеющемся над временем. Я подумал, что искать мне надобно здесь, — в камнях, деревьях, пчелиных сотах, снегу, воде, непогоде, огне, цветах, камнях, воде и опять в камнях да деревьях. Потому что это сотворено им самим, если, конечно, он вообще где-то есть, и, уж во всяком случае, создано без моего участия и без сочиненных нами с оборотнем красок. Я решил попробовать. Увидеть его своими руками или на мгновение услышать на ощупь. Порой мне снова казалось, что я обрел, или что он меня коснулся, или что коснулось моего чела его дыхание. Я пытался вытесать его из камня и вырезать из дерева. Камень никогда по-настоящему не живет и никогда не умирает, даже если рассыпается в песок. Он знает что-то о вечности. Что-то очень важное... А дерево — потому что никогда не отказывается от борьбы, даже если срублено и лишено корней, оно еще долго, пока не устанет время, будет слышать в себе тихую жизнь, или сгорит дотла,

вспыхнув огнем живого тепла. Оно больше других знает о жизни. Правда, встречается и труха, но ведь и сланец считается камнем... Я пробовал и надеялся, что получится — не слепить или изваять (в это я особо и не верил), но навсегда, бесповоротно убедиться, что он существует — и слышит меня, а я слышу его и точно знаю, что это он, а не оборотень!.. Но, как видно, он будет молчать до последнего. Если, понятно, он там все-таки есть... Хочешь присесть?» — спросил он меня и достал из боковой ниши две маленькие скамейки. Одна из них была сколочена совсем недавно и еще пахла снятой щепой. Стало быть, он подготовилка заранее, подумал я. Он знал, что я за ним пойду, и знал, что я созрел. Созрел для его откровенности, которая ждала меня пятнадцать лет и согласна была теперь, в пещере, где он оборудовал склеп для своего одиночества, открыть мне любую тайну из его прошлого, умевшего все на свете, кроме разве что улучшить коварство судьбы и предотвратить грядущую беду. Я сел против него и сцепил пальцы. Горький ветер, дувший мне в спину, добрался до факела, и пламя сердито ухнуло, накренившись к стене. Вокруг меня выстроились в неправильные ряды разномастные обличья его упорных неудач. Я сказал: «Они сделались больше. Больше камня и дерева, из которых выросли». — «Пожалуй, — отозвался он. — Но этого мало. Они мне ничего не доказали». Мы помолчали. Молчать с ним рядом было все равно что стоять под проливным дождем — разом и здорово, и неуютно. Потом я произнес: «Расскажи мне об отце...» — «Конечно, — кивнул он. — Ты ведь за этим и пришел. Спрашивай». И я спросил про тюрьму. Потом про Барысби и мельницу. Потом про деда и воров, ук-

равших лошадей. Я даже спросил его о могилах, и он ответил: «Им так спокойнее. Я не хочу им лгать и не хочу тревожить. Сейчас мне нечем их порадовать. Ты понимаешь?» И я спросил его про крепость, а он сказал: «Туда мне путь заказан. Ее я тоже не хочу тревожить». И я подумал, это он про крепость. Потому что про женщину в ней в тот раз он мне так и не рассказал. А когда я выглянул из пещеры наружу, уже надвигался вечер. Мне нужно было торопиться, и я сказал: «Не вини моего отца. Он просто...» — «Да,— сказал Одинокый.— Он просто вовремя женился. И я его не виню. Это хорошо, когда человек делает что-то вовремя». — «Только он ничего не узнает...» — «Конечно,— улыбнулся он.— Ту его от этого убережешь». А я опустил глаза и снова увидел железку, которую принес он в мешке... «Капкан?» — удивился я. И он ответил: «Кто-то здесь недавно побывал. Гляди,— и показал мне тонкий порез в земле.— Вчера он был затоптан». — «А может, ты ошибся?» — спросил я и подумал: будь это кто-то из наших, про пещеру знал бы уже весь аул. Если, конечно, тем кем-то не был мой отец. Словно прочитав мои мысли, Одинокый отрицательно покачал головой: «Тебе не о чем беспокоиться. Будь то отец твой, ему и так ничего не грозит. Он слишком давно меня знает, чтобы угодить в какой-то капкан. И потом — возможно, ты и прав. Возможно, я ошибся...» А я подумал и сказал: «Я понял. Этот капкан ты ставишь не на зверя и не на человека... Ты ставишь его на того, кто все равно в него не попадет, но коли пожелает, опять затопчет линию в земле. Если сюда наведывался тот, кого ты искал, стало быть, затоптанная черта — не след, а знак, и теперь ты прячешь у входа капкан, чтобы про-

верить, знак то был или след, хотя почти уверен, что следом оно быть никак не могло, выходит, рассчитываешь на то, что он его подтвердит — свой знак, и, хоть капкан останется пуст, черта опять окажется затоптана...» — «Только не вздумай меня провести, — сказал Одинокий. — Не вздумай сделать это вместо него. Я не прощу тебе...» — «Да, — обещал я. — Хорошо».

Когда мы расставались, я вдруг подумал: он так себя ведет, словно сегодняшний разговор ни к чему меня не обязывает. Похоже, он не хочет лишать меня выбора или неволить мою совесть.

Напоследок я сказал: «Почему ты его не отпустишь? Он так постарел, что в нем остались лишь бессильная злоба да стыд за нее. Ну и, конечно, ненависть, из-за которой он презирает себя, потому что вынужден издохнуть на цепи у твоих ног. Отпусти его. Он тебе больше не нужен. Он ведь не пес. Дай умереть ему волком...» Я выдержал его взгляд, а потом выбрался вон. Обрато я бежал во весь опор, стараясь поспеть до заката. И, хоть до заката я не успел, отец в тот вечер притворился, что не заметил моего отсутствия.

А ночью я вылез из спящего дома, вскочил на забор и увидел блики света из его приоткрытой двери. Я вгляделся во тьму, но волка на дворе уже не было. И тогда я внезапно понял, что заставило меня его об этом просить. Было очень темно, но я почувствовал, как густо краснею. Только не мог бы еще себе объяснить, в чем тут причина: в том ли, что предложил Одинокому сменять зверя на меня самого, или в том, что, предложив ему это, я обманул...

Ибо в ту ночь, вернувшись в постель и будучи врасплох застигнут теплом своего дома, я мысленно

покаялся, что никогда не стану рисковать его уютом ради чьего-то сумасбродного (я помню это слово и сладкий вкус на языке оттого, что удалось его сыскать и сделать все простым и ясным) одиночества. Я успокаивал совесть тем, что не отречься от него означало бы предать собственного отца, а может, и покойного деда, — ведь он тоже устранился, — тогда еще, когда не ведал и сотой доли того, во что был нынче посвящен его внук... К рассвету я убедил себя окончательно. Было это нетрудно: его и вправду никто никогда не любил. Так устранился я. И полагал в тот день, что — навсегда...

Только через месяц все опять опрокинулось с ног на голову. А потом Одинокий ушел...

Сейчас я вам расскажу. Осталось совсем немного. Я расскажу вам про Лану и землетрясение. Ну а потом уж и он ушел...

Было ей уже за двадцать, но замуж выйти она так и не успела. И не потому, что была как-то особенно некрасива, наоборот, многие из ее сверстниц могли бы позавидовать белой гладкости лика и хрупкому стану, стянутому узким пояском, которого другим хватило бы разве на то, чтобы обернуть им запястье. Однако с тех пор, как из послушной грустной девочки она превратилась в девицу на выданье, сваты упорно обходили Сосланов дом, если не считать единственного раза, когда их к нему даже не подпустили.

Случилось это года три назад в промозглый мартовский день. Уже с раннего утра мужчины нашего аула, облачившись в чистые черкески и надев под бурки надраенные сыновьями кинжалы, высыпали на нихас и после короткого совещания, выставив на дороге дозорных, вернулись в свои хадзары и

принялись ждать, кидая время от времени суровые взгляды на стены, где висели тщательно смазанные жиром ружья, готовые дать отпор чужакам, покусившимся, по слухам, на то, на что ни один из наших покуситься даже не отваживался, хоть Со-слан им того не запрещал и, скорее всего, к десяти их попыткам из дюжины или к двум десяткам из трех точно отнесся бы снисходительно, а в четверти случаев — так и вовсе благосклонно, попроси они руки его приемной дочери. Загвоздка была только в том, что никто из них никогда на это не посягал, несмотря на то, что девушка была хороша собой и достойно воспитана достойным отцом. Возможно, кому постороннему и пришло бы на ум, что причина кроется в том, как она этим отцом обзавелась и от чьей плоти была зачата, ведь тому, кто это знал, понадобилось делать из нее подкидыша и избавляться от младенца раньше еще, чем в душе его проснулась память о родителях настоящих. Кому постороннему, наверно, и пришло бы на ум нечто подобное, но, стоило ему ее увидеть, и этот домысел отпал бы сам собой.

Ибо была она невероятно, волшебнo, несказанно красива. То есть красива настолько, что единственного взгляда на нее — коли это взгляд мужчины — было достаточно, дабы вмиг забыть и про подкидыша, и про то, что ей когда-нибудь суждено стать чьей-то женой и чьей-либо матерью. Потому как не было в целом свете женщины прекраснее нее, как не было на свете и другой девушки на выданье, столь неподходящей для брака. Неподходящей не вопреки красоте своей, а *благодаря* ей и *из-за* нее. Короче, красота ее не только восхищала, но и отпугивала тех, кто когда-либо глядел на нее глазами мужчины,

и не только не раздражала, не только не вызывала ревности, но и пробуждала жалобное сочувствие у тех, кто приходились ей сверстницами и большинство из которых уже успело благополучно выйти замуж и родить детей. В общем, когда вдруг наши прознали, что из соседнего ущелья к ним посылают сватов, все как один решили встать на защиту того, на что сами и не покушались и что, как им казалось, было чем-то вроде их общего достоинства — они решили встать на защиту ее красоты, которую дозволено было лишь созерцать, а не присваивать, тем более — какому-то ветреному чужаку, что даже и оценить-то ее был не способен. Вот что оскорбляло больше всего — не способен был оценить, иначе ни за что бы в мозгу его не вызрела мысль на ней жениться! Для наших она была равносильна самому тяжкому преступлению или буйному помешательству. Пожелать жениться на Лане — это все одно что захотеть накинуть петлю на радугу, собрать в бурку все звезды или съесть заживо водопад. А *суметь* жениться на ней — все одно что осквернить плевком небо, придушить радугу или запить водопадом звезды. Это было так же нелепо и невозможно, как изнасиловать всех женщин на земле или истребить разом весь род мужской. Жениться на ней — значило опорочить святыню, ибо красота ее была столь совершенна и окончательна, что каждый из нас, от мала до велика, читал в ней грядущую обреченность, с которой нельзя породниться так же, как с мимолетным мгновеньем или с озарившей ненастье молнией. И посягнуть на обреченность было гадостью, немыслимым кощунством, против которого восстали мы плечо к плечу, когда раздался свист дозорных. Мы вы-

строились по дороге грозной цепью, сомкнувшись общей опасностью и общей честью, и остановили их повозки общим молчанием, не унизившимся ни до слов, ни до разъяснений, так что те, чужаки, попытавшись было сперва уластить его вежливой трусостью, очень скоро откланялись и покатали назад, восвояси.

В тот день мы были сильными настолько, что еще прежде, чем воротились каждый в свой хадзар, возненавидели день завтрашний, потому что знали: такими сильными бывают только раз. Потом приходят будни. Приходят будни и начинают копаться в мелочах. Будни копаются в мелочах и с головой погружаются в мелочность. Такие будни длятся очень долго. Три года для них — совсем не срок...

А спустя три года разражается беда и уносит в ледяном потоке обреченную красоту, которую когда-то сильные мужчины отстояли, встав плечо к плечу...

Да что о том говорить! Мы просто ослепли. А тот из нас, кто ослеп гораздо раньше — но не сердцем, а изъеденными бельмами глазами, кто ослеп не буднями, а горем, но двадцать с лишним лет назад, обернув зрачки к себе в душу, умудрился предсказать весь этот кошмар, — он ослеп потом снова — уже от счастья, от посланного богами нового отцовства, так что с великой радости такой, забыв свои пророчества, был теперь столь же немощен предугадать, как и полоумный сухорукий старик с телом юноши, что не мог учуять даже грустившей у него под самым боком жизни, обязанной ему невольно кровью, согревавшей ей жилы, и собственной обреченностью, ради которых и искала нас беда столько лет, чтобы затем, объявившись в ауле, предстать

перед нихасом с веселой улыбкой и не заставить нас даже насторожиться, потому что тот, кто только и мог ее распознать, ослеп от своего одиночества и, сидя в своем дворе, играл тоску на свирели, изматывая ею дряхлого полуслеплого зверя, в котором силы осталось разве что на один последний прыжок, а потом, ровно через месяц, отсыпался в пустых стенах после выпитой араки и не только ничего не видел, но и не слышал, опоздав навсегда к возопившей о помощи родине и к праву жить на ней впредь. И когда земля, застонав от боли, всколыхнулась под нами и побежала трещинами к вспенившейся реке, а там разверзлась — в том самом месте, куда сорвалась девушка с моста, — взломала русло и на какое-то мгновение поглотила в открывшемся чреве бешеный поток, а потом, словно подавившись грешной водой, изрыгнула ее обратно, выплеснув волны на берег и обдав нас проклятой их злобой, когда солнце налилось алой кровью и нестерпимо палило, сжигая гулом наполненный воздух, когда от женских воплей и криков детей спекавшееся в черный прах время пустило с неба пепельную крошку, похожую на грязный снег, когда запахом гари он разъедал нам глаза и мы увидели густой, в точках, туман, когда туман заслонил от нас солнце и реку, а потом внезапно рассеялся, и настала пронзительная, как визг, тишина, — Одиноким стоял перед ней на коленях и воздевал к небу руки... Он стоял перед тишиной на коленях и беззвучно плакал, потому что небо опять его не убило. И почему-то все мы, сгрудившись в огромный общий страх на аульной улочке, прижавшись друг к другу в объятиях и слыша, как бьется от ужаса одно на всех большое сердце, глядели на его молитву и видели

его причастность, которую он даже не скрывал, хоть и не знал еще, что мы осиротели Ланой. А потом он поднялся и медленно побрел к себе, и мы опять слышали свои голоса и женский плач, в котором было теперь больше восторженной радости, чем горя, потому что все уже кончилось и ничего вокруг не изменилось, кроме мокрой потрескавшейся земли да черного праха на ней. Он впивал в себя влагу и превращался в жирную сажу. Когда мы шли по ней, ноги скользили, как по обычной слякоти. Река не успела разбить нашего берега и даже не смыла моста. Дома стояли почти невредимы, кое-где уронив из стен лишь немного глины да горсть плитняка. Мы были живы. Все мы были живы, и только Ланы уже с нами не было.

А когда мы об этом вспомнили, клокотавшая в наших глотках жизнь задрожала суетой и плач сделался громче, а горе в нем мешалось с гневной радостью — оттого, что мы живы. И когда мы быстро, очень быстро, впопыхах, снарядили отряд из добровольцев и отправили их вниз по течению искать ее тело, старики собрались на нихас и пошли оттуда к Сосланову дому.

Он встретил их в дверях, и в лице его не было ничего, кроме слепого страдания. Им было стыдно смотреть ему в лицо. Быть может, из-за того, что в глазах их было слишком много жизни. Они стояли, опустив головы, но всё никак не могли подстроить под его дыхание свое собственное. Мой отец тоже был среди них. А потом мы увидели, как впервые за долгие годы по улице ведут Барысби. Его поставили у стены, чтобы было не очень заметно. И тут им стало еще стыднее, потому что, едва его к ней прислонили, Барысби издал протяжный непри-

личный звук, а после начал икать, уставившись в расплывающуюся под ногами лужу. Тогда его торопливо схватили за руки и потащили вон. На улице он поскользнулся и шлепнулся задом в сажу. А мы наблюдали, как сын его, взяв отца за шкуру, пытается его поднять и поносит сквозь зубы, побагровев от ярости. Потом я устал за всем этим смотреть и спрятался в нашем сарае. Когда слезы высохли и сделалось темным-темно, я выскользнул украдкой из двери и перемахнул через забор.

Одинокий сидел на полу у потухшего очага и перебирал пальцами осколки раздавленной свирели. «Ты что-нибудь видел?» — спросил он. «Да, — ответил я. — Всё». — «Как это произошло? — он плеснул в рог араки и передал его мне. — На. Выпей и расскажи». Я осушил рог до дна, почувствовал, как жидкость тяжело разливается по желудку и обещает скорое тепло. Затем мне полегчало и я сказал: «Я так и не понял. Сейчас не вспомню даже, что было раньше — то ли она сперва оступилась, то ли ее стряхнула земля. Только если она и вправду оступилась, выглядело это не по-настоящему. Как вранье. Будто она оступилась нарочно. Словно саму себя обмануть хотела... Но сейчас я не скажу. Я так и не понял...» А Одинокий кивнул: «Хлебни еще и начни сначала». И я отхлебнул и сказал: «Вышла из дому и сразу остановилась, словно не знала, куда ей идти. В руке котомку какую-то держала, и вид у нее был такой, будто она не вышла, а — уходила... Потом заметила, что на нее глядят, и быстро двинулась по улице вниз, а через несколько шагов опять остановилась, и я подумал, что вот-вот заплачет. Она не заплакала, а повернула назад и чуть не бегом пустилась к нимасу. А после, так до него и не добе-

жав, остановилась в третий раз, услышала окрик матери и, будто теперь наконец решившись, кинулась к мосту... А дальше я не скажу, что там было нарочно, а что — нет, только мне показалось, что с моста она не упала, а прыгнула. Я так и не понял...» И он сказал: «Я тоже». Потом налил по очереди нам обоим, и мы оба выпили. Я посмотрел на него и сказал: «У тебя поседел весь затылок». И он ответил: «Это от света. Тебе почудилось. Это от лучины». И я сказал: «У тебя поседали виски. Ты насквозь седой. Ты поседел за сегодня, потому что вчера еще было пятно». — «Да?» — спросил он, и я понял, что он меня уже не слышит, а напряженно думает о своем. Мы выпили снова. Потом я посмотрел на него, а он уже не сидел, а стоял у циновки и проверял ружье, которое за столько лет так и не удосужился сменить. Я посмотрел и увидел, что он стоит, а не сидит, и, прикинувшись, что не дремал, сказал ему: «На что оно тебе сейчас? Посреди ночи на охоту пойдешь?» Он пропустил мои слова мимо ушей и сказал: «Постарайся вспомнить, кто-нибудь к ним на днях приходил?» И я ответил: «Тут и вспомнить нечего. Сегодня утром был у них опять». — «Кто??» — заорал Одинокый, подлетел ко мне и свободной рукой оторвал от пола, так что от резкого подъема у меня закружилась голова, и я почувствовал дурноту. «Чтоб ты провалился, — сказал я. — Меня мутит. Ты напоил меня, и теперь меня мутит...» — «Кто???» — повторил он и подпер мне спину ружьем: я едва держался на ногах. «Да черт его знает! — крикнул я. — Забыл, как имя. Тот самый, что приходил к ним в прошлый раз, с месяц назад... Пусти, или я сейчас тебя испачкаю». Но он не послушался, а лишь крепче схватил меня за

грудки и потащил к жбану с водой, чтобы окунуть в него несколько раз мою голову и продолжить пытку: «Как он выглядел?» — «Не знаю, — сказал я, отфыркиваясь и дрожа всем телом. — Высокий такой. Улыбчивый...»

И тут я упал. Он отпустил меня, и я свалился на пол. Но не успел я его обругать, как он уже снова держал меня за грудки и горячими зрачками пытался нащупать память в моих глазах. «Его звали Рахим?» — «Да, — сказал я и начал быстро трезветь. — Точно. Так и звали. А сегодня появился к ним опять. Но что-то на сей раз совсем даже не засиделся, потому что я видел, как он уходит в гору... У него плохая улыбка». Одиноким ударил меня, и я снова рухнул на его грязный пол. Потом он склонился надо мной и отвесил мне оплеуху. «Почему ты молчал? Почему мне ничего не сказал?» — рычал он мне в лицо, размахивая перед ним здоровенными кулаками. Затем выпрямился и в ярости, чтоб только заглушить крик, впился в кулак зубами. На руке его выступила кровь, а в глазах застыли слезы. «Глупец!» Маленький заносчивый глупец! — повторял он, в отчаянии мотая головой. — Да как ты посмел промолчать!..» Вдруг он замер, остолбенев надо мной и глядя во тьму, потом дико взвыл, подбежал к бурдюку и начал пить из него, потом отшвырнул бурдюк в сторону, схватил с земли ружье и ринулся к выходу. «Стой!» — закричал я. — Ты куда?»

Когда, уже за мостом, я настиг его и, повиснув у него на рукаве, повторил свой вопрос, он прошипел: «Надо проверить капкан!»

Мы бежали с ним в крошечной тьме по душному лесу, в котором сейчас я не различал ни деревьев, ни

троп. Одинокий помнил их наизусть и вел меня за собой, сунув мне в руку край своего башлыка, намотанного им себе на запястье, — так же точно, только в обратном направлении, он вел за собой когда-то напавшего на него волка.

К рассвету мы были почти у цели. Я выбился из сил, но башлыка из рук не выпустил, так что последнюю версту Одинокий уже тащил меня на себе, плотно сжимая губы и, похоже, не замечая задыхающейся обузы за своей спиной. Я был способен смотреть себе только под ноги, где ошалело дрожала, и стекая травой мне под ступни земля, а потому, когда он внезапно остановился, со всего маху врезался в него теменем, и мы оба упали. «О Боже!» — услышал я и поднял голову.

Я не сразу разглядел, что его так поразило. Сначала я увидел пустой зев пещеры, разбросанные вокруг ветки и растоптанный дерн с красными цветами. Потом я понял вдруг, что это не цветы и вход в пещеру пуст лишь наполовину. Точнее, на верхнюю половину, потому что в нижней лежал старый-престарый зверь с громадной головой и мигал подслеповатыми глазами. Когда мы встали и двинулись к нему (ружья Одинокий не вскинул. Он шел, неровно переступая одеревенелыми ногами, и иногда жутко вздрагивал или издавал тихий страшный стон), мне померещилось, что в волчьих глазах появилось какое-то незнакомое торжество, и только тут я увидел, что лежит он не на траве, а на угодившем в капкан мертвце с перерезанным клыками горлом.

Одинокий подошел к ним вплотную, взглянул в лицо (по его собственному ручьем катил пот, мешаясь с грязью и кровью из ссадин, и почему-то я

подумал: с ним кончено тоже; кончина изучает смерть. Сейчас он выстрелит, мы похороним их, и он уйдет), взвел курок, перенес взгляд (как стекло перенес, перенес как больного) на животное, поднял ружье, сунул ствол волку в ухо и подождал, но тот даже не шелохнулся, израсходовав прежде всю ненависть на последний прыжок. Тогда Одинокий нажал на спуск...

Человека мы погребли прямо там, в пещере, посреди каменных голов и деревянных идолов, потом закидали вход землей, ветками, дерном и опять землей, потом сложили сверху еще немного дерна, передохнули и принялись за волка. Его мы зарыли тут же, выкопав у подножия кургана плоскую яму и присыпав ее землей. Потом мы заснули. А когда проснулись, я спросил: «Кем он был?» И Одинокий ответил: «Ее братом. Близнецом. Никогда не думал, что ее разыщет». — «Ты мне про них ничего не рассказывал». — «Да, — согласился я он. — Я был не прав». И я попросил: «Расскажи сейчас». А он, поразмыслив, сказал: «Тебя ждут дома. Может, позже...» «Нет, — сказал я. — Позже ты уйдешь. Сейчас».

Он встал, подошел к стоявшей напротив сосне, подтянулся на ветке и снял с нее припрятанную там кубышку. Кинув её мне, он объяснил, где отыскать ключ.

Когда я вернулся, наполнив кубышку водой, Одинокого там уже не было. Вглядевшись в лес, я почуял дым и пошел на его запах. В полуверсте от кургана Одинокий развел костер и ожидал меня, нанизав на прут ощипанную куропатку и держа ее над огнем. Мы зажарили ее в полном молчании. Молчать с ним рядом было по-прежнему здорово и

неуютно. Потом мы позавтракали, запив мясо водой, и он начал рассказ. За все время, что он говорил, я ни разу не перебил его. Изредка только мы прикладывались по очереди к кубышке и подкладывали хворост в костер. Потом день перевалил за свою половину и стало чуть прохладней. Потом иссякли запасы хвороста, который он заготовил, пока я ходил за водой, но никто из нас не прервался, чтобы наломать новых прутьев. Он продолжал рассказывать, а я — слушать его ровный печальный голос, которым он исповедовался перед тем, как уйти от нас навсегда. Костер дотлевал уже мелкими углями, когда он умолк, а я узнал его последнюю тайну. Потом он снова откинулся спиной на траву и посмотрел в несвежее небо. «Пора тебе трогаться в путь, — сказал он. — Подумай о своем отце». И я сказал: «Почему бы нам не пойти туда вместе?». А он повторил только: «Пожалей отца. — А потом добавил: — Иди. Я еще побуду в лесу». — «Ладно, — сказал я. — Если хочешь...» — «Нет, — отрезал он и закрыл глаза тыльной стороной руки. — Туда я отправлюсь сам». Он отправился туда на следующее утро, а значит, у меня было пять суток, чтобы осознать, что же все-таки произошло и каким образом.

Ровно через пять дней, еще прежде чем взошло солнце, я побежал к Синей тропе, нарисовал в пыли на обочине продольный овал с крестом внутри, решил, что он поймет, а потом юркнул в дом и принялся ждать. Ждать пришлось сперва до самого обеда, а потом, когда он и впрямь возвратился из крепости — уже до наступления ночи, ибо засветло путь к нему был все еще для меня заказан. Я томился в нетерпении до самой полуночи, пока дом наш не погрузился в крепкий сон, а он, Одинокий, из

сна не выбрался. И в полночь я вновь перелез через забор, пересек его двор и без стука отворил покосившуюся дверь (я лишь теперь заметил, что она покосилась, словно и ей давно вышел срок).

На сей раз он был не только буден, но и трезв, хотя огня в очаге так и не было. «Узнал?» — спросил я его, и он кивнул. «Погоди,— сказал я.— Лучше я сам попробую. А где ошибусь, ты поправишь...» Он опять кивнул и, сложив на груди руки, приготовился слушать. «В общем, так,— сказал я и запнулся.— Сейчас начну, погоди... Я знаю, это похоже на Барысби, только наоборот...» — «На Барысби? — переспросил он.— Наоборот?» — «В том и дело,— сказал я.— Наоборот». — «Наоборот? — повторил он.— Ага...» — «Потому что один тяготился родством, а другой все никак не мог его обрести. Один мечтал поскорее избавиться и отомстить за кобылу с алым бархатом на хребте, так что едва дождался поминок, чтобы собрать все аульные деньги, купить на них динамит и бельгийцев, взорвать скалу, погрести под ней мельницу, а после отстроить новую и пустить жернова, покрывая сбором за помол свой долг неведению обманутых соседей. Только ему не удалось. Его подвел случай. Или судьба. Или рок. Или ты со своим одиночеством, сумевшим вычислить его задумку, а потом помыкавшим им самим оттого лишь, что он опоздал тебя пристрелить. Так что отныне он жил только мыслью о мести, но уже в тысячу раз более жгучей и неотвязной. И вот, когда ему наконец представилась возможность отплатить тебе той же монетой и припугнуть тебя твоею же тайной (твоей да беременной дурочки, которая и понять-то не могла, что это тайна, потому как ее не слышала сердцем, она

не слышала даже собственного чрева, пока бродила по земле, где в любую минуту грозила ей гибель от рук ее же отца, где была она осквернена за пару блестящих медяков, но тогда не поняла даже этого, а потому приняла их без стыда и с благодарностью, и, наверно, приняла бы еще больше, да только дарители куда-то исчезли. И тут вдруг появился новый. Он сманил ее к Синей тропе, а потом она очутилась в доме, где тоже отдавались за деньги мужчинам, только при этом имели хоть какое-то представление о том, что такое грех и что такое блуд, и оттого не могли сохранить невинности, а потому берегли ее собственную, снабжая ее разными штуковинами с грошовым блеском совершенно бесплатно и с веселой грустью, возникавшей в их тертых душах всякий раз при мысли, что чье-то счастье может стоять так непомерно дешево. Но о тайне своей она ничего не прознала. Даже когда та выросла под ее сердцем настолько, что появилась сработанная ее руками игрушечная колыбель с младенцем. А когда она умирала и в родовых муках прозревала смертью, ей было уже не до тайны...), ты говоришь ему, что тайны больше нет и вроде как и не было, и восемь лет молчишь, и молчит он, хоть и догадывается, чьего ребенка подкинули на порог Сосланова дома, а потом является мой отец и предлагает ему поохотиться, и тогда вдруг Барысби становится так тесно в себе и своей далекой подлости, так липко и гадко в собственном страхе и презрении к самому себе, что выстрел, назначенный моим отцом, все-таки звучит, но уже — как насмешка, думаете вы вдвоем, и только тот, кто ранен, знает (чушь! Знать он не может, — чувствует; а точнее, не знает и не чувствует ничего), что это не так, что

выстрел — не насмешка, а избавление — от всего разом: от себя, прошлого, памяти, родства, возраста и даже языка. Наконец он освободился. Он сделался никем, и только одежда да имя на нем почему-то те, что носил когда-то какой-то Барысби, о котором он, пожалуй, знает теперь меньше всех. Меньше своей кобылы, меньше стула, на котором сидит, и меньше тех, кто еще не родился, потому что им-то когда-нибудь расскажут... Да, он от себя избавился. Наверно, он достиг того, к чему так долго стремился...

А с тем, вторым, все было наоборот. Тот второй и родился-то неожиданно, потому как никто не предполагал, что в утробе ее зреют сразу две жизни, да и в игрушечной люльке лежал один только игрушечный младенец, стало быть, и она его никак не слышала. Но улыбку ее унаследовал как раз он, второй, хоть не ему было дано унаследовать ее невинность, ибо само уже его появление на свет отмечено было печатью убийства, о которой сперва он не ведал вовсе, почитая за мать ту, что его усыновила. Он лишь мечтал когда-нибудь отыскать пропавшего отца, от которого, как он думал, осталась в доме только загадочная странная картина да дух постоянной таинственности у него за спиной. Но с течением времени печать — извечная неровная улыбка — проступала все явственнее, так что в конце концов он прочитал о ней в глазах любящих, преданных, но вместе с тем каких-то подозрительно-испуганных и слишком уж не похожих на его собственные. Но он по-прежнему не позволял себе усомниться, ведь он помнил о картине и мечтал об отце, объясняя себе материнскую взволнованность и опаску своим приличием с исчезнувшим родителем (пусть она с детства и твердила ему, будто того нет

в живых, только он никогда в то не верил, сначала — не хотел, а потом уж просто был убежден, что он где-то есть, что он жив и, значит, можно его отыскать. Пожалуй, он столько о нем мечтал, что несуществующий отец сделался для него реальной существующей матери — или той, что согласилась ею стать).

Но потом произошло нечто такое, что перевернуло все его знания о себе самом и заставило его впервые и остро ощутить свою вину за гибель той, чье имя он только что услышал и часть которого унаследовал вместе с улыбкой. Наверно, он подслушал чей-то разговор, быть может, двух девиц, что там еще работали, а может, все было пошлее и проще, и кто-то из них, осерчав на хозяйку, открыл ему все намеренно...» — «Нет, — сказал Одинокий. — Еще проще: она открыла ему сама. Надеялась раз и навсегда с этим покончить. Предпочла приемное материнство замаскированному под истинное, но зависящему от любой случайности и болтовни. Она надеялась, что правда им поможет, и он, наконец, перестанет бредить отцом, о котором она и сама-то до сих пор так ничего и не знала, а стало быть, не мог узнать и тот, кого она выбрала в сыновья...» — «Только о сестренке она смолчала, — продолжил я. — Конечно. О ней она не сказала ни слова, ведь это была последняя нить, за которую он мог ухватиться. К тому же ее связывало данное тебе обещание, а ты свое, покамест, безупречно исполнял. Только она не учла одного: дерзости и настырности человека, пытающегося постичь, кто он и откуда, и вспомнить историю своей молчаливой крови, чтобы по-настоящему, до трепетной дрожи, ощутить сокровенное ее тепло и голос собственного сердца. А

потому не заметила, что он лишь притворяется смиренным, а сам тем временем упорно, по крупицам, ищет след того изначального покуда для него, овеянного туманом неизвестной дороги дня, что привел тебя в тот дом. Она забыла, что перед ним всегда висит твоя картина...» — «Проклятая картина,— сказал Одинокый.— Проклятые краски...» — «Но потом он нашел и кое-что еще. Наверно, отыскал ее в одной из шкатулок — металлическую пластинку с выгравированным на ней словом». — «Не знаю,— сказал Одинокый.— Может быть». — «...И подумал, что неплохо бы ему повстречаться с тем, кто ее смастерил, чтобы выведать у него, кто делал заказ. И, пожалуй, в крепости выбирать ему пришлось не из многих, так что очень скоро он увидел того, чьими руками впервые было написано буквами его имя, и за какой-нибудь полтинник тот припомнил, что должна быть еще и девушка, ибо пластинок было две. И за дополнительную плату удалось заставить его извлечь из памяти и второе слово, выбитое им по металлу тогда же, в один день с первым. Так что теперь он знал и имя своей сестры. А потом разыскал кого-то из тех, кто работал когда-то у его приемной матери и продавал за деньги свое тело, а теперь, постарев и подурнев от вина и болезней, не в состоянии был продать ничего, кроме воспоминаний о том, как ты ее увозил. Но куда — он все еще не знал. И тогда он решил подготовиться. Он слонялся по базару и высматривал тех, кто торговал картинами, пока не понял, что ты поклялся ей никогда больше в крепости не показываться. Зато там же, на базаре, мог он уговориться с каким-нибудь оборванцем купить у него твой язык, который отныне почитал за родной. Он брал уроки

втайне от нее...» — «Нет, тут он не таился, а она не противилась, потому что ничего предосудительного в том не увидела. Она не предполагала...» — «Да, она все еще не предполагала, что ее сын на такое способен. Но беда в том, что теперь он был ее сыном меньше, чем когда-либо. Здорово, должно быть, он притворялся. Да и улыбочка его была тут весьма кстати... А потом он придумал новую хитрость и, будто бы для дела, уже не знаю какого... («Рисовать,— подсказал Одинокый.— Он внушил ей, что любит рисовать природу...») нанимал возницу с повозкой и путешествовал по окрестным селам да аулам («...И привозил с собой рисунки, наспех набросанные в пути халтурщиком, которому он платил за то, что тот его сопровождает. Я нашел его три дня назад на базаре. Она так и не знает...») И, наверно, длилось это очень долго («Два года,— сказал Одинокый. Он мотался повсюду целых два года»), но потом он все же учуял след. После всех расспросов он услышал-таки о тебе и какой-нибудь месяц назад опять снарядился в дорогу и выбрал нужный поворот («Теперь он не взял никого. Халтурщик остался в крепости, а возница получил деньги за то, что никуда не поехал, да еще залог за одолженных коня и повозку»). Но сперва он прятался. Он прятался в нашем лесу и только дважды в день, утром и вечером, крался к реке, чтобы с противоположного берега подглядеть за девушками, спустившимися набрать воды в кувшины.

Он должен был удостовериться, что они, хоть и близнецы, но с ней ничуть не похожи. А когда он уверился в этом (ведь он знал теперь, из чьих ворот она выходит: не зря же он гостил перед тем в сосед-

нем ауле, где оставил коня и повозку и где разведаль все о тех, кто его интересовал. Так что еще прежде, чем впервые очутиться в нашем лесу, он знал уже, что она — подкидыш, что Сослан — слеп, ты — опасен, а Гаппо — их общий дед по материнской линии. Он бродил по лесу и слышал свою кровь, внушив себе, что обрел родину и ступает теперь по ее земле. Так он наткнулся на пещеру и даже переночевал там однажды. И, думаю, понял, кому она принадлежит, но решил покуда не связываться и не мстить. Месть он отложил на потом), вернулся за конем, запряг его по-походному и въехал в наш аул, представ перед нихасом со своей широкой улыбкой, и заговорил на нашем языке (речь его звучала так, будто он только что ошпарил нёбо), а затем по праву гостя избрал дом Сослана. Ему оставалось лишь дожидаться подходящего момента, раскланяться и украдкой показать ей пластинку с выбитым именем. Потом ему не надо было даже доказывать, что он ей брат. Нужно было разве что дать ей месяц сроку на раздумье...» — «Да,— сказал Одинокый.— А потом забрать с собой и уже с ее красотой и ее печалью вместе выстроить то, чего ему всегда недоставало: собственный дом, населенный истинным родством, общей бедой, общей заботой и общим полужнанием». — «И общим одиночеством,— сказал я.— Только и через месяц у него не получилось. И когда он, приехав рано поутру в аул и кратко побеседовав с Сосланом о разных мелочах, встретился с ней вновь (наверно, как и в прошлый раз, где-нибудь в укромном месте. У реки под обрывом или у Синей тропы), она ему отказала, заявив, что ей не нужно никого искать. Что есть у нее Сослан и что, мол,

этого достаточно, что двух, мол, отцов не бывает, а потому, мол, никуда она не поедет.

И тут он взбеленился. Он понял, что все рушится, и, видимо, посчитал ее ответ за самое ужасное предательство, которое только могла для него измыслить судьба. И тогда он открыл ей с улыбкой, кто ее мать, и назвал ей деда, а потом пригрозил, что, коли до заката она к пещере не придет (тут он объяснил ей, как туда выйти), он, Рахим, раскроет их общую тайну всему аулу и поглядит еще, какое веселье из всего этого разыграется. Так что у нее теперь не было выбора...» — «Был,— сказал Одинокый.— Но такой, что лучше б его и впрямь не было». — «Был выбор обменять Сосланову слепоту на пучеглазье Гаппо или на зловещую улыбку чужого и страшного человека, в ком текла та же кровь, что и в ней самой. Выбор породниться с тем, кто, не исчезни та вовремя, убил бы свою дочь, стало быть, ее, Ланы, мать, а значит, убил бы их обеих,— или же с тем, кто прикончил их мать своим появлением на свет, словно услужив своему незнакомому деду, и теперь предлагал ей сбежать от того, кто был ей больше, чем просто отцом, ибо был отцом вдвойне, любя в ней не только дочь, но и память о дочери,— этот чужак с жестокой улыбкой предлагал ей самой стать убийцей, погубив не чаявшего в ней души слепца. Иначе он брался погубить всех их разом общим позором... И теперь у нее не было даже времени, чтобы все хорошенько обдумать. А когда пробил час, она заметалась, как птица в клетке, и кинулась сперва из дому, потом — вниз по улице, к хадзару Гаппо, потом — к нихасу, где сидел Сослан, а после, уже в полном отчаянии, побежала к лесу,— ах! если б ей только удалось

добежать до пещеры, она бы увидела, что его больше нет, а потом, похоронив, вернулась обратно, так никому ничего и не сказав и до конца дней своих тихо оплакивая погибшего брата...» — «Да,— сказал Одинокый.— Если б только ей удалось туда добежать! Но на мосту она опомнилась...» — «На мосту она опомнилась и предпочла сдаться, бросившись в реку у нас на глазах, а ты еще спал...» — «Да,— сказал он.— Да. Да. Будь я проклят!» — «...и проснулся лишь через миг, когда земля уже пошла трещинами, приняв ее в свое лоно... А полудохлый волк твой, до самой старости копивший силы, чтобы с тобой разделаться, и вот уже целый месяц стерегущий тебя у пещеры, изнывая от поселившегося в ней твоего запаха, отомстил тебе тем, что перегрыз глотку попавшему в расставленный тобой капкан ублюдку...» — «Да! Будь я проклят. Да!.. Овал с крестом». — «...который был так несчастен виной своей и безмолвием собственной крови, что был готов уже на любую подлость, лишь бы опознать эту кровь, а заодно и самого себя,— кто он и откуда. Только ты бы все равно ему того не открыл. Потому он прятался еще и от тебя — человека, которого столько лет прежде принимал за своего исчезнувшего отца и даже наизусть выучил краски с его картины...» —

«Да! О Боже! Да. Да. Да...» — «И единственным спасением для вас — и для нас тоже, потому что погибла с Ланой наша красота, одна на всех — было приехать тебе в крепость и показаться хоть раз ему на глаза, позволив ему, тогда мальчишке, увериться в том, что ты и есть отец, как бы оно ни было странно, если учесть, сколько лет его приемной (но тогда — родной еще) матери. Он бы поверил. Он жаждал поверить... Только ты туда вовремя не

приехал, а побывал там лишь теперь... Что ты ей сказал?» — «Почти правду,— ответил он.— Я сказал ей, что они пропали. Оба...» — «Ага, а она решила, что пропали — это сбежали, верно? И отныне будет надеяться...» — «Так лучше,— сказал он. — То был последний раз, когда я врал». — «Потому что утром ты уйдешь. Куда ты уйдешь?» — «За хребет,— ответил он.— К отравленной речке. Когда-то, давным-давно, мне показывал ее с вершины дед. Тот, настоящий, который не умел воровать».

И тут я понял. Он уходил туда, куда не ступала человеческая нога уже лет двести, с тех самых пор, как, по поверью, река отравила целое село и вынудила людей строить склепы для тех, кто уже заболел, чтобы спасти тех, кто еще мог заразиться. А когда чума скосила всех без разбору, оставив лишь пустоту в домах да тленье в склепах, река сменила русло и кинулась уничтожать постройки. Иногда ее называли Проклятой. Теперь он уходил туда, чтобы начать все с самого начала. Я понял. А потом, осмелев, за ним потянутся другие.

Я сказал: «Выходит, тебе мало? Ты хочешь пробовать вновь?» — «Не знаю,— ответил он.— Может, там мне повезет, и я его услышу... Иначе, чем пять дней назад». — «Кого? — спросил я. Он промолчал, и я догадался: — А-а... Теперь ты будешь искать его в воде?» — «Не знаю,— повторил он.— Ничего еще не знаю». А я подумал и сказал: «Они оба на тебя похожи». — «Кто?» — удивился он. «Рахим и Лана» — «Почему?» Но я не стал объяснять.

Занимался рассвет. В каменном хадзаре было холодно и сыро. Последнюю неделю он не разжигал огня в очаге. Когда мы вдоволь намолчались, я под-

нялся и сказал: «Я позабочусь о могилах». — Он кивнул. «Ты будешь с ними прощаться?» — «Да,— сказал он.— Конечно. А хадзар оставляю тебе. И свою часть с урожая — тоже. Я ведь возьму с собой ваше ружье...» — «Ты весь седой,— сказал я, пытаюсь не заплакать.— Ты поседел насквозь...» — «Да,— сказал он.— Да. Будь я трижды проклят...»

Мы попрощались, и я не стал перелезать через забор, а впервые вышел в его ворота. У нас во дворе было тихо, и только отец сидел на дедовом чурбане и глядел на то, как я иду ему навстречу.

Я подошел и произнес: «Он уходит. Сейчас он отправляется на погост, а оттуда сразу пойдет к хребту». Отец отвернулся и ничего не сказал. «Он оставляет мне дом и восьмую часть с урожая...» — добавил я и поглядел ему в затылок.

Наконец, он сказал: «Сдается мне, он опоздал. А я опоздал, чтобы с ним прощаться». — «Как знаешь,— сказал я.— Только нам от него все равно не избавиться». Потом мы немного помолчали, а я приблизился к нему вплотную, постарался заглянуть в лицо и сказал: «Успокойся. Все закончилось. Из того, что умеет заканчиваться, все теперь завершилось. Успокойся». — «Я не плачу,— глухо ответил он.— Я смотрю».

Тогда я проследил за его взглядом и увидел тоже. Сослан стоял на громадном речном валуне, и лицо его было обращено к истокам бурлящей воды и бледному свету. Он был прям и горд. И велик, как беда, что на него обрушилась. Даже с такого расстояния было заметно, что это слепец. Но теперь он был слеп, как пророк, вдыхающий запах вечности. И я подумал: «Это и есть конец истории. Если у нее вообще бывает конец...»

Черчесов Алан Георгиевич
РЕКВИЕМ ПО ЖИВУЩЕМУ

Р о м а н

Оформление художника С. Семенова
Редактор В. Сагалова
Технический редактор З. Теплякова
Корректор Б. Тумян

Лицензия № 060446 от 3.12.91 г.

Сдано в набор 5.06.95. Подписано к печати 30.11.95.

Формат 70х100/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 14.95.

Уч.-изд. л. 15.01

Тираж 3 000 экз. Заказ 2849.

Издательство имени Сабашниковых
119146 Москва, Фрунзенская наб. 38/1, 6 п.

Московская типография № 2 РАН
121099 Москва, Шубинский пер., 6

Черчесов А. Г.

Ч 497 Реквием по живущему.— Роман.— М., Издательство им. Сабашниковых.: 1995.— с. 365

ISBN 5-8242-0037-0

Молодой писатель из Владикавказа уже заслужил внимание читателей и критики. Его роман рассказывает о людях маленькой горной деревни, где вырос и прожил сорок лет, оставшись чужаком, странный и загадочный герой. Эта история — из числа тех, что вечны.

Ч $\frac{4702010201-10}{Б94(03)-95}$ Без объявл.

ББК 84. Р7

«Реквием по живущему» написан «как надо»: точно дозированы кавказские и внеэтнические краски... точно выдержана пропорция простодушного сказа и изощренно метафизических авторских комментариев, его буквально пронзающих... точно выстроены аульские детективы, где первая нагляднейшая (и ложная) версия очередного загадочного события набухает последующими все более тяжелыми, пугающими и достоверными. Фактурность не мешает символике, занимательность (Черчесов умеет держать читателя в напряжении и ошеломлять все новыми развязками, казалось, проясненного эпизода) не теснит психологических штудий. (...) Черчесов — настоящий писатель. (...) Так, веря в магическую связь мира и художника, можно позволить себе великолепное презрение к литературной моде.

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. «СЕГОДНЯ»

Роман Черчесова почти не содержит прямых апелляций к религии, морали. Неразрешимые поиски права на благой поступок так и остаются неразрешимыми. Моральные заповеди в изображенном мире сформулировать невозможно, ибо любое осознанное личное усилие рискует опрокинуть общинные «категорические императивы». Однако само по себе *п о н и м а н и е* только что выведенной антиномии, передача ее из уст в уста, от поколения к поколению, позволяет увидеть жизнь в ее непрерывности, исполнить «реквием по живущему». Итоговое художническое деяние, подхватывание и переосмысление предания как раз и означает, что традиционный космос способен с некоторых пор вместить в себя новые черты, преобразиться, сохраняя в то же время живую причастность к первоначалам. (...) Неизбежная черчесовская мистерия с участием гор, горцев и смерти изложена здесь со всею ясностью и полнотой.

ДМИТРИЙ БАК. «НОВЫЙ МИР»